

Рустем Сабиров

Беглец

Повести

КАЗАНЬ
ТАТАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
2007

УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос=Рус)-44
С12

Сабиров Р.Р.

Беглец: повести/Рустем Сабиров. — Казань: Татар. кн. изд-во, 2007. — 287 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-298-01576-9

Книга казанского писателя Рустема Сабирова состоит из двух повестей. Они совершенно разноплановы: криминальная драма «Лесопарк» и историческая фантазия «Беглец». Но некая внутренняя общность странным образом соединяет их под одно общее название — «Беглец».

ISBN 978-5-298-01576-9

© Татарское книжное издательство, 2007

© Сабиров Р.Р., 2007

ПРОЛОГ

I

...Его нашли на отшибе городского парка, на отвесном, заросшем боярышником и бузиной склоне уходящего к реке обрыва. Лет десять назад затеяли тут строить канатную дорогу, да что-то не заладилось, деньги ушли в никуда, от задуманного сооружения остались лишь полукруглые бетонные надолбы вдоль берега. Под одним из них его и нашли.

Одет он был в добротный, недорогой плащ отечественного пошива, темно-серый, с подкладкой в мелкую шахматную клеточку. Такой же темно-серый костюм, словно для того и сшитый, чтоб проще затеряться в толпе. Бледно-розовая рубашка, узкий сиреневый галстук, остроносые полуботинки со скошенными вовнутрь каблуками... В карманах — ничего. Решительно ничего, словно кто-то намеренно их вычистил.

Обнаружила его Надежда Владиславовна Зарубина, словоохотливая пенсионерка, жившая неподалеку и имевшая обыкновение ранним утром прогуливаться здесь в поисках, как она выразилась, «душевного равновесия, а также пригодной для обмена стеклопосуды». Речь ее являла собою забавный набор вычитанных и затверженных штампов. Едва не запнулась о «неестественно вытянутую» руку. Почему неестественно — не объяснила. Сразу не разглядела, зато разглядев, вскрикнула, выронила три пустые пивные бутылки и с редким при ее полноте проворством взлетела по склону наверх. Отдышавшись, решила, что нужно принять меры, заторопилась к опорному пункту милиции — «сообщить спецслужбам». Сообщила, что ей только что самолично найдено мертвое тело, и выразила всяческую готовность помочь следствию и тут же на месте и высказала несколько вполне убедительных версий происшедшего, кои были выслушаны невнимательно.

Вызванная «скорая помощь», однако, установила, что найденный человек жив, более того, не имеет сколь бы то ни было значительных телесных повреждений. Ссадина над левой бровью и два небольших кровоподтека, один под нижней губой, другой, более значительный, на шее, ниже затылка, недельной давности порез возле правой кисти. Привести в чувство, тем не менее, не удалось, и его увезли во вторую городскую больницу. Однако и там он не приходил в сознание более суток.

Рабочий день уже заканчивался, когда врачу Виктору Егорычеву позвонили в ординаторскую и сказали, что тот вчерашний «найденный» вроде приходит в себя. Егорычев пожал плечами, однако спустился на третий этаж, в коридор, где за неимением свободных мест был временно размещен пострадавший.

— Как наше самочувствие, — спросил он и присел на край койки.

«Найденный» вздрогнул, глянул на него сначала с тревогой, потом со спокойным равнодушием.

— М-м, простите, вы... Вы — кто?

— Я? — доктор усмехнулся и покачал головой. — Вопрос своевременный. Я — доктор. Врач,

понимаете? Зовут меня Виктор Борисович. Егорычев Виктор Борисович. Запомнили? Ну а вы? Как самочувствие?

— Его-рычев, — он отвлеченно улыбнулся. — Да. Запомнил. А... У меня... Я в больнице. Да?

— Ну конечно. Случается с каждым, знаете.

— Случается. А у меня... Простите, я что-то не могу вспомнить, а что случилось-то вообще? Мне стало плохо?

— Да трудно сказать. Вообще — черепно-мозговая травма.

— Вот как. — Он напряженно понизил голос. — Что, очень серьезно?

— Ну, несерьезных черепно-мозговых травм не бывает, строго говоря. Но вообще, могло быть хуже, скажем так. Перелома нет, череп не поврежден. В известной мере вам повезло. В известной мере.

— А... я давно здесь?

— Второй день уже. Ну, утомлять вас пока не буду, отдыхайте. Вы только, если не трудно, адресочек свой сообщите, пожалуйста. А то ведь ищут, наверное, волнуются. В смысле, домашние.

— Адрес. Ну да, конечно, — он вновь попытался улыбнуться. — Одну минутку. Так...

Какое-то время он молчал, лицо его то и дело меняло выражение — досада сменялась надеждой, надежда раздражением и страхом.

— Знаете, — он растерянно улыбнулся, — что-то голова разболелась. Я потом, ладно? Вы уж извините.

— Конечно, конечно, — Егорычев кивнул, глянул на него как-то странно, исподлобья, похлопал легонько по плечу и вышел.

II

Адрес. Ведь как просто. Ад-рес... Даже смешно. Ну улица, дом, квартира. Улица... Ну — Иванова, Петрова, Сидорова. Краснопролетарская, Вторая Союзная. Нет, не так. Дом... Кирпичный... Панельный. Дверь. Скрипучая... Дальше коридор, ну обязательно коридор. Что там?

Я пытался вообразить картинку, картинка послушно вырисовывалась и столь же издевательски послушно менялась. Воображение было до идиотизма податливо и липко. Все эти видения уходили, как сквозь сито, ничто не задерживалось, ничто не обжигало: вот оно!

Жизнь, прошлое оборачивалось скопищем понятий — дом, семья, работа, друзья — правильных, но пустых оболочек, дурацкий парковый аттракцион с прорезями для лиц. Кошмарный сон без права на пробуждение. Вот оно что такое ад: ад, это когда не на что опереться. Все, что я мог сказать о себе, это то, что я существую. Даже имя, набор звуков, маленькая, но своя жердочка, ниша, нора — перестало существовать, та же размалеванная доска с дыркой, что подставишь, то и будет. Некоторое время я безнадежно силился ухватить хоть что-нибудь в пустом перечне имен: Николай, Владимир, Виктор, Леонид, Сергей... хоть какой-то узелок, зубуринка, за которыми потянется, потянется наконец невидимая нить. Петр, Аркадий, Никита. Григорий... ждал гулкого, желанного отзвука, за которым мглистое безмолвие заполнится наконец светом и звуками... Василий, Александр, Вениамин...

Тьма безмолвствовала. Воображение осталось нехитрой, халтурной инсценировкой с фанерной бутафорией, глухонемым режиссером и тупыми, но любознательными зрителями.

А утром я подумал: а хорошо бы не приходил сегодня этот Виктор Борисович со своим мягким, вкрадчивым, участливым голосом. Очень уж не хочется сегодня этих простых вопросов, на которые вновь нужно бессильно морщить лоб и беспомощно улыбаться.

Сам для себя я уже решил, нет смысла терзать себя, биться о замурованный вход в тоннель дабы вырваться на свет с той стороны сырого осеннего лесопарка. Я понимал, что выход, если только он есть, этот выход, будет найден случайно, неожиданно, ослепительным наваждением, которое нет смысла торопить. Но понимал и то, что неизбежно, каждую ночь буду зло и бесслезно мучить свою затравленную память...

На третий день, когда меня только что перевели в палату, пожаловал следователь. Это был маленький человек с редкими, темными волосами и изжелта-бледным, нездоровым лицом. Несмотря на худобу, он как-то неловко и грузно сел на койку, для чего-то потрепал меня по плечу с ободряющей фамильярностью. При этом обнажилось запястье с корявой татуировкой «Люба». Он смутился и убрал руку.

— Филинов Вадим Эдуардович. Забавное сочетание, верно? Его или запоминают сразу и на всю жизнь, или не могут запомнить совсем.

— Запомню, — я кисло улыбнулся. — У меня память свободная...

— Шутите? — Следователь коротко засмеялся. — Это хорошо. Ну так вы готовы со мной побеседовать?

— Да я-то готов. Знать бы о чем.

— Ну, это всегда отыщется. Так, мне сказали, что вы... ну, вроде, получается, не помните. Ничего. То есть, ни имени, ни адреса? Да?

— Получается, так. Только об этом, Вадим Эдуардович, я бы предпочел беседовать с врачом. У вас, кстати, как с преступностью в городе?

— У нас? — Филинов глянул на меня удивленно и усмехнулся. — У нас в городе с преступностью натурально все в порядке. В том смысле, что имеет место быть. На среднероссийском, так сказать, уровне.

— И громкие дела есть?

— Ну как вам сказать. Так, чтоб уж совсем громкие... Я, по правде, тона вашего не пойму. Вы к чему это?

— К тому, что вам, как будто делать нечего. Ну что вы со мной возитесь?

— Минутку, — Филинов нахмурился, — взрослый человек, а капризничаете. Совершенно преступление. Я его расследую. Не громкое дело? Возможно. Хотя я в том и не уверен. Как я могу сказать, громкое дело, или нет, если я не знаю даже имени потерпевшего? Не знаю, кто он.

— Не губернатор. Не министр. Не банкир.

— Положим, вижу, что не банкир. (Он с мстительной въедливостью оглядел меня с головы до ног.) — Но... много странного в деле...

— Странное в этом деле то, что потерпевший ни черта не помнит. Вот это странно, настолько, что вы, кажется, мне не верите. Но это, повторяю, вопрос скорее медицины, чем правоохранительных органов.

— Э, нет. Странного в этом деле более, чем вы думаете. Что именно? Извольте. Вас ударили по голове, явно не с тем, чтобы убить. Так не убивают. Поверьте, я знаю. Ударили всего один раз, больше практически не трогали. Травма, возможно, вообще случайная. Вместе с тем вас как будто спрятали. Или сами спрятались. Ведь старушенция вас нашла по чистой случайности. Спрашивается, зачем? От кого? Случайно? Маловероятно. С возрастом, знаете, все меньше веришь в случайности.

Филинов достал сигарету, сунул в рот, затем, видно, спохватившись, вытащил и принялся торопливо и неуклюже разминать ее пальцами, роняя на колено табачные крошки.

— Вы не из нашего города, можно утверждать наверняка. — Филинов говорил медленно, словно размышляя вслух. — Вы сами спросили: «Как у вас с преступностью в городе?» Стало быть понимаете, что вы не здешний. А? — Он вдруг глянул на меня пристально и цепко. — А в чужом городе без документов, без вещей... У вас же не было ничего. То есть кто-то их взял. Ну вещи, деньги — понятно. А документы? Я на другой день обследовал еще раз то место. Нашел следы и окурочек. Все наисвежайшее. Кто-то приходил туда в тот самый день, когда вас нашли. Может быть, за час до моего прихода. Место там для прогулок не подходящее, склон почти вертикальный, не поленился ведь кто-то спуститься.

— Может, кто-то бросил сверху? Я про окурочек.

— Нет. Он был затоптан, прямо-таки вкручен в землю.

— Поспрашивали бы у людей, может, кто видел.

— А я и спрашивал. — Филинов глянул на меня с некоторой обидой. — Сначала — никто и ничего. Потом выплыло кое-что. Всегда что-нибудь да выплывает. Бомжик один. Ипатьев Анатолий. Так вот, он в парке этом живет, можно сказать. И он сказал, что подходил к нему человек. Невысокий, одет — так себе. Ну плащик наподобие...

— Наподобие моего, я понял.

— Ну уж не совсем, — Филинов смущенно рассмеялся. — Хотя — что-то вроде. Подходил, пиво предлагал, тот, значит, отказался. Разговор завел: как, мол, тут, не опасно ли вечерами. Не случаются ли, мол, какие происшествия. Тот и рассказал — вот, мол, недавно нашли тут... Тот: да что вы говорите. Тут же представился журналистом, даже каким-то удостоверенным помахал, блокнотик вынул. А кто бы, говорит, мне поподробней все это описал. Тот бомжик и назвал нашу словоохотливую пенсионерку Зарубину. Ну, ту, что вас нашла. Я тут же к ней. Насилу отыскал. Описал того «журналиста». Та уперлась, нет, говорит, не подходил, не интересовался. Вот не знаю, не то правду говорит, не то врет.

— Слушайте, а может, он в самом деле журналист?

— Нет! — категорически отрезал Филинов. Даже как будто рассердился. — А то я журналистов не знаю. У нас небось не столица, по пальцам перечесть можно, журналистов этих. Ни на кого не походит. И еще, — тут Филинов вперил в меня долгий и изматывающе пронизательный взгляд. — Интересовалась вами женщина одна. По описаниям, лет тридцатипяти—сорока, хорошо одетая, и вообще, говорят, очень даже недурна собой, как говорится. Это вам ничего не говорит?

— Нет. Мало ли хорошо одетых да обаятельных. И где она сейчас?

— Заинтересовались. Это хорошо. Где сейчас — не знаю. Говорят, судя по всему — тоже не из

нашего города. Постараюсь ее найти, это не проблема. Или сама объявится. Ну так пойду я. Вы тут повспоминайте, поразмышляйте. Я вас навещу вскоре. Как говорится, вы нам помогайте, мы — вам. Да, чуть не забыл, — он притворно хлопнул себя по лбу. — Вот такая цифровая комбинация вам не говорит ничего? Шестьдесят восемь, шестьдесят семь, шестьдесят четыре. Ничего? Подумайте.

— Нет, — цифры в самом деле безмолвствовали. — А что это?

— Судя по всему, номер телефона. Листок в линейку из блокнота. Его нашли метрах в двадцати от того места. Ниже, на самом берегу. Вдвое свернутый. Написано шариковой ручкой, синей пастой. Второпях. Я ведь по молодости графологией увлекался. Так вот, судя по всему, писала женщина. Ваших лет или постарше. Сильный нажим сверху и слабый книзу. Женщина, похоже, серьезная, властная. Но эмоциональная, и, следовательно, немного рассеянная. Да и написано в сильном волнении.

— А вы не пробовали позвонить по этому телефону?

— Пробовали, как не пробовать, — следователь вновь глянул на меня с обидой. — Установили, кто это. Администратор гостиничного комплекса «Лето» Анжела Яковенко. Телефон, не служебный, а личный. Мобильный. Я сам звонил. Ситуацию описал. Ничего, говорит, не знаю. Но мне показалось, что она просто не хочет говорить.

— Говорите, метрах в двадцати? Но это же парк. Там много народу гуляет. Почему это непременно мой листочек?

— Да я и не говорю, что непременно ваш. Хотя место, где он нашелся, явно не прогулочное. У самого края склона. И потом есть еще одна фишка. В гостинице той в тот как раз день было совершено убийство. Убит некий Гусаров, вор в законе. Застрелен в упор. Птица залетная, но известная. Человек крайне жестокий, но чертовски расчетливый и хитрый. Нет на него ничего, хоть плачь. Рыло у него и в пуху, и в перьях, а фактов — ноль. Вот отчасти поэтому я вами так заинтересовался.

— Полагаете, — я через силу усмехнулся, — что убийцей могу быть я?

— Вообще-то убийцу, предполагаемого, уже задержали, — следователь поморщился. — Но давать показания он отказывается. То есть вначале отказывался. Потом стал говорить, что про убийство он знал, но убил, вроде, не он, а некий другой человек. Стал я версию отрабатывать — не сходится, все равно все на подозреваемом замыкается. И свидетели есть. А вы, стало быть, не припомните ничего? — Он с сомнением покачал головой. — Ладно, отдыхайте. Глядишь, чего и вспомните.

Он ушел, оставив после себя мимолетный запах казенного учреждения и недорогого табака. Соседи по палате, до того правдоподобно изображавшие здоровый сон, тотчас пробудились. Один из них, лысый, придурковатого вида коротышка, страдающий силпой одышкой и изъясняющийся с постоянной, бессмысленной добавкой «с понтом дела», вдруг подошел уверенной походкой ко мне, смерил долгим взглядом и подсел на то самое место, где только что сидел следователь Филинов.

— Грамотно, — сказал он и ободряюще кивнул.

— Что грамотно? — поинтересовался я без особого интереса.

— Грамотно со следаком говорил. Он, конечно, в это фуфло не верит, ну насчет памяти. И я тоже бы не поверил. Сериалы мексиканские, с понтом дела. Мама не помнит дочку, дочка не помнит внучку. А ты хорошо держишься, спокойно. Мне нравится. Голос уверенный. Главное, не увлекайся. Слишком спокойно тоже нельзя, нюх потеряешь. И пришьют тебе того мертвяка из гостиницы как пить дать...

— Слушайте, идите к себе. Я не понимаю, о чем вы говорите, и понимать не хочу.

— А, вот так, да? Ладно, *Петрович*. Я не обидчивый. Выздоровливай. Будет настроение — поговорим. А так — что зазря мудями трести.

— Какой еще Петрович, — я почувствовал какой-то странный, тоскливый толчок изнутри. — Почему вы решили, что я — Петрович?

— А ничего я не решил. Я сам Петрович. Николай Петрович Студенцов, сын собственных родителей. Вот и тебя по простоте записал в Петровичи. А ты чего побледнел-то как? Может, сестричку вызвать? Или ты вспомнил что-нибудь? Дык скажи, я — могила.

Ничего я не вспомнил. Лишь темная боль в затылке. Тотчас, однако, прошла. Но что-то там было, за этой тяжкой пеленой, что-то было.

— Молчишь? Ну молчи. Молчи и слушай, — он вдруг понизил голос до сдавленно свистящего шепотка. — Если ты не ваньку валяешь, с понтом дела, а у тебя в самом деле, — он покрутил пальцем у виска, — эта самая амнезия, так завтра сюда человек один придет, который, вроде, может тебе помочь. Если ты *в самом деле*, — он приподнял толстый, желтый палец, — *хочешь* вспомнить. Если нет — и базару нет, скажу, мол, свободен, ошибочка вышла, с понтом дела. А?

Он вперил в меня тяжелый взгляд тугодума. Пришлось кивнуть.

— Ну, отдыхай, — он тоже кивнул и отошел в сторону уверенной походкой человека, полагающего себя хозяином чужой судьбы.

Петрович. С одной стороны он никак не находил связи между собой и этим прозвищем. Вместе с тем это слово, он это тоже ясно ощущал, как-то окольно связано с неким отрезком его жизни.

Ночью он долго не мог уснуть, хоть сестра и дала ему какую-то маленькую пеструю таблетку. Он неподвижно лежал на спине, сцепив ладони под затылком, рассеянно взглядываясь в блики от проходящих за окном машин, и бессознательно катал в памяти это бесцветное прозвище. **Петрович.** В какой-то момент имя переросло в звук. Он как будто услышал, как некий голос надтреснутый, недобрый, произносит его. Но звучит оно не как имя, а как прозвище. Попытался вызволить из памяти лицо говорившего — не получилось. А во сне вновь пошла неторопливая череда незапоминающихся образов, унылые, серые барханы... Пробуждаясь среди ночи, под храп и бормотание соседей по палате, он пытался восстановить в памяти увиденное там, за чертою сна, и опять ничего. Лишь однажды — короткое, тягостное виденье, причем совершенно отчетливое: запертая дверь и какой-то, хитроумный замок. Чтобы его открыть, было необходимо всего лишь какое-то простое вращательное движение, но оно почему-то не удавалось. Ему нужно было выйти из некоего полутемного тесного помещения, и этот замок мешал ему это сделать. Он почему-то боялся включить свет. И еще — обернуться назад...

С утра коротышка был демонстративно спокоен, на него даже не глядел, насвистывал дурацкий мотив, затеял вялую ссору с толстой добродушной санитаркой по имени Снежана, после чего принялся громко зазывать ее ночью встретиться в душевой. Перед обедом куда-то надолго пропал. С одной стороны это вызвало облегчение, с другой — смутное беспокойство. Не пришел и в обед. Зато в тихий час прокрался по-кошачьи в палату и тихонько тронул его за ногу.

— Слышь, Петрович. Айда по-тихому.

— Куда? — встрепенулся он, хотя и не спал.

— Куда! Опять что ль память потерял? Тот человечек пришел. Я его провел по-тихому, он в душевой сейчас. Ключи у меня.

Коротышка уверенно, не оборачиваясь, подошел к двери и вышел в коридор, а он покорно встал, поправил одеяло на койке и так же на цыпочках, вышел за ним. Душевая находилась этажом выше. Коротышка шел впереди, ступал мягко, бесшумно, хоть его прямо-таки распирало от значимости происходящего. А он также осторожно плелся следом, не зная, куда девать колючую, ознобную дрожь, невесть откуда взявшуюся.

Так же бесшумно коротышка отпер дверь, сперва вошел сам, затем за рукав молча втянул его.

Там, благочестиво сложив ладони на коленях, сидел на отопительной батарее долговязый, плохо одетый человек с редкими, нестриженными рыжими с проседью космами и встревожено бегающими глазами. Завидев его, он почему-то поспешно вскочил на ноги, смешно прищурился, так что клочковатые рыжие брови почти закрыли глаза, и вздохнул.

— Ну да, — он радостно кивнул, — точно, он.

Однако коротышка деловито прижал палец ко рту и запер дверь.

— Тихе говори, чай не на демонстрации трудящихся.

Подошел к нему и присел на корточки.

— Ну давай, — он кивнул, словно позволяя, — рассказывай что ли. Что да как. Только тихо, еще раз прошу.

— Ну, значит, — долговязый откашлялся, — так вышло. Я неподалеку работаю. В парке Горького. Разнорабочий, можно сказать. Числюсь слесарем, делаю, что скажут. Там и живу, в парке, где разрешат. Одно время в комнате смеха ночевал, меня после этого Райкиным прозвали. В тот день, в пятницу это было, мы с контейнер разгружали для ресторана «Лето». Пиво, кока-кола, еще что-то. Я и Генка Бергер. Потом к нам еще один хмырь присоседился. Имени не знаю, Генка его по кличке называл. Кличка такая смешная — Педагог. Он подошел, когда мы, считай, почти все и разгрузили. Я Генке говорю: на хрена, мол, он сдался, делиться с ним. Но Генка говорит, ничего, он человек хороший, можно поделиться. Может, он и хороший, но сачок изрядный. Или здоровья совсем нету. Один ящик отнесет, потом за бок схватится, кривится, стонет. Пока кривится, мы еще по два ящика донесем. Но с Генкой не поспоришь.

Когда все оттащали, Гафиз, кладовщик из «Лета», дал нам пузырь «Русской» и пачку сыра, хотя литр обещал, азер чертов. Я ему говорю: ты бога побойся, мы ж договаривались. А он смеется, хочешь, говорит, Гюрза тебе все объяснит? Гюрза — это собака у него, ротвейлер. Сука окаянная, сохрани бог. Ну взяли пузырь, выпили. Не хватило. Потрясли карманы, наскребли на две бутылки пива. И тут вдруг этот Педагог подскочил, увидал, вроде, кого-то, и заверещал: сейчас, говорит, будет нам и на пиво, и на беленькую, и на кое-что еще. И — шмыг к гостинице. Там гостиница есть, рядом с рестораном, тоже «Лето» называется. Генка за ним увязался. Я гляжу, они гостиницу прошли и идут в сторону

магазинчика «Огонек». Зашли и пропали надолго. Я подошел поближе, в магазин, от греха подальше, не вхожу. Выходят. И вместе с ними — *вы*. А у вас вид такой... Ну, извините, вроде, не в себе вы были. Дальше я плоховато помню. Помню, что кулек, что у вас в руках был, уже почему-то у Генки оказался, а Педагог с вами разговоры непонятные говорит. Я только помню вы все о каком-то Чипполино, вроде говорили...

— О ком? — переспросил он и тотчас похолодел от какого-то тяжелого, тоскливого толчка изнутри.

— Чипполино! — вдруг возбужденно выкрикнул долговязый, однако тотчас испуганно округлил глаза, зажал ладонью рот и перешел на торопливый шепот. — Ну этот, сказка еще такая была. Я так понял, что Чипполино — это вроде кликухи. И, вроде, Чипполину того не то порезали, не то застрелили. Когда Педагог этот вам про то сказал, вы сначала не поверили, а он вам — газетку. С собой носил, будто знал, что вас повстречает. И там, в газетке, вроде как все про это дело написано. Вы как прочитали газетку, так совсем с лица сошли, дали этому шакалу Педагогу еще сотенную и говорите, мол, душевно извиняйте, но мне идти надо. Бергер вякнул, мол, еще бы надо с него стрясти. А Педагог — ладно пусть идет, я знаю, где его искать, стрясем с него еще.

Дальше понеслась карусель по полной. Вначале мы ту вашу бутылку опростали, потом еще взяли. В какой-то заход возле магазина нарвались на Расписного. Это шпаненыш, сямка малолетняя, анашист. Расписным его назвали потому, что у него татуировка во всю грудь. «Вам не понять, вы не любите». Я, по правде, его боюсь, как черта. Привязался к нам. Ему попробуй не дай, он чуть что, за бритву хватается, она у него где-то в рукаве по-ловкому на резинке приспособлена. И вот тут Педагог говорит ему: возьми, мол, вон у того гражданина, он мне, говорит, деньги должен, да все не отдает. Я глянул, а там, значит, опять вы. Из гостиницы вышли и прямым ходом туда, в лесопарк

— *Лесопарк?* — он вновь содрогнулся. — Как вы сказали?

— Ну да, — удивился долговязый, — так то место называется. Там, где ресторан, аттракционы, карусели-марусели, — там парк Горького. А уж дальше — то Лесопарк. Глухомань в общем. А что?.

— Н-ничего, — он встряхнул головой. — Станным показалось.

— Вот и я говорю! На ночь глядя, да в темень окаянную. А вы идете, да еще быстро так, будто дело у вас какое. Ну вот, он этой урке сопливой на вас и кивает. Я ему говорю шепотом, мол, порежет ведь Расписной хорошего человека. А он мне: вывернется твой человек, фортуна у него добрая. Ну пошли мы допивать. Только в беседке за старым планетарием пристроились, вдруг этот назад Расписной бежит, глаза дурные, видать, нас ищет. Я Педагогу говорю: пригнись, может пронесет. Да не успел, увидел он нас, в беседку влетает и с налету Педагогу — ногой в бок. Педагог посинел, сполз с лавки. А тот уже бритву свою из рукава вытряхнул. Ты что, говорит, сука моченая, не сказал, что у него *ствол*? Тот сипит, кашляет, головой мотает, клянусь, мол, знать не знал, мужик не из блатных, откуда мне знать про ствол. Насилу этого Расписного уgomонили. Водки налили. Обмяк, вроде, сначала. После опять взвился. Он, говорит, меня на карачках ползать заставил, как петуха топтаного, руку чуть не поломал. На крик еще пацаны набежали. Кто-то из них и сказал: давай, вроде, отыдем ствол у фуфела позорного. По-тихому подкрадемся, навалимся. Ну и побежали всем кодыком. Правда, не все, ствол — штука серьезная. Зато Педагог, козел старый, с ними увязался. Кровью плюется, а бежит. Я, говорит, попробую их остановить.

В общем, минут десять прошло. Гляжу, бежит Педагог обратно, один. Мимо пробегает, рукой машет, бежим, мол. Мы с Генкой припустились, драли до самой котельной, чуть сердце не выпрыгнуло. В котельной отдышались. Я Педагога спрашиваю: что там приключилось-то? А ничего, говорит, не было. Не нашли его. Как сквозь землю канул. Это вы, значит. А я гляжу, у него чемоданчик в руке, на ваш похожий. Я говорю, откуда это? Он хохочет, остановиться не может. Это говорит, евоный чемоданчик. На аллейке лежал. Пацаны его не углядели, а я прихватил и — деру! В чемоданчике одежда была, бумажник и документы. Денежки они ваши между собой поделили, чуть не разодрались.— Одежку Генка забрал. А вот документы — не знаю. Не то Генка взял, не то Педагог, не то вообще выбросили, тоже запросто. Главное, спросить не у кого. Педагога шпана до полусмерти отфоршмачила, видать, приметили, как он чемоданчик спер. Заточкой ткнули в бок. Сейчас в больничке, говорят, кончается. А Генка как про то услышал, тоже в бега подался. Три дня ни слуху ни духу. Хотя Расписного давеча менты повязали. Загребит в колонию или в тюрьму. Может, объявится теперь Генка. Вот так... А я вас искал, между прочим. На то место в лесопарке приходил. Даже в гостиницу заглянул. Администраторша сперва меня вон погнала, потом через пацана, что машины моет на стоянке, вернула, велела меня вас отыскать. Приплатила даже. Сказала — журналистом прикинься, блокнотик дала, ксиву завалющую. Говорит, во второй горбольнице, вроде есть кто-то. Поинтересуйся. Ну вот я и...

— Ин-те-ресное кино! — Коротышка вскочил на ноги и победно прошелся по душевой оглядывая обоих. — И что теперь будем делать?

— Делать! — Долговязый раздраженно покосился на него. — Снять трусы и бегать. Твое дело — уколы да клизмы. Деловой нашелся.

— Не скажи-и! — запел Коротышка. — Мое дело — защищать права обездоленных за умеренную плату. Я теперь для него вроде как...

IV

Коротышка не успел договорить. Дверь в душевую распахнулась и у порога грозно возникла санитарка Снежана, женщина богатырских форм.

— Вон они где. Как сразу-то не догадалась! Ты у меня, Студенцов, вот уже где сидишь, я на тебя, паршивца, точно жалобу буду писать. Тебя завтра же из больницы выпрут, помани мое слово.

— Снежаночка-лежаночка! — тонко заблеял Коротышка, но санитарка злобно зыркнула на него из-под бровей и он испуганно затих.

— А вас, гражданин, — она глянула на меня с осуждением, но уже слегка смягчившись, — к главврачу зовут. Обыскались все вас. Разве можно так? Нас же потом наказывают. Постыдились бы хоть.

— А что у главврача? — осмелев, поинтересовался Коротышка.

— А тебя, хмыря, спросить позабыли, — вновь насупилась Снежана. — Шагом марш на место. И бомжи этой рваной чтоб духу тут не было!..

Возле лифта она, подбрав сообщила, что у главврача меня ждут трое: мужчина (так себе серенький весь, как хомячок, глянуть не на что) и женщина (та — ничего, одета фактурно, фигуристая, все на месте, и при деньгах, по всему видать). И еще одна женщина. Та моих годов, одета так себе. Неинтересная, в общем, гражданка.

Ну мужчину я узнал сразу. Следователь Филинов. Вадим Эдуардович. Женщина же была впрямь «фигуристая». Едва подкрашенная брюнетка, волосы густые, хорошо, хотя чуть старомодно уложенные, сидит вольно, нога за ногу. Глаза большие, темные, ресницы длинные и, похоже, свои, не накладные. Интересно, кто такая? Неужели она меня знает и даже разыскивает? Что-то есть в этой манере улыбаться — одной половиной лица, в манере сидеть — вызывающей и вместе с тем позвериному настроенной, нечто знакомое. Чужое, не мое, но знакомое. Увидев меня, женщина переменилась в лице, разом подалась вперед, открыла рот что-то сказать, но почему-то осеклась, неловко улыбнулась.

Другая всем видом показывала скуку и неудовольствие.

— Ну вот, уважаемая, — сирописто заговорил нараспев, косясь на брюнетку, полный, щегольски одетый мужчина со щекастым, барсучьим лицом, видимо, главврач, — вот он, наш, как его называют, «найденый».

Он как-то глуповато хихикнул, вновь глянул мимо меня на женщину. Та искоса поморщилась от его липучего взгляда. Немного, впрочем, наигранно. Вновь посмотрела на меня, явно не зная, что сказать.

— Ты... Простите, вы меня не узнали? — с трудом сказала она, нарочито громко откашлявшись.

— Нет, — ответил я со всем возможным сожалением. — Пока во всяком случае. То есть, я бы с удовольствием...

— Понимаю, — женщина кивнула. — А если...

Тут она лучезарно улыбнулась, откинулась назад и обвела туманным взором главврача и следователя.

— А вот если бы вы — мне очень неудобно, конечно, — буквально-таки на пару минут нас оставили здесь одних. Самая малость, а? И все бы разрешилось. Как говорится, в интересах следствия.

— Однако... — главврач прямо-таки задохнулся от неожиданности. — Я даже не знаю...

— А что тут знать, — сладко пропела женщина, откинув назад голову и шумно, полной грудью вздохнув, — что знать-то, Роман Ильич. Делов-то, еще раз повторю, на пару минут. Ну на пять. А?

— Ну знаете, — суетливо и восторженно закудахтал главврач, — из моего кабинета меня еще пока никто не выпроваживал. Вы просто злоупотребляете моим восхищением вами, однако...

— Да ладно вам! — неожиданно подала голос вторая женщина. Говорила она сипловато, придушенно. — Такая мадмуазель вас просит, а вы натурально менжуетесь. Успеете в кресле насидеться. А я, товарищ следователь, может, пойду уже? Не припомню я его, точно могу сказать.

Она поднялась и, не дожидаясь ответа, вышла.

Главврач раздраженно поморщился ей вслед, но кисло улыбнулся и кивнул в сторону брюнетки.

— Ну и чудно, — сладко пропела она. — Буквально пять минут.

Главврач комично пожал плечами, кивнул следователю Филинову и оба почему-то на цыпочках вышли из кабинета. Причем последний без всякого сожаления, скорее с интересом.

— Послушайте, — сказала женщина, с которой мгновенно слетела самоуверенность и насмешливое

кокетство, — вы в самом деле меня... ну как бы никогда не видели? Ну хотя бы, — она вдруг понизила голос до шепота, — дайте знать, что ли?

Я пожал плечами.

— Ну хорошо, — женщина вновь шумно вздохнула, — давайте попробуем так, — она вдруг расстегнула молнию на сумочке и вытащила...

Странно, но в тот момент я вдруг с ослепительной ясностью понял, **что именно** она вытащит из сумочки. Я еще остерегался заглянуть за полосу этой ясности, ибо еще не обрел опору, лишь осознал, что она где-то здесь, неподалеку, надо лишь протянуть руку. На женщину я в этот момент старался не смотреть, ибо знал, стоит поднять глаза...

Это была сложенная вчетверо газета. Внимательно глянула на меня и осторожно протянула, указав пальцем, где надлежит читать.

А мне уже и не нужно было читать. Я знал **это** слово в слово, будто специально заучивал.

Вчера около девяти вечера на перекрестке улиц Пархоменко и Калужской, у входа во вновь открытую гостиницу «Камея» произошло ставшее, увы, привычным для нашего города преступление: заказное убийство. Из проезжавшего мимо автомобиля «Жигули» девятой модели был буквально изрешечен пулями человек, личность которого удалось установить почти сразу же. Это некий Анатолий Чепик, известный в криминальных кругах под кличкой «Чипполино». Пострадавший скончался на месте. Стрелявший, всадив в него едва ли не целый магазин автомата Калашникова и прихватив с собой его кейс, скрылся в автомобиле, который был впоследствии найден в одном из переулков на окраине.

Надо сказать, убитый мало напоминал персонажа детской сказки. Это был находящийся в розыске по подозрению в причастности к по меньшей мере двум громким преступлениям криминальный авторитет. Известен он был с одной стороны как безжалостный наемный убийца, с другой стороны, как один из руководителей теневого бизнеса. Явление весьма редкое.

Имя Анатолия Чепика упоминалось, в частности, в связи со всколыхнувшим недавно город убийством влиятельного предпринимателя Виктора Гурьянова, известного под кличкой «Бурьян» и его телохранителя. То, что исполнителем и по сути организатором этого жестокого убийства был именно Чепик — факт практически доказанный.

Прослеживалась также связь и с загадочной гибелью в сентябре этого года служащей банка «Центурия» Жанной Воронцовой (имя в интересах следствия изменено)...

АННА

...И долго еще потом он с каким-то отстраненным удивлением приглядывался к самому себе. Это он? Павел Воронин, сорока двух с небольшим лет от роду, седоватый с висков шатен, с аккуратными, заостряющимися книзу усиками, серо-голубыми (в зависимости от освещения) глазами, мягким голосом, немного грудным, но одновременно с едва заметной мужественной хрипотцою? Нет, ничего и никуда не ушло, все осталось на месте, но это-то и было странно и тягостно. Все, что еще вчера было его исконным, что делало его по-своему неповторимым, стало вдруг чужим, ненужным, жалко-лицедейским. Следовало, как казалось ему в эти короткие мгновения, стать самим собой, настоящим.

Отчетливо понимал Павел Воронин только одно: с того ужасного ночного телефонного звонка, когда равнодушно-участливый мужской голос сообщил ему о том, что случилось с Анной, началась какая-то пугающе чужая жизнь, которая с мимолетной бесцеремонностью взломала все то, что казалось ему незыблемым...

— Алло... Павел Валерьевич? Алло, вы слышите меня?

— Да, да, слышу. Говорите!

Воронин, спросонок едва не смахнув с тумбочки телефон, одной рукой прижимал к уху трубку, другой искал на ощупь кнопку ночника. Кнопка отыскалась наконец. Воронин обнаружил, что уснул, не раздевшись, что часы показывают двенадцать ночи, и что в доме какая-то особенная тишина, которая бывает, когда Анны нет дома.

— Я, Павел Валерьевич, по поводу вашей жены. Анны... Анны Владимировны. Н-да...

— Что по поводу Анны Владимировны? — Воронин еще не мог выкарабкаться из сонной одури. — Она... Где она вообще?

— Она здесь. То есть в больнице, да. Тут, понимаете...

— В больнице?! — Воронину вдруг показалось, что его капризно-возмущенный тон может как-то отвлечь нечто темное и невообразимо страшное, невесть откуда и невесть зачем среди ночи явившееся.

— В какой такой больнице?! Что-то случилось? Алло, говорите. Случилось что-то? Да не молчите вы. Что вы молчите!

— Я не молчу. Да, случилось. Вы приезжайте. Тут...

— Что, прямо сейчас?.. — Он понял, что сказал какую-то нелепость. — Да, да, конечно же, я сейчас. Что-то серьезное, да?

— Да уж...

— Но с ней все в порядке? Она... жива? Что значит — «да уж»?

— Вы приезжайте, — упрямо долдонил голос. — Первая горбольница. Академика Павлова, два.

— Да, хорошо. Но она жива? — он словно ставил условие.

— Н-нет, — голос ответил помолчав, словно набравшись твердости. Тут же скороговоркой, словно боясь передумать, выпалил. — Анна Владимировна скончалась... Из окна... Десятый этаж, понимаете? Я ничего не знаю. Больше... Вы приезжайте, пожалуйста. Первая горбольница...

Трубку повесили.

Воронин встал, поспешно отошел подальше от ярко-оранжевой пластмассовой подушечки телефона, будто именно от нее исходила та непостижимо ужасная угроза. Нет, чушь это все, чушь. Ошибка, ясно, ошибка. Одному мужику тоже позвонили, ваша жена, говорят, умерла. А она, ха! — рядом с ним лежит. Он говорит: сейчас проверю. Да нет, говорит, жива. Ха-ха! Сейчас все выяснится. Сейчас позвоним... На работу. Мало ли, случилось и до ночи... Он вспомнил вдруг: «...Десятый этаж, понимаете?» Ее комната как раз на десятом... Ну и что! Он лихорадочно забарабанил пальцем по кнопкам... Занято!!! Ну конечно, господи! Сидит, болтает с кем-то, дура! Вот ведь дура, а! Так, еще... Теперь свободно. Ну давай, бери... Вот дура. Да бери же ты, черт! Ладно, мы еще раз.

И опять все те же длинные, безжизненно тяжелые гудки. Никого. Ну оно и верно. Кто ж будет до двенадцати ночи — на работе... Так. Регинка! Запросто может быть у нее. Одинокая красотка. Ладно еще номера все на виду... Так, долго не берут. «Алло, Регина? Разбудил? Ладно, виноват. Я вот, что хотел... Догадалась? Ну слава богу. Она спит что ли?... Как это, кто? Анька!... У тебя нет? А... мне показалось... Ну извини. Давай...»

Он растерянно положил трубку. Ну где же, где же? Что ж теперь, ехать? Ну вообще съездить-то, пожалуй, надо...

На тумбочке мелодично замурлыкал телефон. Ну наконец-то! Он, словно боясь упустить что-то, хватается за трубку.

Регина. Голос какой-то чужой, сорванный. Говорит вполголоса, с придыханием. Так бывает, когда трубку ладонью прикрывают. Будто боится, что кто-то услышит. Видно, не одна.

— Слушай, мне ведь сегодня Анька звонила. Часу в одиннадцатом. Говорит, дело у нее ко мне. Какое такое, спрашиваю, дело? Она начала говорить про какое-то кафе, потом бросила и говорит, ладно, дай бог, завтра встретимся, расскажу. Толком не поняла, чего она хотела. Я говорю, ты выпила, что ли, Анюта? Она хохочет. Просто хохочет во все горло. Мне еще этот смех не понравился. Ты, Паша, позвони-ка ей на работу, а? Может, там? Потом сразу мне. Я уж теперь один черт спать не буду...

В вестибюле больницы его окликнул маленький, бестолково мечущийся человек в куцем белом халате, накинутом на нелепую джинсовую куртку с клоунским галстуком. Похоже, с ним он и говорил по телефону. Он участливо схватил его за локоть, буквально втолкнул в лифт, словно боясь, что он вдруг откажется. «Представляете, полный шок. Ужас какой-то. Анна Владимировна... Я еще подумал, с чего это, почти в одиннадцатом часу, на работу. Никого ж нет, даже шеф уехал. Одни вахтеры, охрана... Ей с вахты позвонили. Мол, вы еще долго, Анна Владимировна? Около одиннадцати это было. Она говорит: полчасика. Да еще, знаете, весело так. Что-то еще пошутила, вахтерша даже засмеялась. И вот — около двенадцати ночи... У-жас! Охранник говорит: вышел покурить, смотрю, окно на десятом погасло. Ну, думаю, наконец-то закончила полуночница наша. И вдруг окно настезь... Аж, говорит, стекла звякнули. В общем, прямо возле автостоянки... Сразу, конечно, «скорую» вызвали. Да что там, она и до приезда не дожидая. Виктор Михалыч подъехал. Почти сразу. Ему доложили. Он тоже буквально...

— Слушайте, а может, это... — Воронин уже не мог остановиться, хоть понимал, что несет идиотскую бессмыслицу, — может, это все ошибка какая-то. Вы поймите, не могла она!

— Ну нет, что вы, — человечек с горестной улыбкой покачал головой. — Какие ошибки. Я ж вас

знаю, Павел Валерьевич. Да и вы меня знаете. Вадим меня зовут. Встречались мы с вами на юбилее Виктор Михалыча, вы забыли просто. Ну — приехали.

Они вышли из лифта, пошли по слабоосвещенному, холодно-синему коридору. Человечек все это время кому-то махал руками, делал знаки, гримасничал. Коридор был длинный, наверное, сотня метров. На углу он едва не сбил с ног женщину, похоже, врача. Яркую, покрашенную брюнетку в нарочито обтягивающем халате. Она глянула на него поначалу с недоумением, затем, уловив, видимо, какой-то боковой жест человечка по имени Вадим, глянула уже с протокольным участием.

— Ленская. Руфина Леонидовна, — протянула для чего-то руку. Затем быстро отдернула. Рука была сухой и неприятно горячей.

— Что там? — спросил Воронин, вновь содрогаясь от нелепости вопроса.

— Сейчас, одну минутку, — врач кивнула. — Сюда, пожалуйста.

Они вошли в ярко освещенное помещение, человечек исчез, врач Ленская, опередив его, остановилась перед чем-то серо-металлическим.

— Одну минуточку, — вновь сказала она каким-то дурацким, торжественным голосом. — Возьмите себя в руки.

Воронин хотел обойти ее, но она вдруг вновь с настойчивостью встала на его пути.

— Вам нужно успокоиться... — начала она и вскинула перед собой ладони, словно для защиты.

— Слушайте! — он начал выходить из себя, однако махнул рукой.

Ленская смотрела на него в упор исподлобья, словно вычисляла что-то. Затем, видно сочтя возможным, кивнула, отошла вбок, мимоходом откинув с носилок угол белой простыни...

... Была лишь оболочка, заполненная чем-то серовато-неживым. Эта оболочка с отвратительной, аляповатой небрежностью передавала ее черты, какой-то грубый, первоначальный гипсовый набросок. Глаза закрыты, словно человек просто устал и не хочет никого видеть. Ссадины на щеке и на лбу, бурые разводы какие-то на подбородке, похоже, кровь была. Серый свитер почему-то порван у горловины, тоже в бурых пятнах. Аня...

Он вновь почувствовал, что ему совершенно необходимо задать этот лишенный смысла вопрос.

— Она... — он начал уверенно, потом осекся, словно забыл, что хотел сказать, жалко заглянул в глаза, — Это все?

Ленская с сочувственным недоумением пожала плечами и кивнула. На мгновение он почувствовал какую-то безвоздушную слабость в ногах. Свет показался нестерпимо ярким. И он подумал, как о чем-то обыденном и само собою разумеющемся, что сегодня он умрет, потому что жить с этой болью, которая еще не пришла, но придет очень скоро, он все равно не сможет. Он еще не чувствовал эту боль, но как бы видел со стороны. Потом мысль о смерти не то что пропала, но стала тонкой и прозрачной, сквозь нее стали проглядывать какие-то другие мысли.

Он пришел в себя от того, что кто-то давно и настойчиво похлопывал его по локтю. В раздражении он отдернул руку.

— Вам лучше выйти сейчас, — услышал он голос Ленской. Уголки ее рта были почему-то обиженно поджаты книзу.

В коридоре он вновь увидел человека, которого, кажется, звали Вадимом. Он стоял спиной к нему, прижав к распластанному уху серебристую коробочку сотового телефона. Лево́й рукой при этом ерошил и без того включенные волосы и монотонно бубнил: «Понял... Угу... Угу... Понял... Есть...»

Увидев Воронина, он приветливо заулыбался, комично скосив глаза на трубку, словно невидимый собеседник намеревался передать ему, Воронину, нечто веселое.

— Все под контролем, — шепнул он и кивнул для убедительности.

— Что? — не понял Воронин. — Что под контролем?

— А! — Вадим вдруг махнул рукой, сконфуженно осклабился, прикрыл ладонью трубку и отстраненно зашептал: — Это я так. Зарапортовался. Бывает. День сегодня сумасшедший. Сами понимаете.

Воронин отошел. Он был все еще спокоен, ибо до полного осознания того, что случилось, что Анны в его жизни нет и больше не будет никогда, было далеко, он только еще окольно, кругами, с тоскливой обреченностью подбирался к этому осознанию, он еще только малым уголком сознания рисовал себе, каково оно будет: жить без нее. Странно, сейчас он даже испытывал нечто вроде облегчения: тягостная, ужасная процедура позади, сейчас он вернется домой, где нет этих холодных, деловитых людей, этого мертво мигающего света, этих бессмысленных фраз. И дома можно будет опять сесть к телефону и куда-то звонить, убедительно, по пунктам доказывая, что все это — ужасное недоразумение, которое очень скоро развеется... А здесь он чувствовал себя отражением в зеркале в совершенно чужом, враждебном доме. Отражением, которое хочется старательно стереть, чтобы оно исчезло

навсегда.

Он отошел к окну. Вадим, продолжая стрекотать по телефону, двинулся машинально за ним. Из окна был виден косой пролет незнакомой улицы, плоская, почему-то ярко освещенная крыша какого-то строения внизу. Там тоже была какая-то крыша. Навес. И что она вот так же подошла к окну, глянула вниз, открыла эти ужасные винтовые запоры, наверняка такие же, как здесь? Встала на подоконник?... Нет. Это невозможно. ЭТОГО НЕ МОГЛО БЫТЬ.

— Невозможно, — сказал он коротко и решительно, словно наконец подвел итог каким-то длительным умозаключениям.

— Что? — Вадим вновь досадливо отвел в сторону трубку. — Что вы сказали, простите?

— Это невозможно, — повторил Воронин, обращаясь к нему, как к давнему оппоненту. — Вы поймите, — Воронин прижал к вискам ладони и вдруг коротко рассмеялся, будто подчеркивая всю смехотворность возможных возражений. — Она не могла. Вот так, из окна... Кто угодно, но не она. Это просто бред. Просто, я не знаю что...

Он все повторял и повторял это бессмысленное нагромождение слов, силясь убедить непонятно кого непонятно в чем. Он готов был представить сотни стройных, разумных доказательств того, что этого не могло быть, и вообще то, что происходит здесь, — неправильно и смехотворно. Ему снова неудержимо захотелось рассмеяться, чтобы высмеять раз и навсегда эту тупоумную чушь, и он тихим, сдавленным клекотом загнал было смех обратно, но он как-то в обход вырвался наружу.

— Я тут... перезвоню, — гнусаво и значительно сказал Вадим. Трубка мелодично пискнула. Он повернулся и глянул на него с раздраженным сочувствием, как усталая няня на не желающее засыпать дитя.

А Воронин все смеялся, содрогаясь собственному бабьему смеху и ничего не мог с этим поделать. Вадим, до того глядевший на него со страхом и недоумением, вдруг тоже сконфуженно хихикнул, однако спохватился и, словно вспомнив о чем-то второпях забытом, суетливо полез во внутренний карман.

— А, вот здесь! — он бережно извлек на свет элегантную отдающую позолоченным никелем прямоугольную фляжку, отвинтил крышку в виде головы глумливо гримасничающего гнома и протянул Воронину.

— Вот. Вам ей-богу не помешает. Валяйте, Павел Валерьевич, можете прямо до конца. Там грамм сто пятьдесят всего-то.

Воронин наконец смог остановиться и отрицательно замотал головой. Из фляжки неожиданно терпко пахнуло коньяком.

— Вы выпейте, Павел Валерьевич, не помешает вам, право слово, не помешает. Коньяк хороший, между прочим.

Воронин наконец взял согретую в кармане фляжку, сделал глоток.

— Вот и хорошо, — тонко заблеял Вадим. И снова запричитал, как над больным ребенком. — Теперь еще глоточек.

Не заметил Воронин, как допил флягу до конца. Коньяк живым комочком вполз вовнутрь. Стало не то что легче, но он как-то осознал себя, что нужно теперь что-то делать, пусть бестолково, невпопад, но делать. И даже Вадим, маленький и пустой человек, показался вполне симпатичным, и даже искренне сочувствующим, настолько, что ему можно объяснить, что...

— Тут, Павел Валерьевич, нужно бы подписать кое-что. Ну сами понимаете, люди людьми, а формальности формальностями. Все, как говорится, там будем, но жить-то надо.

— Да, конечно, — охотно кивнул Воронин и тут же быстро переспросил: — Как вы сказали?..

Но Вадим, бесцеремонно взяв его за рукав халата, уже водил его по каким-то кабинетам, уверенно, будто тем всю жизнь и занимался. Он отдавал распоряжения совершенно незнакомым ему людям, и те удивленно ему повиновались. «После, после», — отмахивался он от кого-то. «Только не затягивайте, бога ради, бодягу... Ну я же сказал, все будет улажено. Пусть вас это не волнует, вы знайте делайте свое дело. Виктор Михайлович все уладит... За счет банка, разумеется, за кого вы нас принимаете...»

— Ну вот и все, — усталым и довольным голосом, — сообщил Вадим. — Сейчас машина будет. Как зачем? Станный вы, ей-богу. Домой забирать.

— Домой? То есть как? Она разве...

— Ну домой повезем, как! — едва не вышел из терпения Вадим, и тут же вновь успокоился. — Возьмите себя в руки, таким молодцом держались, я восхищался. Так что давайте. Родным сообщите. Живы у нее родители.

— Нет. Только сестра с мужем...

...Они считались счастливой парой. Образцовой. Да в общем-то и были. «Всем бы так жить», говорили про них.

Учились на политехническом, правда на разных факультетах и в разных зданиях. Познакомились на третьем курсе.

Был у него приятель, Коля Шатунов. Тоже с Политеха. Их матери были когда-то сослуживицами, посему так случилось, дружили они с детства. С тех времен установилась традиция отмечать их дни рождения. В первый раз, кажется, пятилетие. Так и тянулось. Воронин зашел тогда к Шатунову как раз дня за два до его дня рождения. По какой-то мелкой, уже забытой надобности. Звонил долго, из-за дверей доносился невообразимый гвалт, музыка, выкрики какие-то. «Похоже, загодя гулять начал Шатун», подумал Воронин, хотел уйти, но дверь открылась. Открыл ее незнакомый парень в очках, в костюме, даже при галстуке, но босой.

— Привет, — сказал он. Его сильно качнуло, пришлось поддержать. — Ты кто? Ни черта не помню.

— Да так, один. Шляюсь тут. Мне бы Колю.

— Шатуна? Это запросто. Только погоди немного. Он ...

— Что?

— Ну херово ему, понимаешь? — Парень неумело щелкнул себя по шее, засмеялся, его опять качнуло, он цепко взялся за косяк, лицо его стало комично серьезным.

— Понимаю, — сказал Воронин. — Ладно, не горит. Завтра зайду.

— Стоять! — скомандовал парень и пошел, шлепая пятками, зигзагом к ванной. У двери остановился. — К-как прикажете доложить?

— Скажи Воронин. Павел Воронин.

Парень кивнул и исчез в ванной. Оттуда доносились шумы, неясные, но характерные. Затем дверь открылась, босой вышел.

— Велено препроводить в залу и немедленно налить, — сказал он, с трудом выговорив трудное слово «препроводить». — Пожалте со мною.

Воронин оказался втолкнув в Колькину комнату. Там было так дымно, что защипало глаза. Его тычком усадили на шаткий кухонный табурет, представили почему-то Сергеем Черновым и что-то налили в щербатую чайную чашку.

— Вот мы с вами и встретились, — услышал он вдруг. — Как интересно.

Рядом с ним сидела смутно знакомая девушка, вся в чем-то синем. Стрижка короткая, под мальчика, косая светлая челка, голос немного низкий, смотрит почему-то исподлобья, но улыбается. Красавицей не назовешь, но лицо запоминается. Особенно профиль. Тонкий, немного горбоносый. Ему нравились такие. Фигурка, похоже, на месте, хоть и сидит, а видно. Нога за ногу. Коленки славные.

— Что вы сказали? — переспросил, хоть и расслышал. Нагнулся поближе. Духи хорошие...

— Мне о вас Николенька много рассказывал. Уж такой вы, прямо, интересный получаете.

Говорит, почему-то глядя в сторону. Лишь изредка глянет и тут же прикроет глаза. Фасон.

К нему полезли чокаться, он выпил. Какая-то ядреная, гадкая настойка с древесно-уксусным вкусом. Пока пил и отходил от пойла, морщась и трясая головой, соседку его уже пригласили танцевать. Причем так грубовато по-свойски, даже не глянув на него. Он почему-то решил обидеться и назло непонятно кому пригласить полную, глубоко декольтированную блондинку, одиноко стоящую у балконной двери, прижавшись лбом к стеклу. Блондинка однако отказалась, попросту недоуменно отмахнулась, не оборачиваясь. Воронин обиделся сильнее и уж было решил удалиться. Эка, тоже, невидаль, а то девок он не видал. «Не обижайтесь, Галочка вызвала такси и теперь ждет. Ей домой надо, понимаете?» — услышал он участливый, немного насмешливый голос и вновь увидел перед собой недавнюю соседку. — Так что барышни у нас нынче все заняты. Ну кроме меня, разве что». Она вдруг развела руками и рассмеялась.

Танец затянулся надолго. Взаимное сближение начало приобретать чересчур откровенный характер. Голова Павла Воронина доверительно прильнула к ее предусмотрительно открытому плечу, правая рука томно перебирала ее пальчики, а левая опустилась много ниже положенного. Дальше — больше. Кто-то, проплывая мимо, бросил, неприязненно покаясь на Воронина: «Ковалева, не увлекайся. Мужу-то все скажу». А тут как раз оборвалась и облегченно завертелась магнитофонная бобина и страстная битловская «Oh Darling!» оборвалась вместе с нею...

«Испортил песню, дурак», — сморщилась Анна Ковалева, переводя дух. А Павел разочарованно кивнул, ибо интерес его к партнерше изрядно угас: он в ту пору недолюбливал замужних дам с их проблемами и боязливо-порочными страстями. Кстати, под мужем подразумевался тот босоногий и пьяный, что открыл ему входную дверь. Никаким мужем он не был. Просто некоторое время они как бы состояли друг при друге.

А на другой день был уже официальный день рождения Коли Шатунова, который прошел

скучновато. Коля был помят и хмур, вчерашний день помнил смутно, сказал лишь, что начали отмечать его «*днюху*» с институтской группой сразу после занятий, поначалу в «Мутняре», так звалось питейное заведение возле института, затем всем гуртом переместились к нему домой. О приходе Павла Воронина забыл начисто. Об Анне Ковалевой говорил неохотно. «Вообще баба неглупая», — сказал он неуверенно и таким тоном, что это, вроде, единственное ее достоинство.

С Аней они встретились только месяца через два. Все это время Воронин вспоминал ее изредка и не без удовольствия, хоть и без особого сожаления. Встретились на первомайской демонстрации. Воронин вез тогда как хронический академический задолжник на скрипучей велосипедной тележке эмблему факультета, тяжелую и угловатую. Встретил Шатунова с компанией, и была там Аня, которая к тому времени сменила прическу и похорошела изрядно. Его принялись бурно зазывать ехать немедля куда-то за город, на какую-то роскошную дачу к какой-то Лукьянцевой, Аня в уговорах не участвовала, но, стоя в сторонке, улыбалась и кивала. Поехать с ними он не мог, потому как не мог оставить эмблему. Они торопились и так и уехали без него, а он остался, едва не плача от досады с ненавистной эмблемой... Единственным утешением было то, что лицо Анны, когда он отказался, разочарованно вытянулось...

А еще неделю спустя был институтский вечер. Воронину удалось быстро отбить всех Аниных кавалеров, коих было поначалу не счесть, потому как одета она была как-то вызывающе завлекательно. И вновь были упоительные танцы без оглядки на окружающий мир, а потом — еще более упоительное провожание, после которого Воронин вернулся домой под самое утро, всклокоченный, чумной и совершенно счастливый.

А потом случился бурный, демонстративно эпатажный роман. Хотя на самом деле никого они, конечно, не эпатировали, таких фрондирующих парочек было на каждом потоке по несколько штук. Их хоть и воспринимали как нечто единое, неделимое, но, зная натуру Анечки, ждали скорой и незатейливой развязки. Воронина тоже стали называть мужем, и это его раздражало. Хотя где-то в глубине души нравилось.

А завершилось все это безумной двухнедельной поездкой в столицу, в самый разгар сессии. Итогом поездки стало отчисление Воронина за академическую задолженность. Аня отделалась устным порицанием. Осенью Воронин ушел в армию. Получил от Ани два письма, одну открыточку ко дню рождения. И на этом все. Переживал, конечно, но как-то спокойно, ибо, опять же в глубине души, ничего иного и не ждал. Из писем приятелей узнал, что Анна уехала в Нижневартовск и там, вроде бы, вышла замуж. И вообще, очень удачно устроилась.

А Воронин, воротившись из армии, без приключений доучился оставшиеся полтора курса, распределился в Казахстан, в пыльно-серый и скучный степной городок, вскоре сошелся там с женщиной много старше себя, пышной, молчаливой брюнеткой, полунемкой, полуказашкой и по простоте прописал ее в комнате в коммуналке, которую получил как активный рационализатор. Очень скоро в комнате появился ранее неучтенный сын этой женщины, угрюмый и туповатый двенадцатилетний подросток с полусонным взглядом. На неуверенное предложение Воронина называть его дядей Пашей отрок желтозубо ощерился и пожал плечами. Воронин, впрочем, и не переживал, ибо понял, что рано или поздно станет здесь лишним. Так и оказалось. Коллеги и сослуживцы, давно и заинтересованно следившие за происходящим, злорадно и назидательно вздохнули, и Павел Воронин решил их не разочаровывать, тем более что и срок его распределения давно закончился.

Как-то утром собрал чемодан, записку решил не оставлять за ненадобностью, и съехал в гостиницу, затем вернулся в родной город. Мать и сестра были рады, надо полагать, но радость свою тщательно скрывали, потому что у сестры Виктории уже много лет налаживалась личная жизнь и никак не могла отладиться. Посему Воронин не очень охотно бывал дома, с удовольствием соглашался на любые командировки.

Зашел однажды к Коле Шатунову. Тот только что выписался из больницы — расшибся по пьяному делу на мотоцикле. Повспоминали. Решили с толком отметить надвигающееся Колькино тридцатилетие. Припомнили, что вот уж десять лет назад, в этой вот как раз комнате...

«Еще бы не помнить! Ты еще ко мне тогда приперся — радостно захохотал Шатунов. — А тут у нас полный гужбан. Я натурально в отключке, в ванной отдыхаю, как говорится, харчами хвалюсь. Веселое было время. Анька там еще была Ковалева. М-да... Помнишь, небось».

«Помню, как же. Она как, кстати?»

«А вот зайди да и проведай. Рада будет. Старая любовь, говорят, не ржавеет. Главное — смазывать вовремя. Верно?».

«Верно. Только далеко больно смазывать. Нижневартовск. Выговорить трудно, не то что доехать».

«Какой Нижневартовск, чудо! Анька уж год как вернулась! С мужем у нее, вроде, полные кранты. Даже говорить о нем не хочет. Вот недавно с ней виделся. В больницу ко мне приходила. Обо всех расспросила...»

«Ужель и обо мне?»

«Вот как раз о тебе — ни слова. О других — во всех подробностях, о тебе — ни гу-гу».

«Сие значит, — Воронин нервно усмехнулся и развел руками, — недостоин внимания».

«Дурак. Сие значит, что только тобой она и интересовалась. А кем еще? Мной что ли? Ждала, когда я сам скажу. А я не сказал. Из вредности. Так что зайди. Адрес скажу. А давай лучше так: я ее на рождение приглашу, а?! Как говорится, десять лет спустя...»

На день рождения Коли Шатунова Воронин решил прийти с небольшим, элегантным опозданием. Чтобы не возомнила бог весть чего. Финт, однако, ушел впустую, Анна не пришла. Шатунов почему-то пришел в ярость. Он даже позвонил ей домой, но старшая сестра, у которой Анна в ту пору жила, холодно сообщила, что Аня плохо себя чувствует, просила не будить, а лично ему, Шатунову, желает крепкого здоровья и большого человеческого счастья.

— Ты, похоже, опять на Аньку запал, — неодобрительно констатировал Шатунов, когда гости разошлись.

Воронин полуутвердительно пожал плечами.

— Слушай, — Шатунов просветленно улыбнулся, — тебе ее трахнуть надо. Уже было? Значит еще раз! И все пройдет. Мировой опыт показывает, что в девяти случаях из десяти проблема тотчас разрешается. А? Ибо половая неудовлетворенность порождает фантазии, а фантазии дезорганизуют разум и, как результат, деформируют сознание, равно как и бытие.

Шатунов недавно женился, посему был склонен к философским обобщениям.. Женился, кстати, на той самой Галине, на которую на памятном дне рождения поначалу безуспешно положил глаз Воронин.

Воронин вновь пожал плечами, что означало, что с мировым опытом в целом согласен.

— Все! — вдруг вновь разъярился Шатунов. — Одевайся! Едем.

— Куда это? — забеспокоился Воронин.

— К Ковалевой, куда!

Воронин, при всей дикости предложения, решил не отнекиваться, боясь, что Шатунов возьмет и передумает. Они стали шумно, путаясь в рукавах и пререкаясь, одеваться в прихожей. На гвалт вышла Галина, успевшая уже отойти ко сну. Когда она поняла, что удерживать мужа бесполезно, напросилась идти с ними и даже согласилась налить обоим для храбрости по рюмашке.

Дверь им открыла Лариса, сестра Анны. Первым делом гневно поинтересовалась, знают ли они, сколько времени. Выяснилось, что время вовсе не полдесятого, как простодушно полагал Шатунов, а без двадцати два. Однако Шатунов гордо сказал, что все понимает, и что на работу завтра, и что Анечка болеет, но бывают в жизни ситуации... Вышел муж Ларисы, солидный, полный мужчина, похожий на какого-то крупного грызуна, и сообщил, что уже вызвал милицию. Воронин все это время с достоинством молчал, лишь изредка кивая, со всеми соглашаясь.

В конце концов вышла Анна. Взлохмаченная, в длинном, с чужого плеча халате, накинутом прямо на ночную рубашку и в шлепанцах на босу ногу. Увидев ее, Воронин окончательно потерял дар речи и способность трезво мыслить. Понимал он лишь одно: ежели существует на свете счастье, то оно вот такое, и больше никакое.

— Вы тут с ума сошли, что за базар в конце концов! — начала было Анна хриплым не то со сна, не то от ангины голосом, но, увидев Павла Воронина, осеклась, округлила глаза и вдруг неожиданно заплакала и бросилась ему на шею. Вот так.

Когда Воронин пришел в себя, никого на площадке не было. Ни Шатунова, ни Галины, ни сестры, ни милиции. Только он и Анна.

А потом они были счастливы...

ПРОЩАНИЕ

Дом с утра начал заполняться людьми. Знакомыми, незнакомыми Все они куда-то звонили, договаривались, чиркали в блокнотиках, курили в ванной. Они менялись: исчезали одни, появлялись другие, я вскоре перестал их различать. Родственники и друзья сиротливо жались по углам, поглядывая на незнакомцев с настороженным уважением.

Ко мне все они относились как к больному ребенку, с осторожной и слегка раздраженной предупредительностью. Будто я всем им мешал делать несложное, несуетное дело, которое они не то чтобы любили, но знали в нем толк. Меня же следовало, по их мнению, всячески поддерживать, терпеливо выслушивать, не воспринимая всерьез. Порой казалось, что если бы я сию минуту куда-то

вдруг бесследно пропал, никто бы этого не заметил, и шло бы все исправно, своим чередом без меня.

Над всем этим мельтешением незримо, но весомо парило имя некоего Виктора Михайловича. Оно даже и произносилось бережно почти благоговейно, правда, как-то с усилием, с оглядкой. Сам он не появлялся, но, как можно было судить, все *держал под контролем*. Этот контроль, всеобъемлющий и обильный, ощущался во всем — в том, как быстро и без помех оформлялись какие-то документы, мне лишь без слов протягивали бланки, указывая мизинцем, где именно надлежит поставить подпись; потому, как своевременно и без помех появлялись скромные, незнакомые люди, которые с легкостью, но не без некоторого скорбного величия решали надлежащие проблемы, потому, как отлажено, по мановению руки возникало все, что необходимо, и столь же быстро и своевременно пропадало. И даже стрекоты мелодийки их сотовых телефонов стрекотали как будто по мановению невидимой дирижерской палочки.

Кто он такой, этот Виктор Михайлович, оставалось лишь смутно догадываться. Имя было знакомое, даже не само по себе имя, а именно эта суетливая, подобострастная оправа вокруг него.

И еще — всюду вездесущий, быстрокрылый Вадим, он неусыпно ходил за мною по пятам, участливо склонившись и придерживая за локоть, бормотал какой-то вздор, вроде «жизнь продолжается, надо быть стойким...», и опять же делал кому-то знаки. Однако именно потому, как важно и значительно он все это делал, было видно, что от него здесь ничто не зависит.

Он же, Вадим, открыл траурный митинг возле подъезда, предварительно оповестив кому и что надлежит говорить, «и вообще — чтоб все по-быстрому...». Он отдавал распоряжение, кому в какую машину садиться, кому идти, а кому не идти на поминальное застолье в кафе.

Впрочем, был момент, когда Вадим вдруг разом переменялся, глаза его будто ороговели, вывалились из орбит, он издал сиплый горловой возглас и замер, словно в коротком параличе. И тогда я увидел в прихожей сутулого темноволосого человека, которого заметил еще на улице, возле подъезда. Там он стоял в стороне от всех, будто посторонний, ясно было, однако, что никакой он не посторонний, что почти все из присутствующих его знают, но по какой-то причине предпочитают не замечать и даже обходить стороной. Он не силился придать лицу гримасу скорби, лишь напряженное равнодушие. Теперь же он стоял спиной к входной двери, не сводя с нас обоих прищуренного взгляда. Из уголка презрительно надломленного рта криво торчала дымящаяся сигаретка.

— Э-э, мы тут, Фаик Гаджиевич ... — начал было Вадим.

Почему-то стало не по себе.

— А вы бы не курили тут, — тихо сказал я, почему-то глядя в сторону. И тотчас добавил умиротворяюще: — неудобно, по-моему.

— Понял, отец, — отрывисто ответил он с каким-то легким инородным акцентом и через его плечо протянул окурок Вадиму, — возьми, дорогой, выброси, куда скажут. Потом спустились на улицу. Пара минут.

Еще раз смерил обоих нас взглядом и вышел, не обернувшись.

— Это еще кто? — спросил я Вадима.

Тот вначале покосился на меня с беспокойством и недоумением, затем принялся что-то путано объяснять полусшепотом, стараясь отвести в сторону от людей, то и дело упоминая при этом того же Виктора Михайловича. При этом нелепо перебирал пальцами забытый, видимо, от волнения чужой чадающий окурок. Я, однако, его уже не слушал, ибо без того вспомнил. И Фаика Гаджиевича, и самого Виктора Михайловича ...

Было это летом, год с небольшим тому назад. Еще за пару недель в доме постоянно и напряженно упоминался юбилей некоего Бурьяна. Причем упоминался как нечто крайне важное, но неприятное, тягостное. То, что надобно просто переждать, перетерпеть да и жить дальше.

«Что за Бурьян? — поинтересовался я. — Имя-то какое — Бурьян».

«Это не имя, — с досадой ответила Анна. — Зовут его Виктор Михайлович. Фамилия Бурьянов».

«Большой человек, надо полагать?»

«Ну да. Что-то вроде».

А за день до юбилея было объявлено, что приглашены не все сотрудники банка, а лишь избранная часть, зато — с мужьями-женами. Анна в том числе. В новый загородный дом. Идти не хотелось и я поначалу гордо отказался. «А я хочу? — вздохнула Анна. — Я еще больше не хочу. Тебе бы так не хотеть, как я не хочу. И тебя тащить не хочу, чего тебе там делать. Но вот никак нельзя. Неудобно, понимаешь?»...

Автобусная остановка называлась «Лесопарк». Сразу после остановки — извилистая, наезженная тропа мимо магазина с не то шутовой, не то серьезной надписью «Сельхозмаркет», мимо полуразрушенной, заросшей бурьяном пилорамы, мимо старой, щербатой церкви с желтеющим каркасом нового, возводимого купола.

Идти было недалеко, однако все просто изнывали от радостного нетерпения. «Сразу предупреждаю, — будет нечто!» — то и дело вполголоса выкрикивал, жестикулируя, полный, розовощекий человек с забавно завитым спиралевидным чубчиком. Это и был Вадим. От него весело отмахивались, но он был неутомим и неутомлен.

Пришли наконец. Трехэтажный дом модного асимметричного покроя из розового, литого кирпича с томно тонированными аркообразными окнами. На лужайке возле дома — уже накрытые столы. Фруктово-овощной рай с хрустально-изумрудными прожилками, который только благоговейно озирать... Хозяин, Виктор Михайлович, низкоросл, коренаст, в ослепительно белой рубашке с расстегнутым воротом — красный треугольник груди в рыжих кудряшках. На бугристом носу нелепые черные раскосые очки. Говорит тяжело, топорно, надсадно гнусавя, будто через силу: «Я рад. У-у, сколько ж вас! Располагайтесь. Угощайтесь...»

Потекли первые тосты. Девочки в крахмально белом с монашеской молчаливостью наполняли и разносили бокалы. Вездесущий Вадим порхал, как эльф, и мимикой, жестами указывал, кому и что надлежит говорить. «Нет, каково, а? — не уставал восхищаться он между делом. — А попробуйте вот это», — он кивнул на резную деревянную тарелочку с розовыми, густо залитыми майонезом колобочками. — «Да нет вы попробуйте! — капризно воскликнул он, увидев, что я ограничился кивком. Попробовал. Какой-то впрямь необычный мясо-грибо-овощной вкус.

«А?! — Вадим радостно захохотал и тоже стремительно умял колобочек. — Уж я сколько Виктор Михалыча просил: скажите, говорю рецепт. Ведь вот, не говорит, — причитал он, чмокая и облизывая кончики пальцев. — Но зато уж хлебосолен... Так. Минуточку. — Он вновь спохватился, вспорхнул, торопливо и туго дожевывая, и по-бабьи всплеснул руками: — А вот я смотрю, тут давно слово просит Татьяна Станиславовна... Только покороче, умоляю, — вполголоса простонал он, скосив на напряженно застывшую Татьяну Станиславовну покрасневшие раздраженные глаза, — Время, понимаете? Вре-мя!»

Татьяна Станиславовна, мучительно пережевывая, затараторила быстро, с сипловатой одышкой, опасливо косясь на Вадима. Однако он все равно прервал ее едва ли не на полуслове ликующим воплем и аплодисментами. «Ну а теперь, дирижерский взмах, — завершающий тост! — вновь завершал он, едва дождавшись, когда вновь заполняют бокалы. — И скажет его... — он выждал глуповато-торжественную паузу, — Анна Владимировна! Анечка, просим вас!» Анна округлила глаза и стала что-то говорить, тряся головой и разводя руками. «Аня, ты с ума сошла? — Вадик глянул на нее свирепо и умоляюще. Быстро — ну!» Он что-то забормотал, похоже, матерное, Анна страдальчески сморщилась, почему-то виновато глянула на меня, поправила по обыкновению мизинцем очки на переносице, неловко схватила бокал и заговорила высоким, дергающимся голосом что-то про целеустремленность и верность долгу, целостность природы... Хозяин ее не слушал, да и вообще никто никого не слушал. Услышав про завершение трапезы, счастливые гости возжелали распробовать, что еще не распробовано, откупорить, что не откупорено. Вадим взирал на суету с гордым презрением приближенного...

Потом мы шли обратно, тою же дорогой, только по-хмельному радужной, мимо пилорамы, мимо магазина, церкви — «На реставрацию храма деньги Виктор Михалыч дал. Истоки наши, знаете», — вдохновенно пел Вадим где-то поодаль. Все натурально были счастливы. То, как их столь незатейливо выставили вон, не удручало. Беспардонность придавала даже некоторый шарм виновнику торжества. Да уж вот, такой он у нас, Виктор Михалыч-то. «Ну сам посуди, — с жаром бубнил кому-то некий Костя, по всеобщему мнению, интеллектual и острослов, — с нами до вечера вошкаться, что ли? Говорят, мэр подъедет поздравлять. Мэр!..» Он даже засмеялся, такой дикой показалась ему ситуация: мэр приехал, а тут мы, понимаешь, сидим...

«Ну вот все и кончилось, — вполголоса говорила непонятно кому Анна. — Гос-споди, неужели все кончилось...»

«Отменная у вас супруга, Павел Валерьевич, — жарко шепнул мне подоспевший Вадим. Он непонятно когда успел хорошо нализаться. Должно быть, на кухне налили. — Просто-таки замечательная. Как хорошо сказала, а? Вы ведь слышали! А остальные что — мямлили, через пень колода. Бу-бу! А у нее — емко все, внятно. Блеск! Все ж таки потомственная интеллигенция. Это же всегда чувствуется...»

«Господи, вот все и кончилось», — как-то отрешенно продолжала бормотать под нос Анна.

«Вот же ить, молоденька какая. Неужто сама убилась-то? — бормотала, ни на кого не глядя, маленькая, темная старушка, сгорбившаяся на лавочке, у подъезда, на расползающейся от сырости газетке. — А? Вот и я говорю, мил человек, человек от роду сам себя не убивает. Не может он сам себя убить-то. Бог не велит. Бесы его убивают, бесы! Семеро их, бесов. Один бес манит, другой пугает, третий утешает, четвертый жалобит, пятый срамит, шестой задорит, седьмой в темень толкает. Один появится, так, стало быть и другие шестеро придут, они один без другого не ходят. Первый-то — голос хрипкий да тихонький, вот как хрипкий голос услышишь внутри себя, надо тотчас же к солнышку поворотиться да и сказать: «Царица наша небесная, голубочка белокрылая, оборони от нечисти бесовской и темной напасти, как от песьей пасти...»

Я не успел дослушать до конца, ощутил вдруг под ногами хлипкую качающуюся пустоту, и чтобы вовсе не провалиться туда, прислонился спиной к влажному корявому стволу дерева. Стало вдруг удивительно спокойно и тихо, и чтобы не спугнуть эту тишину, я прикрыл глаза.

— Пашка, да ты что! — Я с неудовольствием почувствовал, что кто-то крепко встряхнул за плечо. — Открыл глаза и увидел перед собой Колю Шатунова, тот стоял, широко расставив ноги, глядя в глаза с недоумением и опаской.

— Э, да ты... — протянул Шатунов, увидев, как я крепко зажмурился и встряхнул головой, сгоняя с себя оцепенение и глухой шум в голове. — Да ты вмазал, что ли? А? Пока не нужно бы, Паша. Давай, я попрошу, чтоб чайку, что ли, тебе. Бабы сейчас живо соорудят.

— Да ты что, какой тебе вмазал! — яростно зашипела Галина, его жена. — Тебе бы только вмазать! Не видишь — плохо человеку.

Но я уже сориентировался, неопределенно улыбнувшись, с усилием оттолкнулся спиной от дерева, отвел кого-то рукой и отошел. Кажется, лишь немного качнуло. Да ветка сухо цапнула по лицу.

Траурный митинг между тем подходил к концу. Тишина была густая и грузная. «Анюточка наша, ненаглядная ты наша», — надрывно заворковал какой-то потерявшийся женский голосок. И тотчас пропал. Попытался разглядеть, кто это говорил, да так и не смог.

«Так, ну айда, грузим», — коротко скомандовал кто-то, опять же, кажется, Вадим.

«Господи, вот все и кончилось», — вспомнилось вдруг.

Потом я долго не мог собраться с мыслями. Происходящее ускользало от меня, просачивалось, как вода сквозь пальцы. С ужасом подумалось вдруг: «неужели мне все равно? Наверное, все смотрят на меня и думают: то ли он абсолютно равнодушен, то ли уже спятил...» И действительно, постоянно приковывали внимание какие-то пустяки. Чья-то обвислая шляпа. Татуировка на чьем-то запястье — рука, держащая факел, и что на этом факеле написано. Так и не успел прочесть...

Откуда-то, словно из промозглого тумана, сама собою возникла уродливая тележка, сваренная из прутьев, вероятно, какой-нибудь благополучно забытой могилы. С тяжким стуком на нее положили гроб. Разом, с нарочитым уханьем впряглись сразу несколько мужчин. Тележка с пронзительным скрипом покатила по заваленной листовным мусором аллейке. Я тоже тянул ее за холодный, мокрый поручень, потом вдруг убедился, что она катится и без меня, отошел в сторону.

Процессия замерла близ выросшей из-под земли горы глины. Глина была какая-то обесцвеченная, мертвая, еще более мерзкая из-за вновь начавшегося мелкого, липкого дождя.

Все дружно обступили черную прямоугольную дыру в глине. «Теперь все придется опять начинать сначала...» Не сразу понял, что это ко мне. Что начинать сначала, простите? Ах да, жизнь! Кивнул. Почти сразу узнал его. Это был полный, рослый человек с inferнальной остроконечной бородкой. У него было смешное прозвище «Батишкаф». Мокрый берет темно-синей кляксой растекся по голове. Почему-то нестерпимо захотелось сказать ему что-нибудь грубое. Ладно, сдержался, было бы неловко. Да нет, начать, оно, конечно, можно. Как вот только? Что у вас еще в запаснике? Что жизнь полосата, как зебра? Вот! Как же я забыл! То есть, значит, у меня сейчас как бы черная полоса. А потом она как-то (как?!!) перетечет в белую. В ослепительно, стерильно белую! И как же там, в этой начатой сначала белоснежной жизни уместится Анна и эта аккуратная прямоугольная дыра в глине, и бурые пятна крови на свитере? И вообще, та, предыдущая «белая» жизнь, с Анной? Как?! Не будет ничего? Амнезия? Деликатная форма идиотизма.

Тогда, двадцать один год назад, я нашел свою иголку в стоге сена. То был случайный всплеск в зыбкой ряби времени. И теперь суждено мне продолжать жить в мире, и не будет в этом мире ничего, что не было бы связано с Анной. Этот мир должен был бы исчезнуть вместе с ней, но почему-то не исчез, продолжает существовать огромным, зияющим кубом пустоты, зеркалом, в котором не отражается *ничего*. Мир будет продолжаться, как миражный свет исчезнувших, угасших, истлевших звезд...

«Прощаемся, — солидно и скорбно скомандовал Батишкаф. — Сначала родственники».

Я как-то неловко, перепачкав колени в этом бледно-рыжем месиве, взял в руки расплзающуюся, кисельную горсть и бросил в черный провал. Глухой, утробный отзвук заставил вздрогнуть. Почему-то подумалось: а как это слышится изнутри? От этой мысли резко качнуло в сторону. Пришлось схватиться за ограду чужой могилы.

Кто-то, оказалось, Колька Шатунов, цепко схватил меня за локоть, куда-то повел, усадил на какую-то скамейку.

«Т-ты чего улыбаешься? — строго и почему-то заикаясь, спросил он. — Ты мне это брось!»

Разве я улыбаюсь? Быть не может. Нет, в самом деле улыбаюсь.

«А ты почему заикаешься, Шатунов-Кривошипов? Ты ж не заикался. Или заикался?»

«Т-ты это брось, — повторил он и тотчас осекся. — Ч-черт, в самом деле заикаюсь. Ладно. На-ка по-быстрому!»

Он сунул мне прямо в зубы горлышко плоской чекушки.

«Вали из горла, так целебней». Я послушно кивнул, взял чекушку, как дитя соску, и сделал три-четыре глубоких и шумных глотка. И тут же, будто из-под земли, выросла Галина.

«Ты чего вытворяешь, — яростно зашипела она на мужа, — совсем уже башку потерял! Людей постыдись».

«Галь, не лезла бы, а? — Шатунов смерил супругу презрительным взглядом. — Нужно ему сейчас. Неужто понять не можешь. Иди-ка вообще отсюда. Дома поговорим».

Галина неожиданно замолчала, как-то жалко кивнула, затем вдруг присела на корточки, шумно всхлипнула, погладила меня по щеке и отошла в сторону и отвернулась. Плечи ее затряслись.

«Посиди пока здесь. Там без нас справятся. Я с кладбищенскими все уладил. На-ка еще...»

После похорон на трех автобусах все поехали в «Кассиопею», стеклобетонное сооружение, бывший Дом политпроса. В Зале торжеств, именно так помещение называлось, были уже с соответствующей строгостью накрыты столы...

Помянули стоя, помянули сидя. Вездесущий Вадим, вдруг оборвав чеканный поминальный тост, заговорил задыхающимся ямбом: «Прощай наш друг, тебя мы не забудем. Твое тепло согреет нас, любя. И мы всегда себя сурово судим, что не смогли мы сохранить тебя». Это произвело впечатление. Кто-то растроганно высморкался.

Когда поминки вошли в конечную стадию, то есть когда неотвратимо и тяжеломерно возобладало пьяное оживление, когда люди перестали считать себя обязанными сохранять скорбное выражение лица, и лишь ненадолго натягивали его на лица при упоминании Анны, я осторожно подошел к Регине и сказал, что уйду. Регина поначалу не поняла, она уже давно вполголоса говорила с каким-то совершенно незнакомым человеком, который, увидев меня, глянул исподлобья и замолчал.

— То есть как? — Регина округлила глаза. — Погоди, нехорошо как-то получится. Ты посиди еще. Ну чуть-чуть. Разойдутся они скоро. Вон мужики уже кучковаться начали, соображают. Господи, жизнь продолжается... Паша, нельзя уходить сейчас. Я все понимаю, но...

— Ну... Ну скажи, мол, плохо ему стало.

— Да плюнь три раза, Паш, — Регина махнула рукой. — А, ладно, иди. Я что-нибудь придумаю. Только ты домой иди, ладно? Если хочешь, я заеду сегодня вечером. Не надо? Ну в другой раз. Ты, Паша, не пропадай, пожалуйста, а? Нельзя тебе сейчас пропадать.

Я кивнул и вышел. Шел быстро, даже как-то чеканно, словно было куда торопиться. Так и прошагал без единой мысли в голове несколько кварталов. Автобусную остановку проскочил, возвращаться назад не хотелось. Вот и помянули Анну Владимировну! Я вспомнил, что за все время поминок так ни разу не подумал о ней. Словно она была где-то неподалеку, а все происходящее с нею никак напрямую не связано... И тогда я неожиданно для себя решил, что сейчас, когда никого нет, когда он свободен от всех этих обрядов, и впрямь можно было бы и помянуть.

Когда-то давно здесь было детское кафе под названием «Веселый Чипполино». Сюда в школьные каникулы строем водили детей, кормили примерно тем же, чем в школьных столовых, только под истошные звуки детских песенок из динамиков. Столь же истошно кричали попугаи, но не те, тощие, светло-зеленые и печальные, что сидели в клетках, а опять же из динамиков. На стенах были грубо намалеваны изображения веселого луковичного человечка в компании с неизбывными Чебурашками и Крокодилами. Когда времена детских кафе канули, его пробовали переоборудовать. Арендатор его

местный Союз художников. Мыслилось переделать заведение в этакий уголок старой Италии с душераздирающими аккордеонами, пиццей, кислыми винами и Тото Кутуньо. Кое-что успели сделать, но на кафе уже положило глаз какое-то непонятное спортивное общество, художников быстро и невежливо выставили прочь. Кафе заполнилось коренастыми парнями с плоскими глазами и неторопливо-утробными разговорами. Потом сгнули и они, кафе стало приходить в упадок, псевдофлорентийская мишура давно облезла, и на стенах вновь стали бледно проглядывать опостылевшие чебурашки.

Взял полграфинчика водки, два бутерброда, стакан сока. Народу мало, время рабочее. Не торопясь налил в пластиковую одноразовую рюмочку, не торопясь, основательно поднял. «Ну что же, — сказал я сам себе вслух, правда, глухо, еле слышно и низко опустив голову, — вот мы и попрощались, Анечка. Да. Пусть те люди, чужие, ненужные, сидят там, в зале торжеств. Пусть себе. А мы уж тут с тобой одни...»

И вновь потекли слова, какие-то деревянные, сучковатые, чужие, они выползали помимо воли, образовывали некое дурное нагромождение, столь же фальшивое, как и то, что в зале торжеств. Бред продолжался, ничего изменить нельзя. Одиночество — не панацея. Я зло встряхнул головой и, заранее напряженно сморщившись, выпил. Замер, словно прислушиваясь. Взял бутерброд, но как-то неловко, он почему-то выпал из рук, звучно шлепнулся на пол. За соседним столиком кто-то обернулся с живым интересом. Я жалко, курьезно улыбнулся. Это показалось уже из рук вон диким и обидным. Внезапно почувствовал, что сейчас, именно сейчас заплачу, что все эти три дня, все эти хлопоты, справки, протоколы, встречи, сырая эта глина, этот зал торжеств сейчас, сию же минуту нагрянут разом и задавят меня всей тяжестью. Я раскрыл рот, широко вытаращил глаза, как делал в детстве, чтоб не заплакать.

Отпустило. Зря сюда зашел. Да еще взял так много. Уйти, что ли?..

ЧИПОЛИНО

— Простите, потревожу.

Да уж потревожил. Вот только тебя тут не доставало. Только тебя.

— Вы меня, наверное, не узнали...

Да нет, отчего же, узнал. Был на поминках. Тот самый, что беседовал с Региной. Воронин даже подумал, что это очередной ее ухажер. В ее вкусе. Однако сел с самого начала не рядом с ней, а где-то у выхода. Да и говорила она с ним как-то не по-свойски, нервно. Коротко стриженный нордический блондин. Лицо, как говорят, волевое. Правда, уши торчком и все время красные. Где-то они, как будто, и раньше встречались...

— Узнал. Однако, знаете, я сейчас не расположен...

— Понимаю. И я не расположен. Позвольте, однако, представиться. Чепик Анатолий Никитич, бывший... Бывший муж Анны. Вы наверняка обо мне слышали.

А, вон как. Однако, увы, почти и не слышал. Даже фамилию. Анна тогда фамилию не меняла. Чепик. Она ни в какую не желала о нем говорить. Так и сказала: этих двух лет не было. Где-то случайно, пару раз — Толя. А кто Толя, что Толя — ни слова. Да он и не настаивал. Так оно лучше. Прошное должно быть в прошлом. И уж коли тогда он о нем ничего знать не хотел, то уж сейчас-то тем более.

— Вы что же, вышли сразу вслед за мной, да?

Прозвучало резковато. Однако разговор этот все равно надо заканчивать. Не ко времени. Да и не будет никогда ко времени.

— Почти.

— И зачем?

— Хотелось поговорить.

— Говорите, только короче.

— Может, вначале помянем?

— Спасибо, я уже.

— Как угодно. Тогда... может, покурим? Выйдем на улицу. Пойдем.

Это «пойдем» было коротким, властным и окончательным. Чепик двинулся к выходу, не оборачиваясь, в полной уверенности, что Воронин идет за ним. Пожав плечами, он двинулся следом, успев заметить притаившийся цепкий взгляд синюшного выпивохи за соседним столиком, явно заинтересовавшегося доброй, недопитой склянкой.

Чепик шел все так же спокойно, не оборачиваясь. Как-то уж очень спокойно. Так спокойно ведут себя люди, на что-то решившиеся. Прошел метров десять, замер у низенькой лавочки рядом с табачным киоском и как-то деревянно присел. «Угощайтесь». Сигареты — не успел заметить, какие. Видно, что дорогие. Да он вообще упакован что надо. Скромненько и дорого, без сальной позолоты. Закурил. Забытый запах на миг отбросил его назад, в прошлое. Всего лишь на миг. Он перевел дух, хотел этак солидно произнести, мол, я вас слушаю. Но не успел.

— Я не надолго. Просто пару вопросов. Даже и не пару. Даже просто один, — Чепик говорил медленно, нервно перебирая в руках так и не раскуренную сигарету. — Так вот: отчего умерла Анна?

Вот тогда Воронин и понял, что именно этот вопрос, который колючим воплем рвался наружу в ту ночь, в больничном коридоре и который потом застыл в нем корявой ледяною фигуркой, злым. Именно он сидел в нем, глухо, неуклюже ворочался и требовал разрешения, превращая в бессмыслицу и ложь все прочее, связанное с Анной.

— Она... Вы разве не знаете? Мне даже странно...

— Странно. Ты что, — он вдруг резко и яростно перешел на «ты», — в самом деле поверил, что Анька могла? Вот так — на подоконник, открыть окошко и — фюить! — Чепик описал пальцем плавную дугу, сунул сигарету в рот и снова вытащил.

— Трудно, — выдавил из себя Воронин, не зная, куда девать руки, — трудно в это поверить.

— Ну ладно хоть так, — Чепик зло усмехнулся, наконец закурил и шумно, словно захлебываясь, затянулся. — Теперь слушай. Я ведь сюда приехал не на похороны. Даже наоборот. Мне Анька позвонила недели две назад. Отыскала через Регину. Анька сказала: приезжай, пожалуйста, срочно, нужна помощь. Вот так сказала. Это при том, как мы с ней расстались. А расстались мы с ней — хуже не придумаешь, вот как мы с ней расстались. Анька такой человек: если говорит кому: ненавижу, значит ненавидит! Да еще в глаза глядит так, что — не дай бог. И год пройдет, и десять, — ничего не изменится. И уж если потом она говорит: приезжай, нужна помощь, значит, дела такие, что — все, хуже не бывает. Вот так.

Чепик далеко отщелкнул окурок, и тут же полез снова за сигаретой.

— Ну я приехал. Встретились опять же у Регины... Она, Анька... ну совершенно не изменилась, ну просто совсем... Двенадцать лет почти, а она... — Чепик усмехнулся и махнул рукой, рассеивая дым. — Говорили вдвоем, на кухне, она даже воду пустила из крана, чудачка. В кино, наверное, где-то увидела. Из того, что я понял: что-то у нее приключилось с боссом. То ли услышала что-то лишнее (ну совсем лишнее, бывает, знаешь, такое лишнее, что лучше самому себе уши отрезать, чем услышать), то ли влезла во что-то по дурасти... Ну не знаю, не сказала.

— Погодите, с каким боссом? С Олегом Эдуардовичем?..

— Да каким Эдуардовичем! — Чепик презрительно сплюнул. — Какой босс! Манда с ушами, вот он кто. Босс у них совсем другой. Слышал, наверное, про Гурьянова Виктора Михайловича? Вот он у них и есть натуральный босс. Такой я Аньку сроду не видел. Трясло ее всю. Не столько за себя, говорит, боюсь, сколько за... ну, в общем, за тебя, родной.

Чепик искоса глянул на Воронина и зло по-волчьи ощерился.

— Слушаешь дальше? Ну, поначалу дело мне трудным-то не показалось. Навел справки. Есть у меня каналы кой-какие. Гурьянов этот, кличут его «Бурьян», тоже не большая шишка. А в смысле авторитета — вообще нуль. У него судимость-то одна, и то, вроде, условно. Гондон штопаный. Все эти «джипы» коттеджи-маттеджи, — все больше с чужого плеча. Дали поносить, он и рад, дурак. В общем, устроили нам встречу. Уж по одному тому, как быстро ее устроили, было видно, что Бурьян — пустышка, замухрай. Пришел он не один, с телохранителем, Фаиком Мусакаевым. Этот Мусакаев, балкарец, тип — еще из тех. В Афгане повоевал, после в Чечне, только уж с другой стороны. В Чечне, однако, сильно не задержался, получил пулю в бедро и разлюбил дикую свободу.

Нормальная была встреча, я о себе порассказал, кто таков, что делаю, с кем здоровкаюсь. Потом с просьбишкой: жена, говорю, бывшая, хорошая баба, но дура, как все бабы. Старая любовь не ржавеет, пятое-десятое. Отпускаете ее с миром, а уж после увезу ее я в тундру, к оленям, и не услышите вы о ней больше ни слова. Они переглядываются. После Фаик отошел. Посоветоваться. Вернулся, шепнул что-то на ухо Бурьяну. Тот кивнул и говорит: «В общем так: пусть баба твоя сегодня мне позвонит на сотовый и ставит свечку». По рукам да и разошлись. Потом еще в кабаке посидели вчетвером. «Акапулько». Они, я и Анна. Даже шутки шутили, рюмочками чокались. Отлегло. А на следующий день мне с утра Регинка звонит. Анька, говорит, убилась. Я сперва не поверил. Собрался к Бурьяну ехать, а он сам ко мне. То есть, не он, а Фаик. Да не один, с приятелем, тоже из черных. Приятель, правда, в коридорчике стоял, дожидался. Говорил Фаик коротко без кавказских понтов. Говорит: обмана не было, тогда в самом деле, сказали: отпустить с миром. А на следующий день совсем другое — гасить. Мы, говорит, все, что могли, сделали. Я ей зла не хотел. И тебе не хочу. Мне, то есть. Потому — уезжай, говорит, отсюда, чем скорее, тем лучше. Для твоей пользы говорю. А про бабу забудь, говорит, считай молнией ее убило. Вот такой разговор. А вчера мне в номер Бурьян звонил.

Самолечно. Уже другой совсем, спокойный, борзый, как конь. А чего, говорит, ты домой не едешь, дела что ль какие? Может, шмотки долго собирать, так мы поможем. Стращат меня, хрен овечий. Я ему говорю, мне перед тобой не отчитываться, будет надо, уеду, тебя не спрошу. Он ладно, говорит, только не передержи.

— Кто же это сделал? — спросил наконец Воронин, поразившись, как деловито и просто прозвучал вопрос. — Аню — кто?

Несколько мгновений назад его вдруг начала бить крупная дрожь, он даже подумал, что это, должно быть, видно со стороны. Он принялся было зябко поводить плечами, чтобы ее как-то унять.

— Кто сделал? Да они оба и сделали. Зазвали в офис. Это сразу после «Акапулько». Мол, для разговора, мол, дело чтобы закрыть. Она их там ждала. А как Фаика увидела, все, видать, поняла, да поздно... В общем, Бурьян окно открывал, а Фаик... Теперь спроси, зачем я тебе все это говорю? А чтоб знал. Я на поминках-то сидел и смотрел. Из тех, кто там был, считай, больше половины знали, что никакой это не несчастный случай. А каждый, считай, третий знал, чьих рук дело. Зато слова-то какие! «Прощай, Анечка, спи спокойно!» Я в это дело лезть не буду, но и на молчанку не подписывался. А ты... Знаешь, лучше бы тебе уехать.

— Уехать? Вы... Ты думаешь...

— А я ничего не думаю. Думать — твоя забота. Но когда сегодня придешь домой, посмотри все внимательно. Не изменилось ли что. Если почувешь, что в доме кто-то был, делай выводы. Тут дела серьезные.

Чепик встал, неторопливо, исподлобья огляделся по сторонам.

— Пойду я. Прощай, что ли, Воронин.

Он повернулся и быстро зашагал по дорожке, ведущей к кафе, шел прямо, твердо, едва заметно ссутулившись. Воронин в немом оцепенении смотрел ему вслед, не веря, что разговор этот, внезапный, оглушающий, так вот и закончился. И действительно, Чепик остановился, постоял, словно застыв, затем резко обернулся и торопливо, будто боясь передумать, пошел обратно.

— На-ка, держи, — он хмуро протянул Воронину маленький, невесомый сверточек, — честно говоря, не хотел отдавать. Был соблазн самому прочесть.

— Это что? — Воронин почему-то испуганно отдернул руку.

— Письмо.

— Письмо? Какое еще письмо.

— От Анны.

— От... Анны?! — Воронин беспомощно затряс головой. — Ты...

— Письмо от Анны! — Чепик повторил раздраженно, как урок для ученика-тугодума. — Анна мне его дала... в тот самый день. Сказала: если что со мной случится, отдашь Павлу. Только не сразу. Пусть немного времени пройдет. Все обойдется, вернешь мне или выбросишь. Так она сказала. Ну вот, теперь все. Давай, прощай, Павел Валерьевич.

Пашенька, дорогой. Если ты читаешь это, значит это случилось. Знай, Паша, я сама во всем виновата. Господи, как тяжело писать, сидя живой и здоровой, и знать, что когда это прочтут, меня не будет. Ну вот просто не будет и все, как будто я и не рождалась вовсе, и все, что было, — было без меня. Все останется на месте, а меня — нет.

Ну вот, перечитала, хотела порвать, потому что я совсем иначе хотела, а после передумала — если порву, вообще ничего не напишу.

Паша, пообещай мне, то есть теперь уже не мне, а той, кого ты помнишь, что не будешь пытаться выяснить, что со мной случилось. Пройдет время, и не очень много, я думаю, все узнается. Ты узнаешь, наверное, больше, чем я знаю сейчас сама. Это правда, я сейчас в какой-то тьме, и не знаю, что происходит, знаю, что нечто страшное. Тебе сейчас очень тяжело, больно, но именно поэтому, ради меня, пообещай.

Еще раз повторю: я во всем виновата сама. Я хотела как-то поправить эту жизнь, а сделала то, чего не нужно было делать ни в коем случае. Ты скажешь, что в нашей жизни и так все было нормально. Да, все было нормально, и мы были, — помнишь, кто-то сказал, — образцовой парой, и это была почти правда. Почти. И все же мне хотелось что-то поправить. Мы с тобой совсем разные люди, ты так и не узнал, до какой степени мы разные люди. Я и сама это недавно поняла. Поэтому тебе будет трудно это понять, но попробуй.

Что у нас было впереди? Заново отстроенная дачная каморка, подержанная малолитражка, поездка в какую-нибудь Турцию, серебряная свадьба, золотая свадьба и тихое угасание? Я пишу какие-то гадкие вещи, но что делать. Детей у нас с тобой не было, и в этом виновата я, ты даже не представляешь, как виновата. Знаешь, мне было иногда просто жутко, выть хотелось, как жутко.

Да я и выла иногда. Ты, кстати, даже не заметил, что я последнее время попивала. Или заметил?

*Наверное, тебе трудно понять этот кошмар, когда едва совершеннолетние девчонки, которые еще год назад взирали на тебя с застенчивым обожанием, сегодня смотрят с брезгливым участием и едва здороваются. Те, кому по разным причинам, все равно по каким, — удалось. Я устала, Паша, от гордого презрения, я устала твердить себе и другим, что они лишь удачливые шлюшки, что если бы я захотела... Ты мог на все это смотреть спокойно, философски, а я — нет. Я хуже тебя, я тщеславна и глупа, я очень долго ждала, когда все как-то устроится само собой, меня, конечно, заметят, оценят, я наконец заполучу должное. Пару раз мне казалось: ну вот, еще чуть-чуть и — ничего, все оказывалось жалким миражом. Пока не поняла наконец: нет, ничего **не будет**. Никогда. Столько времени было потеряно. Поэтому я не колебалась, когда мне представилась возможность сделать одно очень опасное дело. То есть, колебалась, конечно. Трусила отчаянно, но в самой глубине души знала точно: я соглашусь. Все могло быть удачно. Так мне казалось. Но не вышло. Вина я одна. Получается, что так. Паша, я умоляю, прими все как есть. Ты ничего не сможешь изменить. Пообещай, что не станешь мне перечить. Хватит того, что я сделала тебя несчастным, причинила тебе боль. Прости меня, Паша.*

Твоя Анна.

ПУСТОТА

В доме обосновалась пустота. Капающая, тикающая, поскрипывающая, гулкая, отдающаяся глухими, точно отголоски бреда, соседскими голосами, хлопаньем дверей, урчанием лифта за стеной. Она принимала очертания предметов, имитировала вещи, звуки, тени. Она была коварна, таилась и до поры никак себя не проявляла. Лишь телефонные звонки, случайно найденные вещи оповещали о ее существовании, о том, что она здесь и никуда не денется. Да и дома уже не было, был лишь неживой куб пространства, сохранивший внутри себя лишь набор предметов и неистребимый дух жилья.

Соседи на лестничной площадке поглядывали на меня с опасливым участием, и — я чувствовал — оборачивались вслед. Заходить перестали вовсе. Сослуживцы, когда я входил, замолкали и принимались переглядываться. Начальник, начиная разговор, откашливался и, говоря, глядел в сторону. Вокруг заколыхалось поле суеверного отчуждения.

Я даже самого себя перестал ощущать в полной мере. Словно какая-то большая моя часть отделилась и исчезла бог весть куда, а здесь осталась лишь бледная, поверхностная оболочка, голос, походка привычки.

Поначалу я боялся засыпать, боялся этих ритуальных погружений в слоистый мир мыслей-уродцев, отстойной сыворотки памяти. Однако Анна не приходила в сны, лишь витала около, прозрачною тенью. Однажды, впрочем, пришла. Я ее будто чем-то обидел. Не сильно, а так, мимолетно, почти шутивно, но она почему-то, как ребенок, не хотела выпускать из себя эту самую обиду. А я все ждал, когда она пройдет, понимая с одной стороны, что Анна никогда подолгу не сердилась, а с другой стороны осознавая, что блеклый промельк сна вот-вот завершится прогорклым чадом пробужденья, и все исчезнет.

Порой мне казалось, что было бы, наверное, легче, если бы я впал в отчаяние, в остервенелую, запойную тоску с ее проклятьями, бессвязными монологами и обидой на весь свет. Из всего этого был бы со временем какой-то выход. Было иное — стоеросовое, пугающее равнодушие. И я не знал, чем это завершится. Я не боялся памяти, не закрыл ее двери на засов, я, к примеру, порой подолгу рассматривал разбухший семейный альбом, перебирал ее вещи, вдыхал запах, но не ощущал боли, хотя хотел ощутить. Было лишь глухое, отдаленное колыхание чего-то невыносимо сдавленного, и я понимал, что когда-то эта тонкая оболочка прорвется, и вот тогда все это вспухнет и выплеснется наружу...

Незыблемая устойчивость мира вокруг меня пугала и настораживала. Сам я не изменился ни в чем, у меня остались те же привычки, я исправно ходил на работу, со временем сослуживцы перестали относиться ко мне по-особенному. Я четко, даже четче, чем ранее, выполнял обязанности, выходил на перекур, слушал анекдоты, хотя не всегда их понимал.

У меня был нормальный сон, нормальный аппетит. Именно так, как писала Анна: «Все останется на месте, а меня — нет».

Как-то позвонила Алина, бывшая сослуживица, с которой меня связывала некогда этакая полудружба с деликатным ухаживанием, прогулками в обеденный перерыв, мимолетными касаниями и шутивно-капризной ревностью. После соблезнований, сочувственного всхлипа она осторожно предложила съездить за грибами. «Будет небольшая компания, — сказала она, точно оправдываясь. — Может быть тебе это нужно...» — «Нет, мне не нужно», — ответил я по возможности мягко. Но вышло

грубо. Алина растерянно забормотала и повесила трубку. Наверное, заплакала. Она всегда жалко, заторможенно улыбалась, прежде чем заплакать. Хотел позвонить и как-то все закруглить, но подумал, что едва ли теперь отыщу телефон, да и ни к чему это, ибо Алина была в сущности, тою же частичкой прошлого, то есть тою же пустотой. Да и что это была б за поездка. Грибы я собирать никогда не умел и не любил. «Небольшая компания» пребывала бы в напряженном столбняке, переглядывались бы да перешептывались. Пожалуй, увольте.

Однажды я решил: у меня теперь два пути в жизни — или каким-то непостижимым пока образом выжечь все из памяти, как-то заново родиться, начать сначала, или же выяснить все, что случилось с Аней до конца. Жить дальше с этим зияющим сгустком пустоты внутри было немисливо. Я решил, я даже утвердился в этом, однако вскоре незаметно перестал об этом думать. Неопределенность конечного срока превращали намерение в благую догму.

Анна была, как оказалось, главной составной частью некоей многослойной, но в сущности простой системы счастья и покоя, которая была всегда незримо со мной как некий прозрачный купол, даже если я порой подолгу бывал вне дома.

Она была сметена, выброшена из жизни некоей силой. И какая-то, тоже чужая, увещевающе циничная логика мягко предполагала принять все это как злополучное стечение обстоятельств, и даже, если угодно, некое предначертание судьбы. К этому же мягко и бессловесно призывали окружающие — родственники, друзья, сослуживцы. Анну забыли, ибо ее надлежало забыть. Забыли как живого человека, продолжая, почтительно помнить как некий неживой обелиск. Забыли печально, но послушно и беспрекословно. И мир существовал без нее уверенно и комфортно. Круги разошлись, водная гладь успокоилась.

Ее место в приемной заняла пучеглазая блондинка с розово парафиновым лицом и неприятно резким голосом, которая очень быстро все там расставила по-своему. Я пришел тогда к управляющему банком, художавому, подвижному человечку с уродливой фамилией Горпин, за некоей причитающейся символической суммой. Начал и сбивчиво втолковывать ей, кто я и зачем (меня почему-то всегда приводили в замешательство такие вот монументальные девы из приемных), но девица прервала мой унизительно спотыкающийся монолог нетерпеливым жестом.

«Проходите, Олег Эдуардович как раз сейчас свободен». Пронзительно прочиркала и махнула рукой, не отрываясь от пиликающей, переливающейся разноцветными кубиками компьютерной игрушки.

Горпин протянул мне вялую, влажную руку, пробормотал, в какой кабинет надлежит мне зайти, какие бланки заполнить, какие справки представить... Глядел в сторону, глаза были какие-то затравленные, точно разговор был для него непереносим. «Мне очень жаль», — проникновенно, с усилием промолвил он под конец.

«Что?! Что именно вам — жаль?!» — я вдруг не выдержал.

Горпин вдруг отпрянул, глаза его округлились от непонятного страха, он стал в чем-то меня убеждать, прижав руки к сердцу. Я смущенно буркнул извинения и торопливо вышел, не попрощавшись.

«Паша, тебе необходимо развлечься. Нет, не в прямом смысле, конечно. Может, ты отпуск возьмешь? Тебе есть куда съездить? Ты все это в себе запер, и теперь оно из тебя не может выйти. А надо, чтоб вышло, понимаешь? Хоть так, хоть эдак. Иначе — плохо».

Так сказала Регина, когда я провожал ее до стоянки. Я зашел тогда к ней, но столкнулся в подъезде — она куда-то срочно убегала.

«Я серьезно говорю, — Регина строго глянула на меня, как на больного ребенка, — съездить тебе нужно куда-нибудь. Ну хоть куда, ну хоть на даче пожить. Ты мне совсем не нравишься. После поминок сразу уезжай. С поминками я тебе помогу, да и все помогут».

«Каких поминок?» — я даже удивился.

«Паша, да ты что! — Регина даже остановилась. — Сорок дней же скоро. Анечке-то».

«А, ну да, — я смущенно кивнул. — Только знаешь... Ты меня правильно пойми. Не будет никаких поминок. Вот просто не будет и все».

«То есть... Ты серьезно?»

«А ты как думаешь?»

«Ну да, конечно... Ну почему, Паша? Что случилось-то?»

«Ничего не случилось. Просто я так решил. Давно уже».

На самом деле решил-то я только что. Вдруг понял, что больше это порционное блюдо ритуальной памяти не вынесу.

«Зря ты это, по-моему. Если в смысле денег — так поможем, я же сказала. Все помогут».

«Кто это — все? Виктор Михайлович Гурьянов тоже поможет?»

Я выкрикнул это внезапно для самого себя, с какой-то фальцетной петушиной закавыкой в конце. Без особого даже возбуждения, просто от шальной, мимолетно зацепившей злости. Зато Регину будто подменили, из снисходительно участливого друга семьи она в мгновение ока преобразилась в перепуганного, не знающего, куда деваться подростка. Съежилась, быстро, отстраненно огляделась по сторонам.

«Ты чего скукожилась! — я зло усмехнулся. Случайная, непреднамеренная злость продолжала колобродить. — Шучу, я, глупая. А вы чего вообще боитесь-то все? Что вы все коситесь, переглядываетесь? Никто ж вас не винит ни в чем. Ясно же сказано — несчастный случай. Это официально. Неофициально — суицид. Красивое какое слово, а? Ты только вслушайся, как звучит — *су-и-цид*! Как китайский философ. В моей смерти прошу никого не винить. Такое случается у людей с неустойчивой психикой. Ведь так?!»

Регина успокоилась, взяла меня за локоть и отвела в сторону.

— Паша, ты не выпил? Нет? Напрасно. Тебе лучше выпить. Но слегка и — дома. Еще раз говорю: тебе надо уехать. Я знаю, что говорю.

— Знаешь! Ты вообще много знаешь. Верно? А улыбаюсь потому, что мне об этом, про то, что уехать, — уже говорили. Угадай, кто?

— Угадывать я ничего не буду.

— Ну и ладно. Кстати, хотел спросить. Регин, ты в ту ночь — ну помнишь, когда я тебе позвонил по поводу Анны говорила про какое-то кафе. Не помнишь, что за кафе?

— Да откуда мне знать, — Регина вновь нервно обернулась.

— Случайно не «Акапулько»? Что это вообще за кафе такое?

— Я не знаю, — Регина глянула на меня уже с откровенной опаской. — То есть, я слышала про такое кафе. Страшно дорогое. Латиноамериканская кухня. Музыка тоже. Всякие бесамемучо...

— Так это там было?

— Может, и там, — она нахмурилась. — А что?

— Да ничего, — я махнул рукой. — Пойду я, пожалуй.

— Паша, — Регина схватила меня за локоть. — Ты все-таки уезжай, а? Ну возьми отпуск, то да се. Недели на три. Но перед этим зайди ко мне. Обязательно. Не здесь же, в самом деле, отношения выяснять. Да еще так, на истерике. И запомни хорошенько: я тебе — не враг. Что бы ты обо мне ни думал. И не дури, я тебя умоляю — не дури. Все очень серьезно. Давай, Паша, иди домой. Поминки — твое дело, может, ты и прав, не нужно сейчас ничего. Подойдет время — помянем. Как положено. А ко мне зайди обязательно. Позвони только сначала. Давай».

Она неожиданно чмокнула меня в щеку, привычно смахнула ладонью помадный след и проворно поднырнула под пестрый шлагбаум автостоянки. Пробежав несколько шагов обернулась и, увидев, что я стою неподвижно и гляжу ей вслед, ободряюще кивнула и с непонятной кокетливостью махнула рукой.

Я запоздало кивнул ее удаляющейся спине. Стало почему-то спокойнее. И так, она все знает. Не все конечно, но много больше, чем я. Ну да, там, в кафе она о чем-то шепталась с этим Чепиком. Она сказала: «Все очень серьезно». Да кто бы сомневался. Она сказала: «Я тебе не враг». Не враг. А где вы видели врагов? Врагов вообще не существует. Просто каждый делает свое дело по своему разумению и по обстоятельствам. Она сказала: «Что бы ты обо мне ни думал». А я пока еще ничего и не думаю. Она сказала: «Обязательно зайди». А вот это — всенепременно, Регина Вячеславовна. Я ведь не выживший из ума паралитик, чтоб кто-то мог решать, что мне должно знать, что не должно.

Однако сперва — вы, господин Гурьянов, отец наш, кормилец. Нам найдется о чем поговорить и с вами, Фаик, стрелок баксанский. Вам это покажется смешным, но я желаю непременно знать правду. И вы мне ее скажете. Вам придется понять, что мир не карточная колода, где каждой масти дадено свое место. Вам придется усвоить, что случайностей в мире куда больше, нежели закономерностей, а незаметное — далеко не всегда незначительное. Избравшим ночь не следует удивляться мраку.

И чем более дикой, несуразной казалась мне эта мысль, тем более я убеждался, что именно так оно и должно быть. И никак иначе. Из задыхающегося внутреннего вопля мысль день ото дня становилась расчетливой, разветвленной идеей.

Я — один, и это не слабость, а преимущество. Одиночество превращает в невидимку. Я жалок и незначителен, и это не слабость, а преимущество, ибо дает отличное поле для маневра. И главное — я

легко, как травинка, потому что все потерял и мне уже нечем жертвовать в этой жизни. Если не получится короткой войны, я готов к длительной. Мне это не в тягость, потому что легче обрести опору в пустоте, чем среди неустойчивых предметов. И я не проиграю, потому что проиграть возможно, лишь совершив грубые ошибки, то есть когда сила вновь станет слабостью. А я не позволю себе их совершить. Я приду в дом врага как горемычный, наполовину выживший из ума, спившийся вдовец, и если пойму звериным чутьем, что нынче не время, раскланяюсь и уйду, пятась и прижимая шляпу к груди, чтоб в точности так же прийти завтра.

Я нелеп и смешон, и это не слабость, а преимущество. Под шутовским колпаком спрятать нож сподручней, чем в голенище сапога.

Самый жестокий бунт начинается с покорных стенаний. Тень Анны не сможет меня осудить, ибо я это делаю не ради нее, а ради себя. И я готов по полной ответить за то, что сделаю.

Самое сильное оружие — это когда тебя считают безоружным.

А оружие...

И тогда я вспомнил про пистолет.

Его принес года полтора назад Коля Шатунов. Принес в период нового жизненного виража. И впрямь жизнь Колькина тогда, в который раз уже, всю трещала по швам: его жена, Галина, возымела мысль в очередной раз порвать с ним раз и навсегда. «Метаморфоз у нее, — сказал тогда Шатунов и залился злым смехом, — Как у бабочки-капустницы».

Галина действительно меняла оболочку вместе с содержимым. И не в первый раз. Вначале из симпатичной, глазастой и бестолковой нескладехи она переросла в слезливо-жеманную инженю с неподвижным кукольным взглядом, трогательной навязчивостью и вопросами типа «о чем ты сейчас думаешь?» или «что было бы, если б ты меня не встретил?». Отвертеться было невозможно, надлежало давать немедленные и обстоятельные ответы, поклявшись, что говоришь истинную правду. В компаниях она гневным взглядом провожала каждую выпиваемую Колей рюмку. И хотя количество рюмок от этого не уменьшалось, настроение падало у всех, в том числе у окружающих. А затем — незаметно превратилась в близорукую толстушку с мелкими фабричными кудряшками и всеминутной готовностью к душераздирающей истерике. От нее почему-то постоянно пахло прелыми цветами, в дамском обществе она слыла умницей, ибо ежедневно и основательно читала газеты, причем прочитанному непоколебимо верила и запоминала надолго.

Первопричина кризиса, как выяснилось, была проста. На воскресенье Шатунов припас по обыкновению поллитровку, дабы на протяжении дня тешить себя щадящими дозами. Галина боезапас обнаружила и перепрятала. Обнаружив с утра пропажу, Шатунов утратил душевное равновесие и поначалу решил потихоньку сыскать ее собственными силами, затем с негодованием обратился к супруге. Та поотнекивалась, а затем с раздраженным воплем «да залейся ты!» бросила вожделенный сверток мужу в расчете на то, что тот поймает. Колька и рад бы, да оплошал, бутылка упала на пол с рванувшим душу звоном. В довершение Галина, поняв, что скандал неминуем, собралась и со словами: «вытирай сам свою сивуху» ушла из дома к матери.

В тот день Колька был подавлен, лицо у него было бледно-серое от небритья и злоупотребления, раннюю лысину косо прикрывала неопрятная, кудлатая прядь. Поначалу он впал в чернуху, говорил, что у Галки на стороне какой-то мальчонка-малолетка, и что он обоим повыдергивает ноги. Затем признал, что насчет мальчонки он, возможно, и ошибается, но то, что Галка — стерва, каких поискать, — это общеизвестно. Затем стал шумно радоваться предстоящей свободе. «Представляешь, Паша, утром встал, а Галки нет! Это ж какой кайф неопиcуемый, водки не нужно!» Затем принялся неуклюже передразнивать голос, манеры и походку супруги. Получалось забавно. А затем вновь помрачнел и, убедившись, что Анна, утомленная пантомимой, вышла из кухни, вдруг со зловещим стуком выложил на стол пистолет.

«Это что еще?» — я встревожился.

«А то не видишь, — Шатунов приосанился. — Пистолет, это, товарищ Воронин. «Вальтер-ПП». «Полицайпистоле» по-ихнему».

«И зачем ты его, «пистолет» этот, с собой носишь? Коль, ты бы спрятал его куда подальше».

«Вот я затем и пришел, чтоб спрятать...»

«Так. А почему ко мне?.. Нет, то есть я не против, конечно, но...»

Тут зашла Анна, я неловко прикрыл пистолет салфеткой, а Шатунов принялся преувеличенно громко рассказывать анекдот. Анна глянула на него с недоумением и вышла. Она терпеть не могла анекдоты. Любые.

«А к кому еще? — зашипел Шатунов. — В сберкассе что ли сдать? А дома его держать не могу. Боюсь я Паша. Выкину чего-нибудь».

«Погоди, а ты взял-то его где?»

«Не поверишь — нашел. Давно еще, пацаном был. В старом доме, на Клары Цеткин. Помнишь, мы там жили. Вот там, в подвале и нашел. Мать просила подвал вычистить, вот я и наткнулся. Ящик от посылок, а там тряпье. Хотел выкинуть, смотрю, тяжеловат ящик. Сунул руку, а там — он, — Шатунов любовно оглядел пистолет. — Полная обойма, плюс еще одна. Тоже полная. Почему не сказал? Должна у человека быть тайна? Вот у меня и была. От всех без исключения. Он мне душу грел: ни у кого нет, а у меня, Шатунова Николая, — есть. Оружие ведь только тогда оружие, когда о нем никто не знает, кроме тебя. А теперь вот боюсь. Мысли в голове иногда — не приведи бог. Пускай полежит у тебя, а?»

«Чего боишься-то?»

«Ну... Мало ли что. Выкину еще что-нибудь, неровен час».

«Ты давай уж не выкидывай, — я вздохнул. — Так погоди, может, его сдать? Как положено».

«Ну да! — Коля тоскливо вздохнул. — У нас, сам знаешь, затаскают. Кто поверит, что нашел. А выбросить — рука не поднимается».

Тут вновь вошла Анна и пистолет был вновь укрыт салфеткой.

«Чего это? — Анна подозрительно прищурилась. — Ты чего, Колька, опять притащил? Имей в виду, я...»

«Черепашка это. Дуняшка ее зовут. Галка, дура, озверела, хочет ее на помойку выбросить», — не моргнув глазом ответил Шатунов.

Удар попал в цель. У нас в доме уже жила черепашка. Как-то Анна ночью спросонок наступила на нее в коридоре и едва не упала в обморок. К тому же чуть не вывихнула колено. С той поры вопрос живности в доме не обсуждался вообще.

— Коля! — ее глаза яростно сузились. — Немедленно...

— Все понял, — Шатунов покорно поднял обе руки и бросил сверток в портфель. Там тут же что-то глухо звякнуло, но Анна не заметила.

Одевшись в прихожей, Шатунов воровато поозирался, вновь извлек из портфеля сверток и сунул мне, благо Анна, потеряв бдительность, отошла в сторону. Сунул и тут же быстро просочился во входную дверь.

На следующий день я отвез Шатуновскую забаву на дачу и спрятал в чердачном чуланчике, на дне старого самовара с отбитым носиком.

ЛЕСОПАРК

Страшно ему стало лишь в один момент — когда он сошел с автобуса на остановке «Лесопарковая». Страшно настолько, что он лишь чудом пересилил себя, чтобы не сесть в подошедший автобус, едущий обратно, прочь от этого жутковатого, зачумленного места.

Мимо него неумелыми зигзагами проехала на велосипеде девочка. Остановилась, встала, широко расставив ноги. «Дяденька, вы не к нам приехали?» — спросила она его, переводя дух. Воронин, не оборачиваясь, отрицательно замотал головой и ускорил шаг.

По дороге рассеянно пытался вообразить расположение комнат, хоть и не был в доме ни разу. Ничего не планировал: понимал, бесполезно, даже вредно связывать себя заведомой схемой, понимал, что все в конечном счете будет не так, как запланируешь.

Дверь открыл телохранитель. Тот самый, Фаик. Только тогда, на похоронах, он был в серой замшевой куртке и темно-синих шароварах. А теперь — в обтягивающем черном джемпере и в джинсах. Темные волосы ежиком с едва заметным налетом седины, запавшие глаза, узкий, словно раздвоенный подбородок. Взгляд тяжелый, вопросительный.

— Здравствуйте! — Воронин выпалил с жалкой, смущенной приветливостью. Тот ничего не ответил, лишь сузил глаза.

— Вы меня не узнали, конечно. Да. Я — Воронин. Помните? Ну — муж (*горестно потупился*) Анны Владимировны. Не узнали?

Так, лицо слегка переменилось. Почти незаметно. Голову набок склонил, узнал, мол, говори, слушаю.

— Узнали. Ну и хорошо. Так, э-э, мне бы Виктора Михайловича. Можно его увидеть?

«Зачем?» — спросили глаза и шевельнувшаяся челюсть.

— Да буквально пару слов. Все не решался зайти, побеспокоить. Собрался вот наконец...

— Мы уезжаем сейчас, — произнес наконец телохранитель.

— Что, прямо сейчас? — Воронин огорченно всплеснул руками. *(Удача! Вот это удача!)* — Мне буквально-таки пару слов.

— Фаик, кто там?

Ну вот и Хозяин. В малиновом банном халате с капюшончиком. Вид благодушно распаренный, седые, войлочные волосы торчком, такой сугубо домашний, даже какой-то трогательный.

— Да тут... — Фаик замялся и неопределенно хмыкнул. — Муж.

— Какой такой муж?

— Ну... как ее, Анны Ворониной.

О, переменялся в лице. Замер, зыркнул исподлобья. Заволновался. А вот за «как ее» ты ответишь, генацвале, отдельным параграфом.

— Чем могу? Фаик, ты пропусти человека. Может, дело у него? — он говорил, поигрывая голосом, словно посасывая леденец.

Фаик холодно пожал плечами, мол, воля ваша, и едва посторонился, не сводя с него немигающего, кошачьего взгляда. Воронин прошел в просторную, похожую на зал, прихожую, почтительно обошел полураскрытый чемодан (в самом деле, значит, уезжают). Часы в форме геральдического щита показывали двадцать минут шестого. *(Запомнить.)* Хозяева, он это чувствовал, не оборачиваясь, — переглядывались. Он, бормоча и улыбаясь, стянул с себя плащ и с удовольствием влез в уютные домашние тапочки. *(Очень даже кстати.)*

— Вот сюда, — горячая, влажная рука вяло легла ему на локоть и деликатно подтолкнула к боковой двери. Дверь дубовая, с барельефом в виде оскаленной африканской маски. — На кухню, извини уж.

Да помилуйте, о чем вы! Нам и на кухню-то много чести-с!

— Ну, слушаю. Только, знаешь, пара слов так пара слов. У меня времени шиш да маленько.

Кухня так, небольшая. Да и то, зачем большие кухни. Не коммунальная же квартира. Окна опять же тонированные. Замечательно. Воронин вдруг почувствовал, что его начинает бить мелкая, льдистая дрожь. Вот уж некстати. Он зажмурился, задержал дыхание. Почему-то подумалось, что это поможет.

— Дело минутное, не задержу. — С шумом выдохнул. — Во-первых, завтра... сорок дней у Анечки. Вы ведь подъедете к завтрашнему-то?

Снова переглянулись. Хозяин сокрушенно покачал головой.

— Раньше субботы — точно не вернемся. Так что уж...

— Да как же! — сокрушенно всплеснул руками и изобразил на лице отчаянье. — Помянуть-то Анну Владимировну! — Проклятая дрожь не оставляла. Голос стал какой-то вибрирующий, избыточно шутовской. — Вы ведь не чужой ей человек. Хорошо знали ее.

— Да уж знавал, — Хозяин вдруг ослабил и покачал головой. Фаик нетерпеливо шевельнулся. — А вот мы ее сейчас и помянем. А? — Хозяин оживился. — Я как раз после сауны. Помянем как раз рабу божью Анну. Лучше рано, чем никогда.

Из холодильника была суетливо извлечена литровая бутылка умопомрачительно дорогой водки «Витязь» в форме боевого шишака и с голографической картинкой «Три богатыря» на этикетке. Весьма кстати.

— Будешь? — Хозяин скосил глаза на Фаика. Тот презрительно покачал головой. — Ну и ладно. За рулем. Да и Аллах не велит. Зато нам велит. Да Фаик ее и не знал. Это уж мы с вами... Давайте. Не чокаемся.

Содержимое округлой, полновесной рюмки вброшено вовнутрь с ухарским удалством.

— Закусочка вот. Маслины. Под водку — исключительно.

— А благодарю. После первой, как говорится... Да и водочка чистенькая. Как слеза. Идет без нагрузки.

Хозяин крикнул, блаженно огляделся. Сказал, точно вспомнив:

— Да, мне ведь позвонить надо. Сбил ты меня с панталыку.

Он подбросил на ладони черное тельце телефона.

— Да уж я пойду скоро, — засуетился Воронин. — Что ж мне вас задерживать. Дорога, поди, дальняя. Я еще что хотел сказать...

— Н-ну!

— Это... Ну, не могли бы вы, так сказать, помочь материально? Сами понимаете, хлопот полон рот. Одних гостей... Ну и вообще...

Именно так и нужно было сказать. С незатейливостью идиота. Пусть прочувствуют. Быдло оно и есть быдло. Особенно если интеллигенция. Трется головой о колени и со скромным достоинством просит корму.

— Э-э, что вот прямо сейчас?

— Уж как скажете.

— Ладно. Вообще-то я, если без обиды, деньгами-то не сорю. Сегодня один попросит, завтра еще трое придут. Всем дай. Ну тебе-то дам, наверное. А, Фаик? Дать надо горькому вдовцу. А ты, Воронин,

ничего мужик. По первости ты мне не понравился. Какой-то весь с понтами показался. Фу ты, ну ты! Тогда, на юбилее, рожи корчил, нос морщил, все не по тебе было. На часы глядел, будто торопишься куда. Я ведь все вижу. И запоминаю. А сейчас, гляжу, ничего. Оно и верно, хороши понты, если с богом на ты. А когда в лужу — бряк, с понтами напруг. Ладно, не кривись, помогу, пожалуй.

— Да уж будьте любезны. Вы-то с богом — на ты. Сегодня — в переносном, завтра — в буквальном смысле. Верно?

— Это ты, — Хозяин склонил голову, — вроде, шутки шутишь?

— Да нет! — Воронин смущенно, протестующе замотал головой. — Какие мне шутки. Я свое отшутил. Это я — так, сорвалось.

— Больше не срывайся. Я когда серчаю, себя не чаю. Ладно, погоди немного.

Он насупил и забарабанил толстыми пальцами по телефонным кнопочкам.

— Алло!.. Я, кто же. Ну, почти... Почти это так и значит: почти... Где-то через полчаса, думаю, выедем. Ну час... Я же сто раз объяснял, почему... Погоди, так мы не договаривались! Мало ли что написано! У меня, брат, на заборе, знаешь, что написано? Постой, я сейчас.

Хозяин хмуро огляделся, встал и бросил через плечо Фаику:

— Сейчас я там переговорю. А ты — давай... — он коротко кивнул в сторону Воронина. Мол, завершай встречу. Затем грузно поднялся и вышел из кухни.

— Слушай, Воронин, — подал наконец голос Фаик. В голосе обозначился легкий кавказский акцент. — Ты давай иди. Деньги после получишь. Как приедем, да? На вот, возьми пока. — Морщась, сунул несколько мятых купюрок. Давай, допивай, раз налили, и катись.

— Так не налили же, — Воронин комично развел руками и потянулся к бутылке.

Однако Фаик, выругавшись, схватил бутылку и сунул ему в руки.

— На! С собой возьми. Поминай сколько влезет. Только дома.

Воронин, восхищаясь щедростью, прицокнул языком, завинтил крышечку и бережно засунул бутылку в портфель. Очень кстати. Не придется теперь расстегивать. Ну что же, на финишную выходим.

— Позвольте уж сигареточку тогда? В юности, помню такие курил разок. У приятеля папаша привозил из Москвы. Штаты!

Фаик кивнул и даже небрежно протянул зажженную зажигалку.

— Кури. Слушай, я без шуток. Покурил и ушел.

— Так разве ж мы не понимаем! Позвольте уж здесь покурить. Буквально пару минут. Такие сигареты на ходу курить грешно просто. И пойду себе. Вам в дорогу. В путь-дорогу дальнюю скворушке лететь...

— Кому? — Фаик нахмурился.

— Скворушке. Скворцу, значит. Песенка была такая в детстве. Мы ее в первом классе пели хором: душевно так.

От табачного дыма закружилась голова. Ничего, скоро пройдет. Отвернулся к окну. Темнеет. Спокойно. В оконном стекле отражается кухня. Фаик сидит, расставив ноги циркулем, вертит в руках зажигалку. Изредка цвиркает и тут же гасит большим пальцем.

— Я вот что думаю. — Воронин снова торопливо затынулся и с шумом выдохнул сладковатый дым. — Вот сороковины проведу. И буду этим делом заниматься. Плотно буду заниматься. Делать мне все равно теперь нечего. И терять тоже.

— Каким делом? (*Цвирк!*)

— Сами понимаете, каким. Вы ее не знали, но я-то знал. Дураком нужно быть, чтоб поверить, что она — сама! Ну, ты понял о чем, да? Главное — все это понимают. С кем ни поговоришь, все глаза отводят.

— Ну и что, думаешь, там было? (*Цвирк!*)

— Что было! Убили ее, вот что было!

— Кто?

— А вот это я как раз выясню. Я вот, — понизил голос, — с одним человеком имел разговор. Занятный! Чепик его фамилия. Смешная, правда?

— Чепик! (*Цвирк!*) Какой такой Чепик?

— Анатолий Никитич. Муж ее первый. Я его, по правде говоря...

— И что Чепик?

— Да рассказал кое-что...

— А я и спрашиваю: что рассказал?

— Пока велел не говорить. Придет время — все всё узнают. И вы, конечно. Вы первые, обещаю.

Стоп, теперь осторожно. Кавказец сильно занервничал. Как бы ненароком не перегрелся. Воронин повернулся и широко улыбнулся.

— Так я пойду. Вы уж насчет денежек не позабудьте напомнить Виктору Михалычу. У нас ведь каждая копейка, можно, сказать...

Бросил сигарету в форточку подальше от окна, заботливо прикрыл ее. И бочком, бочком вдоль стеночки, кланяясь да улыбаясь. И, вздрогнув, наткнулся на небрежно вытянутую ногу Фаика.

— Стоять, Ворона! — Зажигалка, напоследок еще раз цвиркнув, отлетела в сторону. — Ты с кем шутики шутишь, крендель позорный...

Дверь толчком отворилась и вошел Гурьянов. Насупленный, будто даже подурневший разом.

Взгляд его тяжело метнулся на Воронина. Будто и не узнал сразу. Тотчас раздраженно, исподлобья покосился в сторону кавказца.

— Ну я ж сказал, Фаик. Ехать ведь надо.

— Да погоди, шеф. — Фаик говорит спокойно, почти весело. — Откладывается поездка немножко. Может, и не придется вообще. Этот фуфел мореный, оказывается, от Чепика пришел.

— Че-во? — лицо Гурьянова вытянулось. — От Чипполины? Этот?

— Ну да. Сейчас мне начал пургу гнать. Я, говорит, разберусь, мне, говорит, Чепик все рассказал.

— Вот так... — Гурьянов по-бабьи всплеснул руками. — Ну дела. Это что же, правда, Воронин?

— Он неправильно понял, — Воронин говорил суетливо, уже не стараясь унять дрожь. — Никто меня не посылал. Анатолий Никтич со мной просто поговорил, и мы...

— О чем говорил?

— Он просил не рассказывать, я уже сказал. Пойду я, пора мне...

Вновь бочком, косясь на кавказца двинулся к двери. Тот, однако, не шелохнулся, даже не смотрел на него. Вышел в прихожую. Входная дверь, как и следовало ожидать, была заперта.

— Откройте дверь! — Он говорил сорванным, петушиным голосом. — Прошу вас сейчас же открыть дверь. Что за шутики еще!

— Это не шутики, Воронин. Шуток у нас, чтоб ты знал, вообще не бывает. Это Анька, дура, тоже думала, что с ней шутики будут шутить. Книжечку читалась. Не хочешь говорить? Ладно. Сейчас ты с Фаиком до гаража прогуляешься, там он с тобой предметно поговорит. Ты все расскажешь. У него есть, чем память освежить. Ну ты и дурак, Воронин...

— Не хочу я с ним ни о чем говорить! — Он говорил с дрожащим, перепуганным пафосом. — Выпустите меня немедленно! Не нужно мне от вас ничего! Nate вот, и бутылку свою заберите, сами пейте.

Он, продолжая бессвязно бормотать, сунул руку вовнутрь сумки и тотчас безошибочно нащупал в кармашке рукоять «вальтера». Сразу стало спокойно. Даже как будто весело. Фаик между тем неспешно подошел стенному шкафу с зеркальной дверцей, отворил его и столь же неспешно вытащил нечто негромко, но пронзительно лязгнувшее.

— Не понимаю, что вы от меня тут хотите! — продолжал кипятиться Воронин. Пистолет он засунул в карман брюк.

— Сейчас поймешь, дорогой, — кивнул, не оборачиваясь, Фаик.

— Ну, только не здесь, — обеспокоенно отозвался Гурьянов, — сказано же — в гараже.

— В каком еще гараже! — по-бабьи взвизгнул Воронин. — Еще чего! Не пойду я с вами ни в какой гараж. Я в милицию сейчас буду звонить.

— Э, хватит, а? — Фаик укоризненно покачал головой и вдруг, резко обернувшись, наотмашь ударил его по лицу.

Удар пришелся по скуле. Воронин тяжело ударился затылком о входную дверь. Замолчал, не спеша, деловито провел по губе вздрагивающей ладонью. Крови, кажется, нет. Фаик же, вновь, как ни в чем ни бывало, отвернулся. *Ну вот, наверно, уже пора.*

— Фаик!

Кавказец настороженно замер. Видимо, почувствовал что-то новое в голосе. Затем медленно выпрямился. В руке звякнула, ударившись концом об пол, цепь. Столь же медленно, точно нехотя, повернулся. Увидев наставленное на него дуло, не удивился, лишь голову склонил набок и прищурил темные кошачьи глаза, словно сияясь разглядеть получше.

— Мою жену звали Анна Владимировна Воронина, — очень тихо произнес Воронин. — Повтори.

Кавказец кивнул, точно соглашаясь, и тотчас попытался презрительно улыбнуться. Не получилось. И тут его лицо исказилось, он шумно заглотнул воздух, страшно вытаращил глаза, рука его, точно отброшенная пружиной, хищно метнулась куда-то вбок.

Воронин нажал на курок, пистолет послушно дернулся в ладони. Рукоять как будто сразу потеплела. Фаик, уже бросивший тело вперед, словно запнулся. Пуля угодила в верх живота. Он широко выкатил глаза и замер, будто прислушиваясь к чему-то. Вторая пуля вошла в него возле ключицы, он начал тяжело оседать на колени, и тогда третья пуля ударила чуть ниже дико задрывшегося подбородка.

Странно, Воронин совсем не видел крови. То есть он сознавал, что она есть, что ее много, что она густо залила лицо и шею убитого им человека, косо, наотмашь забрызгала зеркало. Но — не видел. Звук выстрелов он тоже почти не слышал, лишь что-то тупо и болезненно ударило в уши.

Тело Фаика в последний раз судорожно вытянулось и замерло.

Затем Воронин распахнул кухонную дверь. Гурьянов сидел к нему спиной, не шелохнувшись, будто ничего и не произошло. Затем не торопясь потянулся рукой к пачке, вытянул из нее ртом сигарету, размял и лишь тогда повернулся к Воронину.

— Не ждал, что сможешь, — сигарета во рту покачивалась в такт словам, слово подтверждая. — Ведь сразу понял, зачем ты пришел, но думал, не решишься. Хорошо ты придурка разыграл, я почти поверил. Вообще-то я сам должен был это сделать. Именно сегодня. Где-то часа через полтора, по пути, прямо в машине. Только я бы это сделал в березнячке возле старого моста, там старый глиняный карьер, закапывать не надо.. Теперь надо кумекать, куда мясо девать...

— Ты Анну убил?

— Анну? Нет. Сбросил ее — он. — Гурьянов кивнул в сторону прихожей, пригляделся и с безразличной досадой сморщился. — Она поначалу и не сопротивлялась почти, до конца, видно, не верила. Думала, пугают, наверное. Попугают да и домой отпустят. Когда мы с Фаиком к ней вошли, она так на нас посмотрела... До сих пор вижу. Дети так смотрят обиженные. «Так нечестно». Убедить нас, что ли, хотела? Был при этом я? Ну да, был. Почему не помешал? А чтоб рядом с ней не лететь. Все просто. Умная она была баба, каких поискать, а такую дурь спорила. Рыбку поймать золотую хотела, а поймала акулу.

Гурьянов говорил медленно, даже, как будто, увещающе. («Глупо все, конечно, глупо... Я ведь до самого конца верил, что все как-то можно поправить...») Он лгал неторопливо, примитивно, с настырной артистичностью. (Ты ведь даже не подозреваешь, на что она замахнулась, несмышленная. Да что она, я и сам толком не знаю. Догадываюсь только...) Говорил, стараясь не столько убедить, сколько заворожить, затянуть в вязкое словесное месиво. Он не убеждал, он лишь добросовестно работал с материалом. Он хорошо понимал, что эта безумная вспышка не может продолжаться долго. Что надо постараться еще немного, и потом можно будет легко превратить его, Воронина, в жалкий, всхлипывающий студень. (Сейчас успокойся немного. Посиди, покури.) Воронин уже ощущал, что хочется верить каждому слову этого неплохого и незлого, наверное, человека, верить этому теплому, грубовато участливому голосу, чтобы не совершать вновь того, темного, непоправимо страшного...

А Гурьянов все говорил и говорил. Судорожный, страх был наглухо запрятан в нутро, проступая изредка мелким подрагиванием ноздрей, какой-то сырой хрипотцой в голосе. Его рыбе лицо сонно окаменело, что должно было означать, что он совершенно спокоен и вовсе его не боится, как не бояться спокойные, уверенные в своей правоте люди.

— Слушай, — он сказал так, будто его осенило. — А ведь тебе выпить надо. Чай, не каждый день такое. Как же сразу-то я не догадался. Сейчас, момент. Да ты положи пушку-то. Небось, не понадобится.

Воронин отрешенно кивнул и положил пистолет возле себя. Гурьянов глянул на него цепким боковым взглядом и распахнул дверцу холодильника.

— Черт, тут нет! — крикнул он с деланным, веселым удивлением. — А, так она ж у тебя, я забыл. Да нет, ты сиди, я сейчас принесу...

И тотчас кособоко, по-крабьи метнулся к двери. «Слышь, Воронин, тебе чего, водочки, коньяку?» — зыбко послышалось откуда-то из глубин. Голос нескрываяемо возбужденный, даже радостный, будто в карты олуха обыграл. «Все равно», — ответил Воронин, придуманным, бесстрастным голосом, и сейчас же бесшумно поднялся из-за стола и, прижав пистолет к груди, встал к стене у двери. Утробным щелчком отключился, сонно журчавший холодильник, стало совсем тихо. Какой-то шорох что ли в коридоре? «Крадется, — с отрешенной ненавистью подумал Воронин. — Ну давай скорее что ли...»

И тут, словно повинувшись, дверь с треском, видно, от удара ногой, распахнулась, послышался сиплый, наглый выкрик и подряд два выстрела. Одна пуля надвое расколола тяжелую бронзовую пепельницу с равнодушным индусом, сидящим на паучьих, скрещенных ножках, другая расщепила угол стола. А Гурьянов грузно влетел в кухню, замер на мгновение, будто раздумывая, что теперь делать. Хотел обернуться. Воронин с силой ударил его ниже головы рукояткой пистолета, тот тяжело рухнул, со звоном стаскивая со стола клеенку. Две недопитые рюмки, разбитая пепельница, ваза с декоративными цветами... Ошалело тряс головой, поднялся на корточки, но Воронин тяжело уперся стволом ему под левую лопатку.

— Тихо, Гурьянов. Давай-ка стой, как стоял.

Гурьянов покорно замер и даже быстро закивал головой, дескать, все понял. Воронин отбросил его пистолет ногой в сторону.

— Теперь, Гурьянов, говори, только правду, врать тебе не резон. Говори: за что ее убили?

— Хочешь правду знать? — Голос Гурьянова был сиплый, сдавленный, но на удивление спокойный. — Слушай. Только ведь ты все равно не поверишь. А правда — вот она: не знаю. Правильно, я убивал, вернее, помогал только. А за что — не знаю. И он, Фаик, не знал. Если кто и знал, так это Чепик. Думаешь, я ее смерти хотел? Да кто ж вообще смерти-то хочет. Никто не хочет. Она, я

сказал уже, не сопротивлялась почти. Только когда Фаик окно открыл, вдруг вырвалась и побежала. Почти уже в коридор выскочила. Даже дверь распахнула настежь. Да я ногу подставил. Да, я подставил! А там... — он вдруг хрипло, придушенно рассмеялся. — А там — этот, как его, дурака, звать, Вадим. Помнишь его? Когда мы ее затаскивали, он стоял и пялился, дар речи потерял. Я ему говорю: иди, Вадим, отсюда. Ты ничего не видел, да? Он кивнул и говорит: не видел, Виктор Михайлович. И ушел. Потом, когда все закончили, я к нему зашел в кабинет. Гляжу, скулит, натурально, как щеняра. Коньяк хочет себе налить. (Воронин вспомнил тот коньяк во фляге и вздрогнул.) Меня увидал, со стула сполз на пол. Видно, решил, его черед. Я ему говорю: не смей пить. Ты, говорю, сука, мне трезвый нужен. Только переоденься сперва. Обмочился он со страху-то. Как ты думаешь, зачем я тебе это рассказываю? А чтоб знал — не вру.

— Говори короче. Много говоришь! — Воронин толкнул его стволом и тот заглох на полуслове.

— Ладно, короче так короче. Только давай-ка я хоть сяду что ли. Я ведь не баба и пидор, чтоб — раком стоять!

Воронин отвел ствол чуть в сторону и Гурьянов тяжело сел на пол, глянув на него исподлобья.

— Какой ты, однако. И кто бы мог подумать. Ты убери ствол-то, не бойся, стар я уже для таких прыжков, отпрыгал свое. Шею мне, кажется, поломал, дурак. Я ведь...

И тут же замолчал, в страхе втянув голову в плечи

— Т-тихо! — он выкрикнул это резким вопящим шепотом. — Идет кто-то. Тихо, кому сказал.

— Нет никого, не свисти, — ответил Воронин, не меняя позы.

— Да тихо, говорю! Чепик это твой явился. Обоих нас сейчас положит за милую душу. Совсем, что ли, оглох! Вон, у двери уже.

Воронин непроизвольно повернул голову к входной двери, и в тот же момент тяжелый удар ногою в живот отбросил его к углу. Он едва не потерял равновесие, в тот же момент Гурьянов, успевший схватить лежащий на полу пистолет, выстрелил в него снизу вверх. Воронин, едва успев понять, что пуля ушла мимо, дважды нажал на курок.

И с этого момента человек, называвшийся прежде Павлом Ворониным, как бы рассыпался надвое. В то время, как первый Воронин сидел, в отчаянии обхватив голову руками, смертельно боясь встретиться глазами с изуродованной кровавой мешаниной, второй, добавочный Воронин, деловито выключил свет на кухне, постоял с минуту пока глаза не привыкли к полумраку. Первый Воронин был смят, подавлен, второй, в противоположность ему, собран и расчетлив.

Затем, он, чуть отодвинув пальцем камышовую шторку, осторожно глянул в окно. Стемнело, можно идти. Затем он не спеша переоделся. Достал из сумки серую ветровку, купленную когда-то Анной, да так толком и ненадеванную; шляпу с короткими полями, а плащ и берет, в которых пришел сюда, аккуратно сложил туда же. Затем быстро, но не суетливо прошелся по дому. Несмотря на темноту, видел все отменно. Для чего-то отметил про себя, что обстановочка в доме — так себе, мебель старая, топорная, простодушный советский ширпотреб. Редкие дорогие вещи выглядели аляповато вызывающе. Обои под шербатый трущобный кирпич, наспех сляпанный волнистый паркет, убогая конторская люстра с глупыми пластиковыми висюльками. Не успел хозяин развернуться.

Лишь однажды сжалось сердце, остро и болезненно, — когда резко, по-балалаечному запиликал телефон, серым пунктиром обозначившийся на стене. После седьмого звонка зажегся рубиновый зрачок автоответчика. «Слушай, Бурьян, — отдаленно проскрежетал едва знакомый голос, — это я, Чепик. Зря ты трубку не берешь, деваться тебе все равно некуда. За дурня меня взял, тварь сипатая? Я ведь знаю, что ты дома. Жди в гости, говорить будем...» Дальше — отрывистый, бешеный щелчок и все.

Почему-то это вызвало гуттаперчевую, кукольную улыбку. Непонятную, медленную, так и забытую на некоторое время на лице. Нужно было, однако, уходить. В прихожей он снял тапочки и, подумав, сунул их в сумку. Затем вновь вытащил из сумки плащ, неторопливо протер им пол, засунул обратно. Еще раз зашел на кухню, все цепко оглядел, словно силясь запечатлеть в памяти. Оно и запечатлелось, свежим сколом. Ну вот, кажется, все.

Глянул на себя в зеркало и вздрогнул. На него с пристальным вниманием смотрел чужой человек. В чужой одежде, с чужим лицом из серого, ноздреватого гипса. Диковатое сочетание подростковой ветровки и какой-то немислимой, цыганской шляпы. Зажмурился и отвернулся.

Дверь была заперта, но он сразу заметил висевший на латунном крючочке ключ. Какой-то затейливый, напоминающий миниатюрную серебристую скрипочку. Ключ с неохотой, точно упиравшись, заполз в скважину, беспомощно заерзал там и замер. Воронин вяло покрутил еще, ключ бессильно ерзал в узкой клетке, никелированный диск с тупою надписью «CLOSED» был насмешливо недвижим. Воронин продавил ключ в глубину, тот, вроде бы, прополз, послышался едва слышный нутряной

щелчок, диск, однако, остался на месте. Воронину стало жарко. Он смахнул на затылок свою нелепую шляпу, вытащил ключ, для чего-то осмотрел его, едва не вплотную прижав к глазам. Затем медленно, словно боясь пропустить что-то важное, вновь вставил его в скважину. Все повторилось в той же последовательности. Он вдруг почувствовал, что тот, добавочный Воронин, спокойный и надежный куда-то неотвратимо исчезает, бросает его одного, один на один с равнодушным замком и чем-то несказанным, кроваво-страшным за спиной.

Спокойно, спокойно. Ничего такого не произошло, вот ключ, вот замок. И ключ вновь неохотно влез в гнездо, и вновь этот глухой щелчок, и вновь стопор. Воронин со стоном проклятия повернул ключ в обратную сторону. И тут он неожиданно послушно подался. Повинуясь наитию, Воронин вновь продавил его внутрь, опять щелчок, и вновь — против часовой. Диск с приглушенным металлическим чмоком переполз на надпись *OPENED*. Все...

Времени на облегченные вздохи не было. Он вытер ладонью испарину и, прищурившись, глянул в мерцающий экранчик. Отличный обзор. Пепельно-серый сумрак, идеально ровная полоса изгороди, за нею — мертвая, необитаемая улица. Лунный ландшафт. Воронин повесил сумку на плечо, осторожно толкнул дверь и выбрался наружу. Затем быстро и точно, будто делал это много раз, запер замок и сунул ключ в карман.

Белесая, сумеречная тьма поглотила его, как насыщенный известковый раствор. За порогом Воронин не спеша огляделся. Двор был запущен, горы щебня, прямо посреди — автомобильная крышка, опрокинутые, перемазанные известкой строительные леса, заляпанные металлические бочки. За всем этим витая, свежескрашенная изгородь выглядела как-то нелепо. Дверь гаража закрыта, но не заперта. В машине, смутно обозначившейся внутри, мертво пульсировала крохотная синяя лампочка. Похоже, в самом деле собирались ехать.

Улица была по-прежнему безмолвна. Он дождался, пока проедет урчащий микроавтобус, подождал еще с полминуты и быстро, стараясь ступать как можно тише, дошел до калитки, отворил ее и вышел.

Пришлось приложить усилие, чтобы на корню задавить дикое, сумасшедшее желание побежать... Нет, слишком медленно идти тоже нельзя. Спокойная походка человека, у которого есть свое важное, но неспешное дело. Раз-два. Вот в таком ритме и пойдем. Раз-два. Отчего-то непереносимо запершило в горле, словно наглотался пыли. Раз-два. И еще почему-то очень захотелось, чтобы скорее закончился день. Раз-два. Завтра все будет иначе. Завтра будет светло и солнечно. Время семь минут восьмого. Раз-два. Но до завтра чертовски много.

Воронин решил идти не по знакомому пути, на автобусную остановку, а в противоположную сторону. Когда-то, очень давно, вероятно, он здесь бывал, и помнит боковой памятью, что ежели подняться по холму вверх, пройти мимо какого-то садоводческого товарищества, можно выйти на узкую, щербатую шоссе, а по ней на железнодорожную станцию.

Садов, однако, уже давно не было. Был огороженный наспех грубым дощатым забором пустырь с холмами свежей глины и вбитыми бетонными сваями. Мертвая земля. Наверное, строится какой-нибудь крепкий хозяйственник. Вспомнил, как на юбилее Гурьянова кто-то так и сказал: «...крепкий хозяйственник. На таких и земля держится...»

Место неудобное. Справа забор, снизу затопленная кустарником лощина. Пожалел, что пошел, надо было на автобус. Но поворачивать поздно. Хотелось скорее пройти эту темную и бугристую, усеянную рыжей щебенкой и битым бутылочным стеклом дорожку и спуститься на шоссе. Было прохладно, в воздухе пахло сырой осенней гарью.

В дренажной канаве, заросшей бузиной и одичавшим малинником, он, деловито присев, утопил пистолет и ключ. Они с придушенным маслянистым всплеском грузно ушли в ил. Хотел также и тапочки, но передумал и просто зашвырнул подальше в глубину оврага. Бутылку водки «Витязь» сначала опустошил почти наполовину единым духом, затем разбил о бетонный столб.

У самого угла изгороди, где дорога круто сбегала извилистой тропой вниз, его кто-то окликнул. Он вздрогнул и обернулся.

— Гражданин! Это я вам, постойте. Да вы не бойтесь, пожалуйста!

Да вроде и бояться нечего. Мужичонка какой-то, хлипкий с виду. Если он один, конечно. Однако пожалел, что утопил пистолет, мало ли. Человек догонял его, с трудом переводя дыхание.

— Чего тебе? — Воронин отступил, неприязненно оглядел его с ног до головы. Плоское, конопатое лицо. Частый нервный тик делает лицо глуповато беспомощным.

— Да вы не бойтесь!

— Да я и не боюсь, вроде.
— Вы не на станцию случайно?
— Может, и на станцию. А что?
— Тогда, может, составите мне компанию. То есть, я вам...
— А вам что, скучно одному?
— Да не то чтобы... Страшновато тут, понимаете. — Его в самом деле будто колотила дрожь. — Молодежь чумная совсем. Встретятся, не дай бог. Да и охранники тут злые. Как что не понравится, так метелить начнут. А начнут, не кончат. Я как-то еле ноги унес. А тут, значит, вы...
— На убийцу, вроде, не похож, да? — Воронин усмехнулся.
— Ну да! — смущенно и обрадовано кивнул человек и мелко захихикал. — Какой вы убийца. Так пойдем? Тут недалеко.
— Как скажете, — пожал плечами Воронин.
С одной стороны всякая встреча нежелательна. С другой — вдвоем как ни говори, веселее.

Когда они добрались до станции, она тоже называлась «Лесопарковая», было уже совсем темно. На платформе тускло и зябко рябил единственный фонарь. Прямо под ним на скамеечке у окошка кассы понуро сидело трое мужчин.

— Вот и пришли! — радостно засуетился попутчик. — Спасибо за компанию.
— Кто это с тобой, Саныч? А? Не разгляжу что-то. — Один из сидящих приподнял голову и лениво прищурился.
— Да ты не знаешь. И я не знаю. Попутчик, одно слово.
— Да мы все попутчики. Дорога-то у всех одна, — значительно изрек сидящий, качнув кучерявой, седой шевелюрой. Другие, как по команде, согласно закивали головами. — И куда путь держишь, добрый человек?
— Куда все, — пожал плечами Воронин. Ему не понравилось философское сладкоречие этого калики перехожего. — Сказано же — дорога у всех одна.
— Ну это — да, — кивнул калика. — Дорога одна, а вот канавы у всех разные. — И тут же строго спросил: — Давно бичуешь?

Воронин неопределенно пожал плечами. Знал по опыту, что безапелляционно банальные суждения оказывают на таких людей завораживающее воздействие.

— Ну, смотря что под этим понимать, — заговорил он вполголоса, стараясь держаться подальше от света. — Если в широком смысле, то около месяца. Чуть больше, может быть.

Калика цепко оглядел его с ног до головы и кивнул.

— Недавно, значит. Это хорошо. Где обретаешься?

— Да где придется. Мир велик.

— Вот это плохо. Еще через месяц ты поймешь, что мир не так уж и велик, а когда придут холода, ты вообще забудешь эту глупую фразу — «мир велик». Знаешь три закона бродяги?

— Не знаю, — и нетерпеливо перебил. — А электричка когда будет?

— Должна была быть минут десять назад. А три закона я все же сформулирую, не перебивай, тебе полезно. Итак, Первый закон бродяги: Сегодня я, завтра ты. Не жаловаться на судьбу. Не искать, в чем тебя обманули, в чем ты сам промахнулся. Это вредно. Еще вредней — размышлять о справедливости. Справедливость — мать пороков. Все на свете горести приключаются, когда человек начинает искать справедливость. Второй закон: Сегодня не хуже, чем вчера. Это даже не закон, а девиз. Высшая цель, так сказать. Сразу скажу, это почти невозможно. Сегодня всегда хуже, чем вчера. Почти всегда. Завтра лучше, чем сегодня — вообще бред. У бродяги нет прошлого, и будущего у него тоже нет. У бродяги есть только настоящее. Бродяга живет мгновением, тем и счастлив. Третий закон: Не стремись быть более одиноким, чем ты есть. Все временно, враги и друзья. Значит, и их нет как таковых. Есть лишь стечение обстоятельств, которое одних делает друзьями, других врагами. На краткий миг. На свете нет более верующих людей, чем бродяги. Потому что никто другой не видит так зримо, что все в руках провидения...

Он замолчал, желая, видимо, обозреть произведенный эффект. И тут же спросил коротко и сухо:

— Пьешь?

— Да... случается, знаете, — рассеянно ответил Воронин, взглядываясь во тьму, из которой должна была возникнуть электричка.

— А у нас уже случилось, — захихикал из-за спины калики некто в берете с треснувшей кокардой. — Вот сидим думаем, что бы такое сделать, чтоб еще раз случилось. А?

— Мысль хоть и вульгарная, — кивнул калика, — но не лишняя привлекательности. А то тоска тут смертная. Темень, ни души. По ночам волки воют. Не приходилось слышать?

— Сколько надо?

— В лоб заданный вопрос предполагает подобный же ответ, — вновь одобрительно кивнул калика. Две бутылки «Степняка» — тридцать рублей. стаканчик одноразовый, плюс три карамельки «Слива» — рупь. Итого — тридцать один рубль. Лучше наличными.

— Где ж вы возьмете? Темень кругом.

— А у кассирши, — вновь захихикал тот, что с кокардой. — Сегодня Марина Аркадьевна сидит, у нее, если чувствительно попросить, всегда есть.

Воронин порылся в кармане, достал пятидесятку. Из тех, что сунул Фаик.

— Как говорится, чем могу.

— Боюсь, это недостаточно, — сокрушенно покачал головой калика. Тридцать один рубль — это так, в честь знакомства. Плюс еще триста.

— А триста на что? На крахмальные манжеты?

— Триста, — торжественно и чеканно произнес калика, — на то, чтоб мы никому не сказали, что тебя здесь видели.

— Тогда отчего так мало? — Воронин сумел пожать плечами и даже вполне убедительно рассмеяться.

— Я серьезно, — насутился калика. Другой, тот, что с кокардой, вдруг поднялся со скамейки и подошел к Воронину сбоку. — Когда бездомный врет, что у него есть дом, это нормально, хоть и глупо. А вот когда имеющий жилье выдает себя за бездомного, это ненормально. Есть еще кое-что, но об этом позже. Ну как, договорились? Как говорится, цена смешная.

— Не договорились, — Воронин покачал головой и сунул денежку назад в карман. Деликатно отодвинул плечом кокардоносца и отошел в сторону. — И запомни, философ. Умный человек потому и умный, что не считает встречного дурнее себя. И еще: лучше десять раз промолчать, чем один раз задать лишний вопрос. Можешь считать это четвертым и пятым законами бродяги. Кстати и электричка подошла. Прощайте, господа нищие.

— До свидания, до свидания, — закивал головой калика. — Встретимся еще, непременно встретимся. Тесен мир. Тебя звать-то как?

— Петровичем поминай, — не глядя ответил Воронин и шагнул в распахнувшиеся со скрежетом створки вагона.

Он не помнил, сколько времени ехал, не считал остановок. Возможно, десять минут, возможно, сорок. Время свернулось в гармошку. Мимо степенно прошагали двое милиционеров в щегольском сером камуфляже. Они с брезгливым недовольством смерили глазами дурно одетую пожилую парочку, что-то вполголоса сказали мужчине, тот поднялся, шарнирно покачиваясь, но они махнули рукой и, посмеиваясь и побрякивая никелированными наручниками на поясе, двинулись дальше. На Воронина они внимания не обратили.

Сошел на своей остановке. Он не думал о том, что произошло сегодня, словно какая-то мягкая, увещевающая сила отводила его всякий раз от той двери, дав увидеть лишь мертвый зрачок замка. Прошлое, долгое и прекрасно беспечное, Воронин вспоминал с опустошенным любопытством постороннего. Дальше, возможно, сложится какая-то другая жизнь, с другим содержимым. Возможно, он к ней сможет привыкнуть. Главное, чтоб этого не заметили окружающие. Чтобы все думали, что Павел Воронин — вот он, с нами, тот же, осунувшийся, конечно, переживший, но — тот же.

Там, в едва отстроеном загородном доме, лежат два убитых человека. Один в коридоре — навзничь, с вытаращенными глазами и страшно запрокинутым раздвоенным подбородком. Другой — на кухне, на боку, с неловко подвернутой, словно прячет что-то под мышкой, левой рукой. Их убил никому неизвестный, хладнокровный, безжалостный человек, бесследно исчезнувший сразу за порогом дома. Его будут искать, но не найдут. Он пропал, как его пистолет, в грязном иле дренажной канавы. И никто, никогда, вы слышите, никто никогда не свяжет это ужасное убийство с тихим вдовцом, осунувшимся с темными кругами под глазами, живущим несколько замкнуто, правда, но в целом не чурающимся общения и даже кратковременных увлечений. Он никого не боится, ему нечего прятать, у него хорошая работа, его ценят, он нравится женщинам. Он решил продолжать жить. Возможно, не очень скоро, он женится, у него будут наконец дети...

Сегодняшний вечер, вернее та, уже завершившаяся его часть, будет наглухо заперта, в нее можно будет лишь изредка заглянуть, как в камеру, через узкий глазок. *Opened. Closed.*

От платформы толпа жиденькой муравьиной тропкой влилась в подземный переход. Автобус,

который давно уже должен был подойти, запаздывал. Воронину хотелось домой, скорее завершить этот день, но мысль, что придется с натугой втискиваться в эту отсыревшую, костлявую массу, показалась ему несносной. Решил идти пешком. В сущности недолго.

Вышло почему-то иначе. Где-то через четверть часа он обнаружил, что по-прежнему невыносимо далеко от дома, что устал до изнеможения, что дождь, который волнистою пылью начался еще там, на Лесопарковой платформе, перешел неожиданно в настоящий ливень.

Кафе возникло внезапно. Этаким аквариум, заполненный тепловатой золотистой водицей. Казенное, мишурное тепло стало вдруг манящим, как наваждение. Поколебавшись, вошел вовнутрь. И лишь войдя, и то не сразу, узнал «Веселый Чипполино». Впрочем, теперь, с вечерней подсветкой, кафе и вовсе перестало походить на детское. Было, однако, сносно: относительно опрятно, не людно, главное — никакой музыки.

У смуглого и тощего, похожего на араба бармена он заказал водки, стакан розовой клюквенной водицы и еще какой-то обширный и плоский мясной пирожок с трудно запоминающимся восточным названием. В кафе пахло прогорклым куриным жиром и сырой одеждой.

Неподалеку в углу, сдвинув три столика, нарочито шумно гуляла какая-то молодежная компания. Похоже, день рождения. Именинник, которого все звали не то Мусей, не то Кузей, что-то постоянно пел по-английски, густо играя произношением, и настойчиво пытался взобраться на стол. Скучность угощения вяло компенсировалась крикливостью и периодическими взрывами немотивированного зубастого смеха.

Столик, который Воронин счел поначалу свободным, был на самом деле занят: с краю уже аккуратно возвышалась тусклая вазочка с розовыми помпешками мороженого, со спинки стула свисала женская сумочка. «Охота кому-то мороженого в этакую сырость...» — почему-то подумал он. Вскоре появилась хозяйка, темноволосая, коротко стриженная женщина в круглых, затемненных очках в короткой, под самый пояс куртке и брюках. Она искоса — видно было даже сквозь очки — глянула на него и села, поставив на столик высокий стакан с каким-то желто-зеленым соком или коктейлем и пластиковую рюмку коньяка.

— Извините, я не надолго, — буркнул Воронин, не глядя на нее.

Та пожала плечами, давая понять, что ей все равно, уйдет он или не уйдет, хоть и заметно было, что она предпочла бы, чтобы это произошло поскорее.

Он сказал и неожиданно подумал, что совсем не хочет домой. Только что хотел, а теперь нет. Даже сам удивился этому открытию. То есть, с одной стороны, он ждал возможности закрыть дверь и завершить наконец этот проклятый день. С другой стороны, он не знал, что делать с этим домом, с этим скопищем предметов, каждый из которых имел свою сложную историю и был неразрывно связан с Анной, и только с нею, не знал, как жить в этом безмолвном, безвоздушном мире. И то, что произошло сегодня, никак не... Произошло сегодня... сегодня произошло...

И тут какая-то глухая, обжигающая тьма медленно прошла мимо него, не дав заглянуть вовнутрь. Он в ужасе встрепенулся, словно вынырнул с чумными от удушья глазами из илистой мглы. Даже торопливо, украдкой огляделся по сторонам, не увидел ли кто другой этой всасывающей в себя тьмы... Все было внешне спокойно. Внешне — спокойно.

Нет, надо уходить отсюда скорее, здесь опасно, в этом веселом Чипполино, где лимоны и маслины... А вон тип какой-то сидит неподалеку. В темно-синей стеганой робе и зеленой, вельветовой шляпе с какими-то дурацкими молниями. Ведь вот только что его не было, и вот нате вам. Арабообразный бармен уже несет ему бутылку пива и блюдо с чем-то мясным, густо заваленным зеленью. А? С чего бы? Никому не несет, а ему — пожалте. Обменялись парой фраз, мельком, по касательной. Хотя тут своя жизнь. Как везде. И какое ему до этого дело? Никакого решительно. Мы просто устали, зашли отдохнуть на минутку. У нас сегодня тяжелый день, и он еще не окончился. Стоп, не нужно про день. У нас, в конце концов поминки... Так, надо выпить. Не чокаемся.

— Что? Что вы сказали? — женщина напротив смотрит на него вопросительно и удивленно.

— Я? Сказал? — Воронин глянул на нее с едкой гримасой, разом влив в себя содержимое гуттаперчевой рюмки и даже для чего-то комично встряхнув головой, словно сбрасывая брезгливую оторопь. — Я ничего не сказал.

— Да? — глянула на него неприязненно, словно обидевшись, — мне показалось, вы сказали: «не чокаемся».

— Разве? — Воронин равнодушно пожал плечами. — Вообще, возможно, — он засмеялся отрывисто и глухо. — Возможно, сказал. Да. Как раз об этом и думал. Возможно, вырвалось. Плохо, когда вырывается, да? Не знаешь, что в другой раз вырвется. А вы себе не обращайте внимания. У меня тут что-то вроде поминок. Не поминки, но — что-то вроде. Вы себе кушайте мороженое.

— Спасибо. — Женщина усмехнулась. — А что значит — «что-то вроде»?

— Что-то вроде значит, что поминки, но не совсем, — сказал Воронин, напряженно пережевывая сырмятный пирожок. — Поминки, собственно, завтра. Но их не будет. Так мы решили. То есть я

решил. Вас устраивает? А почему вы, собственно, спрашиваете?

— Я спрашиваю? — Женщина удивилась. И тут же спохватилась. — А ведь в самом деле спрашиваю. Но это случайно.

— И то, — скривился Воронин. Ему захотелось поскорее уйти. Хоть он и не знал, куда. «Я сегодня убил человека. Представляете? Даже не одного. Двоих. Сейчас они лежат в пустом доме. А я сижу в кафе и делаю, что хочу. Хочу водочки выпью, хочу мороженого скушаю. И меня ничего не мучает, понимаете вы? Хочу завести разговорчик с премилой барышней. Барышня не против. Зачем? Пока не понял. Возможно, затем, чтобы завести знакомство, проводить до дома, напроситься в гости на чашку чая и провести остаток вечера, сочетая приятное с полезным. Я вдовец? Вдовец...»

Воронин вздрогнул. Уж не сказал ли он этого, чего доброго, вслух. Глянул исподлобья на соседку. Однако та все так же равнодушно ковырялась ложечкой в мороженом.

«А вот, вообразите, ничего такого не испытываю. Как вы сказали? Ужас? Дрожь? Мальчики кровавые в глазах? Я вас умоляю! Спокоен совершенно. Будто всю жизнь только то и делал, что стрелял в людей. И там был спокоен. Хотя — нет. В какой-то момент... Знаете, там замок был какой-то хитрющий. И так его, и этак. Жутковато стало в какой-то момент. Вообразите, заходят люди в дом, а там два смердящих покойника и я с отросшей щетиной — ключиком шкрябаю...»

Он вдруг прыснул. Женщина вздрогнула и покосилась на него.

— Не очень-то у вас похоже на поминки, — сказала она. Безо всякого, впрочем, раздражения и опаски.

— Дались вам мои поминки, — раздраженно буркнул Воронин, забыв, что еще мгновение назад полагал завести некое знакомство.

— Не то чтобы дались. Просто у меня тоже — «что-то вроде». Как вы изволили выразиться.

— У вас?

— Ну да. Что-то вроде поминок.

— По мужу, надо полагать?

— Нет. — Женщина наконец сунула в рот сигарету, которую долгое время отрешенно теребила между пальцами. — По сыну.

— Да. — Воронин кивнул, отобразив на лице типовую гримасу мимолетного сочувствия. — Сорок дней?

— Нет, — женщина покачала головой, — три года. Если верить сообщению, это было как раз восьмого октября.

— Что — было?

— Убили его. В Таджикистане. Привезли тело с перерезанным горлом. Погиб, говорят восьмого октября девяносто второго года при исполнении. Как видите, говорю спокойно, как о чем-то чужом, ко мне не относящемся.

— А сначала?

— О, сначала всякое было. Знаете, я ведь поехала туда. Вообразите, завербовалась. Кем? Снайпером. Я в университете была трехкратным чемпионом области по пулевой стрельбе. Выступала за сборную России. Молодежную. Рекомендовали в сборную Союза. А тут — любовь-морковь-замужество. Ребенка захотела. Тренер с мужем разговаривал. У вашей жены, говорит, большое будущее. Я уперлась. Нет и все! Родился мой Валерик, вырос умницей. Очень птиц любил. У нас дома с десятков пластинок было «Голоса певчих птиц». Он этих птиц на даче отличал сразу: тут иволга, там малиновка, здесь жаворонок! Все говорили: будет орнитолог. Но народ решил, что он нужней на защите каких-то рубежей. Вот я и поехала туда. Если какая-то обкурившаяся свободолюбивая сволочь считает, что ей дано право резать горло моему мальчику, я решила, что имею право прострелить этой сволочи башку. Или нет?! Прилетела в Душанбе. Контракт уже почти подписан. И вдруг поняла: не смогу. Не смогу. Знаете, там, в Душанбе, на моих глазах поймали возле базара пацана, который хотел бросить гранату в патруль. Я ближе всех подошла, посмотрела. Щуплый, дрожь колотит, щека дергается, глаза моргают, губа разбита. Звереныш затравленный. Человек пять мужиков его держало, хоть он и не думал сопротивляться. Вот я и подумала: положим, это он убил, мальчика моего. Именно он. Смогу я его пристрелить? И поняла: не *смогу*. У меня прямо там истерика приключилась. Да такая, что...

Женщина нервно вздрогнула и принялась рассеянно шарить по столу рукой. Сначала вслепую, на ощупь, затем удивленно и раздраженно.

— Вон она, — подал голос Воронин.

— Кто? Что? — испуганно встрепелась женщина.

— Зажигалка. Вы зажигалку ищите? Она у вас под салфеткой.

— Да. Спасибо, — женщина смущенно улыбнулась, быстро схватила зажигалку, закурила сделала подряд три глубокие затяжки.

— Позвольте вас спросить, — сказала она, машинально разгоняя ладонью дым и глядя на него

искоса. — Вы, конечно, извините. Но если вы допили и помянули, может, вы пойдете? Нет, я не хочу выглядеть грубиянкой, против вас ничего не имею, просто, если вы желаете еще посидеть, я пересяду. Без проблем, места есть. Я бы сразу пересела, просто именно здесь был тот столик, на котором мы с ним в последний раз... Не считите за обиду...

— Да нет, что вы.

Воронин встал. Его неожиданно качнуло. Он неловко улыбнулся, развел руками и вышел. На улице он еще раз обернулся. Женщина сидела, вертя рукой стаканчик, глядя впереди себя невидящим взглядом. А затем вдруг словно встрепенулась, обернулась, стала напряженно вглядываться в стеклянные стены кафе, словно силясь разглядеть кого-то. Уж не его ли? И тогда он, сам не зная для чего, махнул ей рукой, не очень рассчитывая, что она заметит. Она, однако, заметила и как-то по-особенному кивнула. Просто кивнула, однако Воронин пожал плечами, помешкал и решил вернуться.

— Знаете, — вдруг, волнуясь, сказала женщина, — все неловко получилось. Взяла и согнала вас с места, будто имею право указывать, кому и где...

— Да помилуйте. Я, собственно, и собирался уходить.

— И тем не менее. Да в общем-то не в этом и дело. Извините, но мне почему-то показалось, что с вами происходит нечто... даже не знаю, как сказать. Нечто очень тягостное. Мне это знакомо. Я с некоторых пор, — она невесело усмехнулась, — ощущаю это на расстоянии. Если вам, — кто знает, — может понадобиться моя помощь, то...

Она немного поколебалась и протянула мне старую, на каком-то допотопном компьютере изготовленную визитную карточку.

— Хотя, собственно, там все давно устарело. Кроме моего имени и одного телефона. Вот этого.

Она торопливо чиркнула ногтем и протянула мне карточку.

— Вот так. И еще. Если где-то в течение месяца надобности не появится, убедительно прошу выбросить и забыть. Хорошо?

— Хорошо, — кивнул Воронин, взял карточку, повернулся и зашагал прочь.

Ну вот, все. Створки раковины сомкнулись. Нестерпимый, удушливый кошмар Лесопарка никогда сюда не просочится, не протиснется в этот уютный, моллюсковый полумрак. Во всяком случае, сегодня. Боже, как все просто. Всего-то надо — вернуться домой. Даже не обязательно проходить, достаточно захлопнуть дверь и вдохнуть теплый, чуть душноватый запах дома.

Подумалось, что все произошедшее сегодня надо просто постепенно, методично выдавить из памяти, если не окончательно, то на какие-то глухие задворки, которые непременно должны быть, иначе человек просто сойдет с ума... Почему-то показалось, что это возможно, и даже, в сущности, не так уж трудно. Вот, к примеру, завтра он солидно развернет газету и прочтет с мимолетным интересом о жестоком убийстве в одном из частных домов в пригороде. Посетует о захлестнувшей страну волне преступности, и что наемный убийца и заказчик преступления в очередной раз останутся безнаказанными. Начинается другая жизнь.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Звонок в дверь пронзительно резанул изнутри. Звонок был длинный и настырный. Так звонят те, кто давно и раздраженно ждет. «Нет, — спокойно произнес кто-то внутри, — это что-то другое. Спокойно». Я действительно распахнул дверь, даже не глянув в глазок. Так было прощепе.

У порога, застыв и вытянувшись, как в почетном карауле, стоял Коля Шатунов. Он вообще, чем пьяней был, тем прямей держался. А уж когда по-петушину выпятив грудь и вальяжно заложив руку за спину, — значит пьян давно и изрядно. Передвигался он квадратной походкой исцелившегося паралитика, а изъяснялся с долгими бессмысленными паузами, с закатыванием глаз и идиотически часто повторяемой присказкой: «такая вот фуйня-муйня».

— Ходишь где-то допоздна, — сумрачно сказал он и зловеще потянул носом, — полчаса уже жду. Дело у меня к тебе. Как-то ты проскочил незаметно. Задремал я, что ли.

— Немудрено и задремать, — сказал я, с трудом унимая внезапную мелкую, зыбучую дрожь, — давай, заходи, коли дело.

Впрочем, Шатунов, успев деловито прошмыгнуть под моей рукой, уже нетерпеливо снимал мокрый плащ и цеплял его на вешалку. Плащ при этом глухо громыхнул. Шатунов вздрогнул, хитро подмигнул и бережно вытащил из кармана чекушку водки.

— А?

Я мотнул головой.

— Хозяин — барин, — охотно подхватил Шатунов и, отказавшись от тапочек, быстро зашлепал на

кухню в мокрых носках.

— А я грешным делом выпью. Чего-то продрог я. Сыро нынче на улице. Ты тоже шатаешься где-то. Дела? Ну вот и у меня дело. Да ты садись, будь как дома. Ха! В общем так. Ты... помнишь ту штучку?

— Какую штучку? — удивленно спросил я, хотя тотчас понял, о чем речь.

— Ну ту штучку, — продолжал упрямо бубнить Шатунов, глядя в сторону, словно обращаясь к невидимому третьему собеседнику

— Погоди, ты не пистолет ли имеешь в виду?

Шатунов отрешенно кивнул.

— Знаешь, отдать я тебе его сейчас просто не могу.

— Интересно будет узнать, почему? — Шатунов обиженно насупился.

— Ну, во-первых, потому что ты пьяный.

— Я? Пьяный?! Я? — Шатунов картинно раздул ноздри. Тут же, однако, сник. — А, ну есть немного, — и тут же вновь раздраженно нахохлился, — ты что, думаешь, я пойду по улице и буду шмалять по сторонам, как батька Махно?

— Шмалять не будешь. А вот если к тебе по пути привяжется милиция, — время позднее, а ты на ногах не сильно стоек, — то тебе, спокойно, отпишут года три для начала, да еще повесят на тебя пару нераскрытых дел. Как это у нас водится. Оно тебе надо?

— Ладно. — Шатунов отвинтил крышечку и шумно хлебнул прямо из горлышка, заурчал и затряс головой. — Что во-вторых?

— Во-вторых, у меня его сейчас просто нет. То есть, дома нет.

— Та-ак! — зловеще протянул Шатунов. — Интересное получается кино. И где же он имеет место быть?

— На даче, в чуланчике на чердаке. А ты хочешь, чтоб я твою пушку дома держал? В туалетном столике? Откуда мне знать, как он к тебе попал? Может, он в розыске, может, из него человека убили.

— Паша, ну я ж тебе уже рассказывал, как все было, — Шатунов встревожено округлил глаза. — Тут все чисто. Он у меня, считай, двадцать пять лет.

— Ты, значит, предлагаешь поехать за ним? Прямо вот сейчас?

— А что! — вдруг пьяным фальцетом выкрикнул Шатунов. Поехали, а? Обожаю ночные электрички.

— Вот и поезжай сам. Я тебе ключи дам. И расскажу, где он лежит. Ночной поезд в двадцать три ноль два.

— Темнишь ты что-то, Воронин, вот что я тебе скажу, — зло насупился в ответ Шатунов.

Разговор закончился сумбурно. Опростав чекушку, Шатунов мрачно попросил еще. Я достал оставшуюся с поминок полулитровку, которую Шатунов в два приема ополовинил, после чего бессвязно попросился переночевать.

— Куда деваться, не отпускать же тебя такого, — я пожал плечами. На самом деле я был рад, что Шатунов, какой ни на есть, остался со мной.

Ночью Шатунов несколько раз вставал, бормоча и постанывая, шлепал босиком на кухню, пил, фырча и ухая, воду прямо из крана.

Заснул я уже под утро. А до этого просто не ложился. Почему-то всякий раз обнаруживалась какая-то причина, чтоб не ложиться. Зато уснул почти сразу же. И был какой-то неразличимый, темно-серый сон. Я словно видел самого себя, спящего, и следил, чтобы спящий не проснулся раньше времени, и чтобы ничто его сон не встревожило, не взорвало, не задушило изнутри. Было, впрочем, и еще что-то, какая-то невидимая, но осязаемая соринка в памяти, какое-то темное видение, которое сидело в нем маленьким, неразличимым, но цепким, когтистым нетопырьком. Иногда в туманном вареве сна проступали вдруг сумеречные очертания деревьев с обрывками листвы, покосившиеся грязные скамейки, чужие, недобрые голоса и тупая, неразличимая боль.

Но заботливый разум всякий раз мягко задерживал вновь едва раскрывшуюся шторку...

Шатунов ушел утром. Он долго и бурно кашлял в ванной, охал и сплевывал с горловым клекотом. От завтрака отказался, лишь допил вчерашнюю водку, после чего повертел в руках пустую бутылку и укоризненно убрал под стол. За все время не проронил ни слова, лишь уходя, тяжело влезая в отсыревшие ботинки, пробубнил, глядя в пол: «Так насчет вчерашнего-то. Ты мне Вальтера верни. Я без шуток говорю. В общем, как хочешь, а чтоб сегодня вечером он у меня был. Иначе — гляди, я тебя предупредил».

Я вполне доброжелательно улыбнулся и кивнул, после чего закрыл за гостем дверь и, почти тотчас позабыв о нем, принялся обстоятельно собираться на работу. Начинался новый день.

На работу явился как обычно, минут за десять. Сослуживцы к тому времени стали относиться ко мне уже почти как прежде, без настороженного участия и назойливой деликатности, что обнадеживало. Меня уже вновь стали звать на какие-то дружеские посиделки, пикнички и хоть я и отказывался, но легко и без напряжения. Тем более, что и раньше-то я чаще всего не принимал в них участия. Я по-прежнему был надежен, пунктуален и аккуратен и слегка занудлив. Правда, за полчаса до обеденного перерыва приключился казус: я вдруг неожиданно задремал, попросту говоря, уснул прямо за столом, чего раньше со мной отродясь не приключалось. Уснул, откинув голову назад, и даже пару раз задремал, по-домашнему, всхрапнул. Затем, вскинувшись, обвел окружающих мутновато-бесмысленным взглядом, но тут же взял себя в руки, смущенно рассмеялся и развел руками. Случается.

Я так и сказал: «случается», вслух, но голоса почему-то не услышал. И тогда понял, что так и не проснулся, а продолжаю спать в нелепой позе с подрагивающими веками и дико задранной кадыком. И даже когда я все же поднялся на ноги и какой-то волнообразной походкой направился в туалет, где шумно ополоснулся теплой, желтоватой водой, я все еще не был уверен, что пробудился окончательно.

Однако, должно быть, я сделал и еще что-то ранее мне не свойственное, потому что шеф, добродушный увалень с плоским конопатым лицом, деликатно предложил мне отдохнуть недели две в счет отпуска. Поначалу я удивленно отказался, но затем пообещал подумать, а минуту спустя попросил отпустить меня сегодня с обеда. Шеф тотчас с каким-то облегчением согласился.

КАНАВА

То место отыскалось на удивление быстро. Он шел уверенно, не таясь, даже сам себе удивлялся. Будто — так, на прогулку. Канавка как раз в том месте делала едва заметный поворот, неподалеку, метрах в десяти через нее было перекинута что-то вроде мостика, похоже, старая садовая калитка. Запомнил ведь, хоть и темно было. Словно знал, что придется возвращаться.

Воронин, поозиравшись по сторонам, раздвинул заросли чахлой, облетающей бузины, подошел к вязкому краю канавы, осторожно присел на корточки. Ну да, именно здесь. Уверенно сунул руку, безглаголиво морщась, порывшись в вязком, будто чуть жирном на ощупь иле...

Ничего не было. Так, спокойно. Не течением же его унесло. Еще раз огляделся по сторонам. Да нет, место то самое. Вон, слева, горбатый, проржавевший дотла остов «Запорожца». Разве что чуть выше...

— Никак потеряли что, гражданин?..

Он не вздрогнул, он вообще не слишком испугался, хотя что-то екнуло там, внутри, болезненно и тоскливо. Оборачиваться, однако, не спешил. Словно ждал, что наваждение как-то уйдет само собой. Как во сне. Продолжал с тупой машинальностью шарить по дну.

— Я говорю, потеряли что?

Голос не унимался. Воронин попробовал подумать, как поступить, да так и не придумал. И тогда он медленно, точно нехотя, поднялся и с улыбкой человека, которого застали за чем-то неподобающим, но в общем безобидным, обернулся назад. Человек стоял в нескольких метрах выше по косоугору и тоже улыбался, широко и щербато. Голос показался знакомым. Какое-то особенное «Ш» с раздражающим присвистом.

— Да так, пустячок один. Не стоило и пачкаться.

С нарочитым неудовольствием отряхнул руки и полез в карман за носовым платком.

— Вот и я тоже говорю. Напрасно только ручки попачкали, — сочувственно цокнул языком человек, и тотчас Воронин его узнал. Это был тот бродяжка-философ со станции Лесопарковая.

— Хотите, угадаю, что именно потеряли? С трех раз. Значит так... Золотой портсигар с фамильной монограммой. Нет? Трость с набалдашником из слоновой кости. Опять нет. Обидно, — он уморительно сморщился, всем видом демонстрируя огорчение. — Тогда, может быть... пистолет? Неужели ошибся! А? Угадал! Пистолет системы «Вальтер» модель «ПП» образца двадцать девятого года! Угадал? А? Уга-дал! — он захлопал в ладоши.

— Бред какой-то, — пробормотал Воронин, нервно обернувшись.

— Да никакого бреда, — бродяжка продолжал мелко подрыгивать и хлопать в ладоши. Угадал с третьего раза. И что мне за это будет?

— А ничего не будет. Вытри рожу и иди своей дорогой.

Тут бродяжка расхохотался, даже обессиленно присел на корточки. Было, однако, видно, что его колотит дрожь. Волнуется. Или боится. Или с похмелья.

— Да ты сядь, Петрович, сядь, — уже пытается говорить требовательно, покровительственно, тоном хозяина положения. — Ты ведь Петровичем назвался давеча на станции? Вот и быть теперь тебе Петровичем до скончания дней. Так что садись, Петрович, прямо на травку, в ногах правды нет... У-ух, как ты на меня глянул! Убил презрением. А вот это зря. Презрение ты свое теперь забудь, не понадобится оно теперь тебе, презрение-то. Я ведь все тогда видел: как ты из того дома ушел. Странно, думаю, в доме все окна темные, а из него человечек выходит. На хозяина не похож, одет для такого дома плоховатенько. Не хозяин, а дверь-то ключиком запер. И идет — торопится так, ножками семенит, по сторонам не глядит. С добра так не ходят. Ты-то меня не видел, ночью, говорят, все кошки серы. А уж серые — и того серей. Я след в след за тобой шел чуть поодаль, и местечко это запомнил. А потом коротеньким путем до станции добежал. Познакомиться поближе с хорошим человеком. Тогда ты от нас ушел, погнушался. А зря, глядишь, договорились бы тогда к обоюдному удовольствию. Жадность — мать пороков. Теперь уж не получится, Петрович, обидел ты меня тогда... Эй, ты только какую глупость не сделай сейчас, — бродяжка перешел вдруг на визгливый шепоток, опасливо поднялся и косолапо отошел в сторону, — пистолетик-то твой в надежном месте. Так что случись что со мной, он натурально на стол прокурору ляжет. А я тебя, родной ты мой, тут с утра поджидаю. Как чуяло мое сердце, что воротишься за пушкой. А знаешь, почему? Потому что ты дурак, Петрович. У тебя это на лбу написано масляными красками. А я дураков жалею, сам дурак. Поэтому я тебя спасу. Ты ведь, случись что, не то что до зоны, до кэпээ не доживешь. Если правда то, что я думаю, то жить тебе после этого ну никак невозможно. А я ошибаюсь редко, жизнь меня отучила ошибаться. Так что я, получается, твой спаситель, я тебе и Христос, и Пресвятая Богородица.

— Короче, — Воронин сплюнул, — ты чего хочешь-то, убогий?

— Вопрос логичный, — лицо бродяжки вдруг исказила едкая гримаса, подбородок, густо заросший седой щетинкой, мелко задрожал. — Но преждевременный. Я, Петрович, много чего хочу. Так сразу не пересказать. Нам с тобой еще долго толковать. А пока... — он смачно шмыгнул носом и осклабился, — деньжонок бы мне. Сам знаешь, солнце высоко, колодец далеко. А вот насчет убогого...

— У меня с собой почти ничего. Так, мелочь, — сказал Воронин и вдруг широко улыбнулся. — Только на дорогу.

— Ты не понял! — бродяжка вдруг набычился. — Мне не вообще нужны. Мне — вот прямо сейчас нужны, понимаешь, ты, чертов тупица! На дорогу ему! Обойдешься! Ты теперь пешком будешь ходить, спортивным шагом. Ты чего тут передо мной лыбишься, весело живется?! Говорю ему, говорю, а он не поймет никак. Это ты, ты убогий, а не я! А я теперь к тебе в дом буду, как к себе ходить, и кушать буду котлетки из твоей тарелки, в ванной твоей мыться, и в твой горшок ссать, и в тапочках твоих ходить, а твоя жена будет мне...

Он ударил его без особой злости. Просто нужно было что-то сделать, чтобы он замолчал. Ударил без взмаха, неловко, тыльной стороной ладони. Почти не глядя. Ударил по чему-то шершавому и мокрому. Стало мерзко. Он даже пожалел, что ударил. Наверное, не стоило. Бродяжка вскрикнул от неожиданности и неуклюже скакнул в сторону. Хотел что-то крикнуть, но вдруг зашелся сырым, заржавленным кашлем, сипло задыхаясь и тараща порозовевшие от натуги глаза.

И тут Воронин увидел чемоданчик. Махонький, старенький, с лопнувшей кожей, перетянутый багажной веревкой. Кажется, с таким же он когда-то, невообразимо давно, ходил на каток «Динамо». С парой коньков и фасонистым по тем временам спортивным костюмчиком.

Чемоданчик лежал у ствола низкорослой, кривой ивы, в зарослях бурого, увядшего папоротника, словно был оставлен случайным купальщиком. И вот когда Воронин двинулся к нему, бродяжка вдруг вскочил, с пронзительным, хищным воем бросился на него, толкнул обеими руками в грудь, да так, что Воронин едва удержался на ногах. Пришлось ударить его всерьез. Бродяжка кубарем полетел по склону, но тотчас вскочил, схватил какую-то попавшуюся под руку суковатую палку, но она оказалась совершенно гнилой и переломилась при первом взмахе. Тогда он подскочил и попытался ударить его ногой, Воронин успел перехватить его ногу и с силой отпихнул от себя. Бродяжка вновь с воем полетел вниз и рухнул, всплеснув руками, навзничь прямо в ручей.

Тогда Воронин поднял чемоданчик, развязал простенький узел и, морщась, вывалил на землю содержимое. Серая скомканная фуфайка, перетянутая бельевой резинкой стопка бумаг, пакетик с какой-то посудкой, общая тетрадь с размашистой, но неразборчивой надписью на обложке. И еще сверток. Нечто тяжелое, завернутое в сырую, бесцветную от времени тряпицу.

Едкий, каркающий кашель там, внизу, на мгновение смолк, затем вновь возобновился. Впрочем, то был уже не кашель, а смех. Бродяжка сидел у самого края канавы, широко расставив ноги и смеялся, высоко запрокинув голову. Его багровый кадык перекатывался, как рыба в сети.

— Это что же, — бормотал он сквозь смех, непонятно к кому обращаясь. — Карьера шантажиста закончилась, не успев начаться? Не смешно ли, господа?

— Не смешно, — ответил Воронин. Выбросил тряпку и поглубже засунул пистолет в просторную хозяйственную сумку, забитую дачным барахлом.

— А счастье было так близко, — продолжал кривляться и гримасничать бродяжка, — так возможно! Я ведь прямо видел себя в малиновом халате с кисточками, в чистых носках, у телевизора с рюмкой шерри-бренди в руках. — Он не торопясь снял фуфайку и принялся ее старательно выжимать. — Но господь не дал мне пасть так низко. Он вообще меня любит, этот Господь. Стоит мне замутить какую-нибудь подлянку, так сразу появляется этот чертов Господь и деловито тычет меня носом в дерьмо. Добрый такой, заботливый...

— Слушай, — Воронин успокоился и заговорил каким-то странным, чужим голосом того, второго, добавочного Воронина, — как ты думаешь, ежели я тебя сейчас пристрелю, тут еще два патрона есть, или, того лучше, утоплю в ручье, — тебя хватятся, будут искать, родня переполошится? А? Нет? А ежели тебя через недельку отыщут вот тут, вспухшего и вонючего, возбудят уголовное дело, придет следователь по особо важным делам из областной прокуратуры, будут опрашивать свидетелей, дело возьмут под особый контроль? А? Не слышу!

Бродяжка, продолжая выжимать одежду, криво усмехнулся и мотнул головой. Во взгляде его было раздражение, настороженность, даже насмешка. Страх не было.

— Нет? Знаешь, я тоже так считаю. А теперь ответь мне с трех раз, почему я этого не делаю? Хотя должен бы. Ну по всему. Тебя жалко? Неправильный ответ. Боюсь? Тоже не то. Не знаешь? Знай. Потому что я — не убийца. И ты это запомни. И уж постарайся забыть обо мне, и больше мне на глаза не попадайся. Все. Упаси бог следить, куда я пойду.

Он повернулся и быстро, не оборачиваясь, зашагал к станции. Шел сосредоточенной, твердой походкой занятого и спешащего человека.

В тот же день, вечером заставил себя позвонить Шатунову, дело надо было как-то заканчивать. Трубку тотчас схватила его жена, словно давно дожидалась звонка.

— Привет, Галь. Сто лет вроде уже не видались. Позови-ка супруга.

В ответ Галина что-то хмыкнула и бросила трубку. Воронин удивленно перезвонил, однако после трех-четырёх гудков, что-то щелкнуло и вновь остервенело зазвучали короткие гудки.

Пришлось одеваться и ехать, хоть смертельно не хотелось, да и погода испортилась. Благо хоть идти недалеко.

— Кто там?! — голос Галины за дверью был резок и раздражен.

— Ну я это, Галь, я, — смущенно отозвался Воронин.

— Кто это — я?! Много вас тут! Нашелся тоже — «я»! Милицию что ли вызвать, в конце концов!

— Воронин это, Галь. Забыла, что ли? Воронин Павел!

Галина за дверью ойкнула, тут же загремела замками.

— Гос-споди! Ты уж извини меня, не узнала!

Она втащила его в прихожую, тут же коротко всплакнула, прижав к щекам пухлые, полудетские ладони.

— Ну как ты, Паша? Ты уж держись, родной ты мой. Ох, Анька, Анька!..

Галина смотрела на него не столько с сочувствием, сколько с каким-то суеверным страхом. Быстро, однако, успокоилась, шумно высморкалась и осторожно поинтересовалась, по какому он делу явился.

— Да мне бы Колю. Он дома вообще?

Галина смерила его горестным взглядом.

— Ой, Павлуша! Нету его дома, и не знаю, когда теперь и будет. Там он, Паша, там!

— Где это — там? — вздрогнул Воронин.

— Да на Бехтеревском, где. Первое мужское отделение. Добро пожаловать, мир входящему.

Воронин сочувственно цокнул и развел руками:

— Бывает.

— Бывает! — голос Галины стал злым. — Тебе легко говорить — бывает.

Тут же спохватилась, глянула на него виновато.

— Ой, прости меня, пожалуйста... Второй раз уже, Паша. Первый — год с небольшим назад. Тогда пришлось бригаду вызывать. Месяца два он тогда пил без всякого продыху. Под конец совсем одичал, стал дни и ночи путать. Как-то часа в два ночи на работу собрался идти. А потом ему стали землетрясения мерещиться. И еще куницы. Куница, говорит, в доме завелась. Боялся, что во сне какие-то сухожилия ему перегрызет. Однажды ночью такой крик поднял, что соседи милицию хотели вызывать. Еле отговорила. А уж когда он за куницей с топориком стал бегать, я бригаду и вызвала.

Страх божий. Месяц он там пролежал. Под конец, вроде, нормальным совсем стал. Завязал, говорит, окончательно. Какой там! Дня не прошло после выписки, как квасить начал. Ну вот недавно опять крыша съехала. Недели две пил страшно. Вообще не прекращал, даже по ночам пил. Сколько задолжал — страшно сказать. Потом перестал, вроде, после сердечного приступа. А как перестал, так ему стали снайперы видаться. На крышах. На нас с Люськой орал, чтоб мы на корточках по дому ходили, а то, говорит, подстрелят. Я-то что, я и похожу, лишь бы он успокоился, а Люську, дылду, пожалуй, заставишь на корточках-то! Она сама кого хочешь заставит. А потом он мне говорит: ты их отвлеки, снайперов, значит, а я, говорит, сейчас к Пашке съезжу. Ну, к тебе в смысле. У Пашки, говорит, мой пистолет хранится. Отобьемся. Представляешь? Я говорю, Коль, какой такой у Паши пистолет! Он не слушает. Так и сбежал. Да еще три червонца у Люськи из сумочки вынул. Был он у тебя, кстати?

— Заходил. Я, правда, так и не понял, чего ему нужно было.

— Вот и я говорю. Вернулся злющий такой. Я, говорит, понял — Пашка Воронин с ними заодно. Затаился, говорит, темнит. Совесть, говорит, у Пашки нечиста, по всему видать. Он, говорит, человека из моего пистолета застрелил, после выбросил пистолет, вот и боится. Я уж тебе, Паша все как на духу. После на работу пошел. А я с дежурства, дома сижу. Через час возвращается. Как подменили. Не знаю, что там с ним приключилось, но опять белый весь, трясется. Сразу лег. Потом плакать начал, кричал, что вены себе порежет, что он последняя сволочь. Ну вены-то порезать он на дню по три раза обещает, это не новость. А вот что сволочь он — это в первый раз. Обычно-то у него другие все сволочи, и я в первом ряду. А он — дитя добра и света. А тут — вот так. А потом одеваться стал. Я думаю, опять деньги шакалить будет, душа, мол, горит. А он говорит: проводи, говорит, Галина, меня на Бехтеревку. Вот такие дела у нас. Я ему, между прочим, по дороге сказала: помнишь, говорю, что про пистолет-то говорил? Он рукой машет, брось, мол. Сдвиг по фазе.

— Слушай, а может, мне к нему зайти? К Коле.

Никуда, конечно, идти не хотелось, но тот, второй, добавочный Воронин решил, что это необходимо, причем мягко посоветовал облечь все это в виньетку дружеского участия.

— Сходить? — Галина с сомнением покачала головой. — Не знаю уж. Он вообще-то просил не распространяться. Хотя тебе-то можно, конечно...

Психбольница располагалась в безымянном тупиковом переулке, который по этому случаю с незапамятных времен окрестили Бехтеревским. Он прошел мимо вахтера, который шумно ел что-то из банки и неопределенно махнул ему рукой — иди, мол. Поднявшись на второй этаж, он долго давил на безмолвную кнопку звонка, пока не понял, что тот не работает, пришлось стучать. Дверь отворила пожилая сестра с бескровным, мышинным лицом и раздраженно справилась, к кому он. Воронин церемонно ответил, назвав больного по имени-отчеству.

«Шатунова позови. Того, рыжего из двадцать шестой», — по-хозяйски скомандовала она испитому коротышке, и тот торопливо кинулся исполнять ныряющей походкой инвалида.

Завидев Воронина, Шатунов не удивился, равнодушно протянул ему вялую прохладную ладонь.

— А я вот отдыхаю, — деревянно хохотнул он и развел вокруг себя руками. — А что? Кругом уют и участие.

— Что врачи говорят?

— А что врачи говорят. Истинную правду говорят. Пить — здоровью вредить, говорят. Не могу не согласиться.

— Никак завязываешь? — тускло поинтересовался Воронин.

— Некорректная постановка вопроса, — нахмурился Шатунов и тут же оборвал сам себя. — Ты, Паша, для этого пришел?

Спросил холодно, глядя в сторону.

— Я? — Воронин через силу улыбнулся, — нет, конечно, просто...

— Вот и я говорю. В общем, так. — Шатунов перешел на полусшепот. Глядел по-прежнему безучастно в сторону. — Про пистолет забудь. То есть вообще, с концами. Нет никакого пистолета, и не было никогда. Считай, это у меня глюки были, бредуха белогорячечная. И Галка должна так считать. Да так оно и было, в общем-то. — Отвернулся к окну. — Ты — это, извини меня за тот разговор. Сам не чуял, чего нес. Я думал, сволочи только в кино бывают. Оказывается, в жизни есть. Кто бы мог подумать. Такая вот фигня-муйня.

— Погоди, ты про кого?

— Про кого. Про себя любимого. До меня только потом дошло, какая я сволочь.

— Ей-богу, не понял.

— Все ты понял, — Шатунов невесело усмехнулся. — Не знаю я, что у тебя там приключилось, и не мое это дело. Ты давай, Паша. Не надо тебе тут...

— Коля, я...
— Иди, иди. Ей-богу, не надо. Как все пройдет, уляжется, встретимся, поговорим. А сейчас — иди.
Свидание закончено.
Он кивнул и побрел, не оборачиваясь, назад, шаркая шлепанцами.
Только на улице Воронин вспомнил, что так и не отдал ему пакетик с апельсинами.

САРАНЧА

Странно, но входя в покосившийся, темный проем подъезда, я не испытывал ни малейшего волнения, хотя, пожалуй, еще час назад думал об этом с тягостным содроганием. Однако вошел так, словно ничего особенного, вроде, и не произошло, день как день, вечер как вечер...

— Павел Валерьевич?

Услышав за спиной незнакомый голос, я вздрогнул, но, опять же, так, как вздрогнул бы от неожиданности в любой другой день, тем более, в поздний вечер...

Невысокий, кряжистый человек с широким, как будто заспанным лицом. В сером плаще и старомодной ворсистой узкополой шляпе с раздвоенной тульей. Стоит у окна пролетом выше. Похоже, давно.

— Простите, но я вас не знаю, — я еще раз смерил его намеренно долгим взглядом и хотел отвернуться.

— Ну конечно, не знаете, откуда ж вам меня знать, — добродушно засмеялся незнакомец, легко сбегая вниз по ступеням. Протянул руку, причем как-то странно, снизу вверх. Ладонь была узкой и костистой.

— Давно ждете?

Я спросил так, будто уже знаю, что ему, незнакомцу, от меня надо.

— Признаться, да, — незнакомец почему-то смущенно рассмеялся и встряхнул головой. — Припозднились вы.

— А что? — Я демонстративно вскинул брови. — Я обязан перед кем-то отчитываться?

— Да помилуйте, — незнакомец вскинул руки в притворной обиде. — Какие отчеты! О чем вы.

— В таком случае, простите великодушно, но... время действительно позднее, я сегодня устал.

— Все понимаем! — Незнакомец молитвенно сложил руки. Однако пара слов, если не возражаете.

— Слушаю, — я с деланным равнодушием пожал плечами.

— Что, прямо здесь? — Незнакомец комично развел руками. — Может, пригласите все же. Не стоять же нам в подъезде, как двум выпивохам. Да и разговор будет не подъездный.

Я пожал плечами: не вижу, дескать, смысла, но если вы настаиваете... Просто понял, что избежать разговора едва ли удастся. Демонстративно ссутулившись, залез в карман плаща, достал ключ и почему-то с опаской открыл дверь. В коридоре розово мерцал крохотный ночничок в виде хрустального колокольчика. Анна терпеть не могла входить в темную квартиру. Провел деликатно покашливающего гостя на кухню. Тот присел на краешек табуретки.

— Только бога ради без всяких чаев-кофиев, — протестующе замахал он руками, хоть я и не думал ничего предлагать. — Покурим, если не возражаете.

Не дожидаясь ответа, он явил на свет какую-то темно-сиреневую пачку, щелчком выбил оттуда две оранжевые сигаретные головки.

— Прошу вас.

Я неопределенно пожал плечами. Вдруг вновь ощутил зыбкую нервную дрожь. Сигарету, однако, взял, глянув украдкой, не дрожат ли пальцы. Вроде, ничего. Тотчас услужливо вспыхнула зажигалка.

— Ну — так, — сказал я, глубоко затянувшись. Сигарета, как ни странно, тотчас успокоила. — Я, заметьте, не люблю таинственных незнакомцев. Ну вот не люблю и все. Не люблю служебного лицедейства, не люблю, когда со мной играют, глядят вот так, с прищуром и улыбочкой. Или вы сейчас, сей же момент говорите, что вы от меня хотите, или я выбрасываю сигаретку и прощаюсь с вами навеки. Договорились?

— Разумеется, — лицо незнакомца на какой-то момент вдруг странно переменялось и стало тягостно знакомым. — Я хочу вам помочь. Всего лишь. И не надо улыбаться. А за дурацкую таинственность прошу великодушно прощения. Как-то так само собою вышло. Служебное лицедейство. Шутник, однако, вы.

Он с проворством фокусника извлек откуда-то распахнутую книжицу. А я даже не глянул в нее. Даже пропустил мимо ушей, как незнакомец представился. Майор... Фокин? Лукин? Как-то так.

— Наверное, давно нужно было встретиться. — Незнакомец шумно выдохнул дым и кивнул, словно соглашаясь с самим собой. — М-да. Скажите, Павел Валерьевич, что вы сами думаете по поводу... по поводу того, что случилось с Анной Владимировной?

— А что я могу думать? — я зло скривился. — Разве нам положено что-то еще думать? Несчастный случай, такова версия. Даже не версия, а вердикт.

— Ну, до вердикта еще далеко, уверяю. Я хочу сказать: вы сами верите, что это несчастный случай?

— Хорошо, что спросили! — Я как-то нервно рассмеялся. — На сороковой день после преступления.

— Ага! Так все-таки преступления? — Незнакомец оживился, будто ему сообщили нечто радостное. — Вы считаете...

— Я считаю, что это была моя жена. Понимаете? И я хорошо знаю, какой была моя жена. Не психопатом, не лунатиком. И уж тем более никаких суицидальных наклонностей. Знаете, даже если весь мир, включая меня, разом решил бы покончить с собой, Анна бы этого не сделала ни под каким видом. Даже если б осталась одна во всем мире.

— Интересно сказано, — вновь оживился незнакомец. — Запомню.

— Ну хорошо. А вы? Вы верите?

— Я? Если это вопрос, то отвечу. Нет, не верю. Я тут поговорил с ее сослуживцами, — он достал записную книжку и тотчас принялся читать, близоруко щурясь, то приближая, то отдаляя книжечку от лица. — Муромцевой Ларисой Евгеньевной, Заварзиной Ириной Викторовной...

Гундосит нарочито монотонно, будто боится пропустить.

—...Милькиным Романом Иосифовичем, Ревуцкой Ольгой...

Что-то в нем есть ненастоящее, декоративное что-то. Эти аккуратно подрубленные усики, трапецевидные, седоватые книзу бакенбарды, равнодушно внимательные, дистиллированные глаза. Кажется, зажмуришься, потом откроешь глаза, а его уж и нет, только голос некоторое время повибрирует, а потом и он пропадет.

—...Коломийцевым Кимом Николаевичем, Гурьяновым Виктором Михайловичем...

Вот оно что. Он не сделал многозначительной паузы, не глянул на меня даже мельком, украдкой. Разве что чуточку изменился тон, бровь как будто шевельнулась. Положил книжечку на колено.

— Так вот все как один говорят... Ну примерно то же, что и вы.

— Что вы говорите!

— А вас это удивляет? — Глянул на него неприязненно, так выглядит человек, который неожиданно почувствовал, что его не воспринимают всерьез.

— Нет, ни в коей мере.

— Так. Вот только (*Пауза.*) Гурьянов Виктор Михайлович говорил, что Анна Владимировна была последнее время как бы излишне возбуждена. Хотя оговаривался, что не настолько, чтобы...

— Наложить на себя руки, вы хотели сказать? И что еще такого говорил гражданин Гурьянов?

— Да ничего существенного. Кстати, почему вы говорите о нем в прошедшем времени?

— А в каком? В будущем? Я вообще не расположен говорить о нем.

— Он вам не нравится.

— Да, если честно. И что с того?

— Да ничего. Мне, откровенно говоря, тоже не нравится. Не нравился, точнее. Вы невольно оказались правы. Говорить о нем сегодня можно только в прошедшем времени.

— Что вы хотите этим сказать?

Состояние, как после горячего укола. Однако недоумение, кажется, отображено более ли менее правдоподобно. С оттенком некоторой опаски. Уж не случилось ли, в самом деле, чего с этим Гурьяновым...

— Дело в том, что Виктора Михайловича Гурьянова нашли мертвым. Убитым, точнее.

Так. О Фаике ничего не говорит. Не думаю, чтоб не знал или считал несущественным. Тут другое что-то.

— Вот как. Н-да. (*Пауза.*) Далее глубокомысленно: не думаю, чтоб и это было самоубийством.

— Да уж точно нет. Какое там самоубийство. Стреляли в упор, с двух-трех метров. Бр-р! Прямо дома, кстати. И телохранитель тоже...

— Также убит?! С ума сойти. Этот, как его...

— Мусакаев Фаик Гаджиевич. Оба наповал. Грубо сработано. Как будто даже с вызовом. Нате, мол, вам! Профессионалы так не работают.

— Кто же это мог сделать?

Я вдруг обнаружил, что говорю спокойно, без усилий. Тот добавочный Воронин утвердился во мне прочно и уверенно. Он не был хладнокровен, артистичен, он просто был в полном неведении, вот и все. Он понятия не имел ни о каком загородном доме, темном коридоре, скорчившихся трупах, обо всем этом кровавом кошмаре. Все это существовало, и вполне отчетливо, но как-то отдельно от него. И действительно, кто же это мог сделать?

— Вас это интересует? — Незнакомец, как ему показалось, презрительно пыхнул сигаретой и с силой загасил ее о дно пепельницы.

— Да в общем-то... не то чтобы... хотя с другой стороны... Какие-нибудь версии, наверное, есть?

— Версии всегда есть. Чего-чего, а этого добра всегда достаточно. Ну, — он вдруг переменял тон, — пойду, пожалуй. Вы устали, я устал.

Он поднялся и вдруг, точно спохватившись, внезапно вновь сел.

— Кстати уж о версиях. Наипоследнейший вопрос.

Вновь выползла на свет записная книжка. Полистал зачем-то, хотя ясно, что фамилию помнит без всякой шпаргалки.

—...Та-ак... Ах вот. Че-пик. Анатолий Никитич Чепик. Вам не знаком случайно?

Ну вот. Не за этим ли пожаловали, господин Лукин-Фокин?

— Чепик? — Подумал как бы. — А, Чепик! В общем-то — да. Заочно — очень давно. А лично — буквально недавно. Это бывший муж Анны. Забавная фамилия, правда? Че-пик. Он и на поминках был.

Незнакомец небрежно кивнул, давая понять, что знает.

— Вы его видели только там?

— Ну да. Потом вместе вышли. Разговорились. Мне, признаться, говорить не хотелось, но пришлось. В общем, зашли в кафе. Выпили по чуть-чуть.

— После поминок — еще? Интересно. Ну и разговор о чем, если не секрет?

— О чем? Знаете, не хотелось бы об этом. Это личное.

— Ну как угодно. А он, — незнакомец вдруг комично округлил рот, выпустил несколько дымных колечек, — ничего вам не передавал?

— Передавал. Но это... в общем, к делу отношения не имеет.

— А все-таки.

— Письмо. Письмо от Анны. Анна, когда была жива, естественно, — написала мне письмо. А он его передал. Вот и все.

— Все? То есть, больше ничего? Совсем-совсем?

— Не понимаю.

— Ну и ладно. В таком случае, — тусклое лицо незнакомца вдруг хищно оживилось. — Могу я... краешком глаза, так сказать?

— Нет! — резко оборвал его я. — Право же, нет там ничего такого, что могло бы заинтересовать. Ну нет. Чисто личное, поймите.

Незнакомец кивнул с видом человека, который иного не ждал.

— Как угодно. Хотя жаль. Вы его уничтожили? Письмо.

— Нет, с чего мне его уничтожать.

— В этом письме она упоминала, что ей угрожает опасность?

— Да, пожалуй.

— Говорила, от кого и зачем?

— Нет. Ни намеком.

— А упоминала она — ну хоть намеком — об одном... Хотя, если вы говорите «чисто личное», то, конечно, не упоминала. Что, однако, странно.

— Не пойму, о чем вы говорите.

— Не поймете? Извольте, — незнакомец вдруг подался вперед и заговорил нарочито приглушенным голосом. — На наш взгляд, причиной гибели Анны Владимировны Ворониной явился некий таинственный мини-диск. То есть, «сидишник», только поменьше. Что он содержал, этот диск, не знаю, знаю, что нечто важное. Едва ли информация касалась банка «Центурия». Банк — так себе, грехов за ним немало, но не более, чем за любым другим коммерческим банчишкой-однодневкой. Как диск оказался у Гурьянова, ныне, как вы теперь знаете, покойного — тоже непонятно. Да тут вообще мало что понятно. Как говорится, нестандартная ситуация. Гурьянов — человек случайный. Отсидел в конце семидесятых три года за ограбление аптечного киоска, вышел по амнистии, вот и все его криминальное прошлое. Правда, потом еще задерживался за скупку краденого, но всякий раз отпускали, что-то там не связывалось. В восемьдесят седьмом прошел свидетелем по делу об убийстве Любарского, замдиректора «Скорохода». Помните, наверное. Тогда дело, уже можно сказать законченное, вдруг прикрыли, подследственных отпустили, следственную бригаду расформировали, документы изъяли, а руководитель бригады умер от пневмонии. Вот так вот взял и умер от пневмонии. Именно после той истории Гурьянов стал набирать обороты. Правда, опять же, по мелочи. Ну и венцом его стала «Центурия». Фактически он им владел, хотя, опять-таки, не один, конечно. Формально директором сидит некий Горпин. Этот Горпин — человек, по моим наблюдениям, вялый, subtilный, всерьез его не воспринимал никто, даже подчиненные. Так ведь? К тому же, говорят, патологический игрок да и вообще он, по-моему разумению не вполне здоров. Хотя это и неважно. Так вот, каким образом в этом самом банке мог оказаться мини-диск, о котором я говорил — ума не приложу. Тем не менее он был там, и хранился в сейфе у Анны Владимировны. А информация там была серьезная. Не тутошного, так сказать, масштаба. Тем более непонятно, каким образом в эту историю оказалась

втянута Анна Владимировна. То ли Гурьянов ей во всем доверял, то ли случайно. Вам ничего об этом не известно?

— Абсолютно ничего.

Гость кивнул, иного, опять же, и не ждал. Странно, иногда, когда человек говорит правду, ему кажется, что ему не верят. Зато когда лжет, — убежден, что ложь его неотразима в своей убедительности...

— Понятно. Итак, вольно или невольно Анна Воронина оказалась игроком в игре, условия которой она не знала даже приблизительно. Когда поняла, было поздно.

— Что значит — втянута? Что значит — игроком?!

— Точно сказать не могу. Скорее всего, какое-то время этот чертов диск был у нее, и она решила этим как-то воспользоваться.

— Она что же, его открыла?

— Маловероятно. Практически невозможно. Диск очень хитрый. Любая попытка его открыть вне специально созданной программы тут же активизирует вирус, который попросту убивает ваш компьютер на корню, сжирает винт, как саранча. Он, вирус этот, так и называется, кстати, Локус. Саранча, то есть.

— Забавно. Ну и где он теперь, этот диск с саранчой?

— Хорошо сказано. Именно с саранчой. Да в том-то и дело, что неизвестно. Пропал, натурально пропал бесследно. Ни в офисе Гурьянова, ни на квартире диск не обнаружен. Такой вот печальный факт, граждане.

— А что, был обыск?

— Тщательнейший. И — ничего.

— Так я не понимаю, вы вообще кого ищете? Преступников или диск?

— Вопрос резонный. Ответ очевидный: и то, и другое. Вся взаимосвязано, милейший Павел Валерьевич. Диск этот проклятый действительно чертовски важен. Просто так — пропал, и хрен с ним, — дело не закончится. Я-то знаю. Его будут искать. И мы, и еще много, много кто. И не успокоятся, пока не найдут. Или не убедятся, что он уничтожен. Уже трое погибли за этот диск — ваша жена, Гурьянов и...

— Простите, вы полагаете, что и Гурьянов...

— Да! — резко ответил незнакомец, недовольный, что его перебили. — За что же его еще-то? Вы видите другую причину?

— Нет, но...

— В том-то и дело. Других причин не существует. Так вот, трое уже погибли. И это, возможно, только начало. Не приведи бог, конечно.

— Не пойму вашего назидательного тона. Думаете, от меня что-то зависит?

— Возможно. На всякий случай. Если вам вдруг что-то известно. Ведь кто знает, кто станет следующим.

— Звучит как угроза.

— Э, перестаньте, какие угрозы, вы же сами все прекрасно понимаете...

Незнакомец встал. Выглядел он спокойным и равнодушно уверенным. Заботливо смел со стола ладонь просыпанный пепел, как-то даже застенчиво улыбнулся и вышел в коридор.

По тому, однако, как неторопливо и значительно незнакомец одевался в прихожей, ясно было, что он намерен сказать что-то еще и раздумывает, как бы поэффектней это сделать. Так и оказалось.

— Слушайте, — сказал он вдруг с каким-то странным оживлением в голосе, будто его только что осенило, — я завтра поутру еду туда, на Лесопарковую. Не желаете составить мне компанию?

— Нет, — я качнул головой, отчетливо понимая, что выгляжу спокойным, даже удивленным, а тяжелый, резкий толчок в самое сердце так и остался там, в глубине, не вызвав ни малейшей ряби на поверхности.

— Что так? — в свою очередь изобразил удивление незнакомец. — Не тянет, значит? А я было подумал... А зря, поглядели бы, как там, да что там. Тела убрали, кровь подтерли. Вы ведь не бывали там ни разу. Или бывали?

— Бывал. Только давно.

— И не тянет?

— Совсем не тянет.

— И хорошо. Как угодно. Что там, в самом деле, делать. Темно, страшно, кровью пахнет. Кровь все равно пахнет, сколько ни подтирай. Однако спешу откланяться. Простите великодушно за беспокойство.

ЖРИЦА

Среди ночи его разбудил телефонный звонок. Он схватил трубку, еще толком не проснувшись, рыкнул сиплое со сна «слушаю». Ответом было хаотически потрескивающее молчание, затем — нечто похожее на едва различимый человеческий шепот, затем, кажется, протяжный, всхлип. «Да. Говорите», — произнес он чужим, севшим голосом. Гудки. Он осторожно, точно боясь спугнуть кого-то, дрожащей рукой положил трубку. Вспомнил, что *тогда* был звонок примерно в это же время. Следующий звонок последовал почти сразу. Воронин взял трубку, говорить не стал. Вновь тишина, частое сухое потрескивание. «Да!!! — потеряв терпение, закричал Воронин и, не дождавшись, в ярости швырнул трубку. Встал, почему-то покачиваясь, пошел на кухню, на ощупь, безошибочно нашел на навесном шкафчике початую пачку сигарет. Аниных. Дежурная пачка. Надо же — вспомнил. Пересушенные сигареты сухо зашелестели под пальцами. Присел на табурет, закурил. Руки по-прежнему дрожат. Дым мягким толчком ушел внутрь. Стало чуть спокойнее, хоть и запершило в гортани и с непривычки закружилась голова. В комнате вновь ожил телефон. Воронин подавил в себе желание побежать к трубке. Он, обжигая пальцы, стиснул сигарету в кулаке, затем раздавил в тарелке. Плохо, что выпить нет ничего. Все Шатунов выпил. Телефон не унимался. Надо взять, так с ума можно сойти. Взял и с поразившим его спокойствием произнес: «Да. Я вас слушаю». Вновь песочное потрескивание, вздохи. Затем голос. Далекый, как из междугородной. И вдруг — громче. «Павлик... Павлик». — «Кто говорит?» — «Павлик. Мне очень плохо. Очень. Помоги мне». — «Кто говорит, кому помочь?!» — «Зачем ты это сделал, Павлик! Мне очень плохо. Помоги мне, Павлик, я тебя умоляю. Спаси свою душу, Павлик. И мою спаси. Это Анна, неужели ты не понимаешь...» Воронин стиснул трубку в кулаке и положил на колено. Там продолжал настойчиво ворковать чужой голос. Наконец он глубоко вздохнул, встряхнул головой и вновь прижал трубку к уху. «...это страшное мучение держит меня, Павлик. Это хуже ада, это хуже всего. Павлик, если ты когда-нибудь меня любил...»

«Вот что, девушка. Если вы еще хоть раз позвоните по этому телефону, я клянусь, вам придется скверно. Знаете, почему? Потому что вы делаете скверное дело. Не испытывайте судьбу. Вешайте трубку и идите спать. Сообщаю, между прочим, Анна никогда не называла меня Павликом. Никогда. Не любила она этого слова. Теперь прощайте.»

Спокойно и степенно, точно завершив обыденный, пустячный разговор, положил трубку. Так же спокойно оделся, надел плащ и вышел во двор. Там был недавно открытый круглосуточный типовой магазинчик «Жанна». Продащица отчего-то глянула на него удивленно, а когда он попросил бутылку водки, удивилась того более. Однако когда он вернулся домой, холодная, ознобная дрожь вдруг как-то сама собой прошла. Он повертел бутылку в руках и равнодушно поставил в шкаф.

Регина открыла дверь не сразу, после третьего звонка. Воронин уже собрался уходить, когда послышалось недовольное «кто там?» Хотел назвать, но дверной глазок мигнул светом и многосложно лягнул замок.

Одета она была не по-домашнему — в открытой, едва доходящей до пояса блузе, обтягивающих черных джинсах и при полном макияже.

— Ждешь кого? — спросил Воронин, уловив в ее лице тень разочарования и некоторое подобие улыбки.

— А! — Регина махнула рукой и принужденно засмеялась. — Уже нет. Уже два часа, как нет. А что, видно? Тогда можешь считать, что тебя ждала. Заходи, сто лет не виделись. Очень, между прочим, кстати.

Регина, похоже, действительно кого-то ждала. Было заметно: обычный пестрый бедлам, который бытовал в ее доме, сменился наспех наведенным ураганным порядком, когда привольно лежащие где ни попадя вещи, торопливой, бездумной силой распахиваются по полкам и ящикам. Регина, что-то приговаривая под нос, быстро втолкнула его в кухню. Зато там царил привычный, вольготный бардак, не оскверненный уборкой. Боковым взглядом Воронин успел уловить в проходной комнате маленький, прихотливо накрытый столик. На двоих. Два высоких приталенных дымчатых бокала. О, Регина, мерцающая порочная звезда, душная греза холостяков, тайная, бессонная страсть добропорядочных отцов семейств, с кошачьей походкой мулатки и насмешливым прищуром неразгаданной души! Никогда не мог понять, что их объединяло — Анну и ее.

— Две недели? Всего? Быть не может, — словно сквозь сон бормотала Регина, склонившись перед раскрытым холодильником.

На свет была извлечена чуть початая бутылка коньяка, какая-то затейливая пластиковая коробка с консервированными фруктами, синтетический бело-розовый окорочок. «Две недели, две недели, — продолжала бессмысленно бормотать Регина, — по этому поводу надо...»

— Слушай, а ты часом не — уже? — поинтересовался Воронин, ибо еще в прихожей уловил знакомый пряноватый дух.

— Может, — и уже. Имею право, — вновь нараспев сказала Регина. Ее слегка качнуло, она раскинула руки, нахмурилась, сказала себе «Сто-ять!» и рассмеялась. Однако вдруг осеклась и нервно всплеснула руками. — Слушай! Ты, небось, и не знаешь, что случилось-то!

— Ты о чем?

— О Гурьянове!

— А-а. Слыхал.

— Кошмар, правда?.. Погоди, а ты-то откуда знаешь?

— А ты откуда?

— Позвонили, сказали добрые люди.

— Вот и мне. Пришел добрый человек да и сказал. Кстати, почему, собственно, — кошмар?

Воронин не договорил, с трудом загнав вовнутрь душную волну злости.

— Как это почему? — Регина растерялась. — Убили людей, сразу двоих.

— Регина, я что-то не пойму, ты в самом деле считаешь, что я должен горестно оплакивать этих людей?

Регина некоторое время молчала, искоса поглядывая на него.

— Да не в этом дело. Просто люди, которых еще недавно видела живыми, здоровыми, вдруг — в луже крови, мертвые... Оба... Ужас!

— А ты часто виделась с ними?

— Слушай, я не понимаю твоего тона.

— Это как угодно. Мне просто хочется знать: когда *они* убили *ее*, ты тоже говорила «кошмар!» или отнеслась с пониманием? У них не было выбора. Ну, что там еще говорят в таких случаях современно мыслящие дамы. Или ты тоже считаешь, что это был несчастный случай?

Регина наконец села, глянула на него исподлобья.

— Знаешь, Паша, — сказала она, помолчав, — во всей этой истории мне по-настоящему жаль одного тебя.

— Так. А что Анна?

— Анна! — Регина в нервном возбуждении сунула в рот сигарету, закурила, потом почему-то выматерившись, скомкала ее в пепельнице, взяла другую, снова закурила, тотчас закашлялась, разгоняя рукой дым.

— Ты меня прости, сама не чую, что несу. Жалко! Да конечно, мне жалко. Мне вообще всех жалко. Особенно когда выпью. Но жалость это штука бездумная, она существует как фон, понимаешь? Анна знала, на что шла. И когда можно было остановиться, она не остановилась. Если бы она с самого начала со мной посоветовалась, может, ничего бы и не было. То есть, все было бы как прежде: ты — Анна, долгий сериал о счастливой семейной паре. Мир, покой, домашние тапочки. Правда, не надолго. Что-нибудь все равно приключилось бы потом... Господи, ну почему все мужики ни черта не видят?! Или как перископы, — видят то, что сами хотят. Ты не понял, что с ней творилось последний год, да? Не понял, что той, прежней Аньки Ковалевой, добродушной хохотушки, балующейся стишками, давно нет? Если она вообще была. Стишки-то были, а добродушия не было никогда. Доброжелательность была, общительность. Добродушия не было. Она ж тебя выращивала, как росток в теплице, и ты знал о ней то, что она хотела, чтоб ты знал. И не более.

Регина говорила вполголоса с каким-то усталым, придушенным надрывом, голос у нее то плаксиво влажнел и вздрагивал, то агрессивно топорщился. Воронин слушал ее, не перебивая, хотя чувствовал, что Регина порой и сама хочет, чтоб ее перебили.

Помолчала некоторое время, затем как-то виновато улыбнувшись, нацедила себе в рюмочку коньяк, вначале на доньшко, затем полную, зажмурилась и залпом выпила.

— Я-то вначале думала, что все на свои места станет. Ты меня слушаешь? Перебесится, думала, не впервой. Место у нее стоящее, секретарша директора банка, чего еще? Считаю, второе лицо. Да еще когда шеф — полный бамбук. Однажды какая-то мелкая сикучка, от горшка два вершка, ей походя сказанула, типа, знаете, Анна Владимировна, свое место. Видела ту девку, бледный переспелок, с шефом грамотно перепихнулась, стала обороты набирать. Решила показать фасон. Цапля дурная, разве можно такое говорить, да еще таким, как Анна. Ну она и завелась. И как-то на людях, при ее высоком покровителе, ей высказала. Что-то вроде того, что влагалище не может бесконечно долго заменять мозги. Ха, у босса чуть кофе носом не пошел! Она мне об этом рассказывает, сама смеется, а я говорю, звездац, Анюта, гладь шнурки и зри в перспективу. Да шеф ей и сам сказал: пишите, заявление, и чтоб через неделю вас тут близко не было. Там же, считай, почти все барышни через такой тренаж прошли. Неделя, однако, проходит, я спрашиваю: ты работу-то нашла? А она, вроде, удивляется, с чего, мол? А потом: ах ты вон о чем, ну, это, вроде, такой пустяк, что я и думать забыла. Разговор этот, кстати, случился как раз через неделю после юбилея Гурьянова, ныне покойного. А бикса та нахальная потом

написала заявление и ушла, даже не вякнув, тихо на цырлах. И забыли о ней еще раньше, чем за ней закрылась дверь. А еще через неделю — у Горпина, у нутрии белохвостой, приключился гипертонический криз, увезли его на скорой. С месяц пролежал в клинике, вот какой криз. А знающие люди говорят — элениума наглотался Олег Эдуардович, да к тому ж с сильного бодуна. Как еще жив остался, не зря говорят, дерьмо не тонет... Та-ак. А чево-то я все одна, а? Сiju и накушиваюсь, как одинокая путана?

Так я о чем? А, про Горпина. Короче, по всему выходило, что получил он от Гурьянова фитиль, за что непонятно, но, как говорится, по самое пенсне. А это не как раньше: партсобрание, выговор, страсти полны штаны. Сейчас по-другому, сам понимаешь... Паша, кроме шуток, махни рюмку за компанию, а то это даже неприлично... Вот, так оно лучше.

В общем, когда Горпин вышел на работу после больницы, выглядел он как заводной Буратино, голова набок, ходит, как на шарнирах. С ним и обращались соответственно. С Анной вообще говорил трепетным фальцетом. Там еще был такой Вадим. Вадим Вдовин. Знаешь такого?

— Знаю, — Воронин скривился. — Я-то знаю, ты-то откуда знаешь?

— Я вообще знаю больше, чем многие думают, что я знаю. Знание не вредно, вредно излишество. А?! Как-то я, вроде, путано выражаюсь. Павлик, у тебя еще не сохлось в горле? У меня — да.

— Регина, а тебе, кажется, достаточно.

— Подумаю об этом. Но не сейчас. Твое здоровье.

Регина хотела артистично вбросить в себя содержимое рюмки, но вышло как-то неловко, она залила себе подбородок, нахмурилась, затем рассмеялась и махнула рукой.

— И-и, точно, хватит... Так я о Вадиме. Он, барбос, тогда решил, видимо, что пришел его звездный час. Еще бы, у него ведь образование — полтора курса техникума легкой промышленности. И к тому же тупой, как бабуин. Решил Аньку использовать! Нашел сообщницу. Даже всерьез надумал ее соблазнить. Чтоб наверняка. На дачу съездить зазывал. Хотя сам он — одноразовая штучка, которым только подтереться да выбросить. Так бы оно и было, и подтерлись бы и выбросили, если б не та история. И вышло так, что он, жабеныш, оказался прав! Не зря говорят, дураки не ошибаются. В общем, сейчас он — ИО. И скорее всего сядет в кресло. В самое ближайшее время. Вот так. Заслужил, видать.

— Заслужил. Уж он-то заслужил, — Воронин вновь с усилием сглотнул едкий ком ненависти. — Не представляешь себе, *как* заслужил.

— Вон даже как. Расскажешь при случае.

— При случае. А что Горпин?

— Горпин на Бехтеревском. На заслуженном отдыхе. Всем привет передает, улыбается и штаны подтягивает. И бог с ним... Так вот, вскоре после этого и возник этот окаянный диск. Ты и про него знаешь? Чудеса! Все от того же доброго человека? Так я про диск этот. Чего ее потянуло? Гурьянов ей его своей рукой дал, мол, пусть, у тебя хранится. Оно и понятно, случись что, кто такую вещь у секретарши искать будет?

— Да нет, не в том дело. Так что же, Гурьянов знал, что диск у нее? С самого начала знал?!

— Еще бы? Конечно, знал.

— Тогда в чем дело? Он же прекрасно знал, что прочесть его Анна никак не могла! Открыть-то его невозможно.

— Погоди, погоди, — Регина округлила глаза, — что значит — не могла! Опять этот добрый человечек сказал? Так вот, это для него невозможно. И для Гурьянова с Вадимом невозможно. Открыла она его, как миленького. Это ж Анька! Ну не сразу, правда. Со второго захода. Один винт запорол вчистую. Какой-то левый, неучтенный. Она как увидела этого кузнечика, так сразу поняла и винт на всякий случай поменяла.

— Погоди, какого еще кузнечика?

— Да бог его знает. Кузнечик там какой-то появлялся, Анька рассказывала. Начинаешь открывать диск, появляется кузнечик. Зеленый, прыгучий, кланяется, зубы скалит, лапой машет, указания дает, выберите, мол, директорию, да введите серийный номер, да наберите дату вашего рождения или даже девичью фамилию вашей матери. Хрень, в общем, какую-то. И каждый раз — вэлком да вэлком! Вот-вот, вроде, откроюсь. И под самый конец — поздравляю вас, нажмите *Ok*. А потом — чпок! — кузнечик вырастает, клацает зубами и винт накрывается, извините, звездой. Ну, она винт сменила. Стала по-умному. Дня три, говорит, билась...

— Так она его все-таки открыла.

— Диск-то? О том и речь. Иначе, кто ж ее тронул бы. Она говорила, мол, Локис этот — полная туфта.

— Локус, наверное.

— Да, да, Локус. То есть не туфта, а нормальная недоделка. Из него можно было сделать мощную сторожевую программу, если б до конца дело довести. А не довели, и получилась этакая брони-

рованная дверь с замком от почтового ящичка. Это опять же ее слова. Вот тебе и Локис.

— Локус, — вновь рассеянно поправил ее Воронин.

— Ну Локус! — Регина вдруг раздраженно пыхнула сигареткой. — Что же ты ко мне пришел, раз без меня все знаешь?

— Не все, как выясняется.

— Не все, — Регина кивнула и вновь недобро прищурилась, — а хочешь, я тебе скажу что-то, чего ты точно не знаешь?

— Расскажи, — он вдруг почувствовал тоскливый ледяной озноб.

— А я и расскажу. Только я не уверена, что оно тебе нужно. Ты ведь Толю Чепика видел, мужа ее бывшего? Говорил с ним? Что он тебе рассказывал? Можешь не говорить, сама угадаю. Он сказал: когда Анна почувала опасность, она нашла его и попросила приехать? Так?

— Так. Это неправда?

— Нет, почему, правда. Но, как водится, не вся. Анька его вызвала с самого начала. Подстраховаться. Она ж не дура, отлично знала, что к чему. Сразу ко мне: срочно найди...

— А ты и его знала?

— Кого, Чепика? — Регина невесело рассмеялась. — Паша, кому ж его знать, как не мне. Как мне не знать, ежели я сама его в оны дни с Анной познакомила! Удивляешься? Я сама удивляюсь. История — банальней не бывает. Курортная любовь. Молодая, недурная собой аспирантка едет в Сочи. То есть я. А там — мужественный красавец на фоне кипарисов. Ален Делон с двумя пулевыми шрамами на боку и с татуировкой «Кундуз — 1980» на загорелом плече. Кундуз — это город такой в Афганистане. Черное море померкло в глазах. Безумный роман, безумное прощание на Адлерском вокзале. Два месяца переписки. «Память о ночах с тобой не дает мне сомкнуть глаз...» Это со мной. Наконец он приезжает в наш город. Я с аэропорта везу его на Пархоменко, там Анька квартиру снимала. Я тогда с родителями жила. Дружеская вечеринка, как водится, за встречу, туда-сюда. Анька сидит чинно, в разговор не лезет, сидит в кресле с ногами, сигаретки курит, головой кивает, улыбается. Улыбаться-то Анька умела. И ножки показать. Однако время за полночь, Анна, как было договорено, идет ночевать к сестре. Я ее как бы отговариваю, куда, мол, ты, ведь так поздно. А потом говорю: «Толя, посади девушку на такси». Они уходят. И он возвращается утром. Ничего не объясняет. Он вообще никогда ничего не объясняет. Через день уезжает в свой Нижневартовск. С Анной, как ты догадался. Вот такая любовь.

Регина, криво улыбнувшись, неверной рукой наливает себе рюмку.

— Выпей, Паша, и ты. Раскрутил ты меня.

Воронин вдруг кивает и торопливо наливает себе. Коньяк входит в него темной пахучей волной. Регина отпила, рассмеялась и картинно замахала пальцами перед самым лицом, как бы подсушивая ресницы.

— Вот так. Ну а вернулась она, ты знаешь, года через два. Как ни в чем не бывало, сразу ко мне. О нем — ни полслова. Смеется только: командировка по обмену опытом, говорит, закончена.

А нынче в конце лета приходит как-то вечером с бутылкой какого-то «Мартини», смеется, анекдот какой-то силилась рассказать, так и не вспомнила до конца. Хотя она их вообще не любила, эти анекдоты. А перед самым уходом — так, как будто о пустячке сущем: ты, случайно не знаешь, где нынче обретается Чепик, наш с тобой общий бывший друг-супруг? Знаю, говорю. Небось, и телефон знаешь? А как, говорю, не знать. Тебе, между прочим, зачем? Да так, говорит, может, сгодится на что. Ох и не хотелось мне его давать, а дала, не пикнула даже. Так он, не поверишь, через день был здесь. Я ведь вначале не поняла, что к чему, подумала, мол, чувства старые взыграли. Дура старая. Она мне только потом все рассказала, примерно за неделю до... Сидела вот тут, где ты сейчас, да и рассказывала. Как рассказала, рассмеялась и говорит: «Решка, рот закрой, я закончила уже». Решкой она меня звала иногда. Я говорю, ну и что дальше? А это уж, говорит, как фишка ляжет...

А вот дальше уже непонятно. Ведь она на встречу эту самую должна была вместе с Чепиком идти. Это мыслилось в ночном клубе «Акапулько», где-то около «Центурии». И уж как они среди ночи оказались в банке, в приемной, да без Чепика, — того уж не знаю. Сам он молчит, огрызается только. Думала, может, сегодня узнаю...

— Так это ты его сегодня ждала?

Сказал так, будто только что догадался, хотя понял почему-то почти сразу. Регина, однако, не успела ответить. Коротко и зло бибикнул дверной звонок. Она испуганно встрепелулась, глянула на Воронина широко, жалобно раскрытыми глазами, будто ища у него защиты непонятно от кого. Звонок прозвучал еще, отрывистой и нетерпеливой.

— Открывай, что сидишь, — Воронин насмешливо прищурился. — Вот и пришел твой гость долгожданный. Сейчас все и узнаешь. Если, конечно, в самом деле хочешь узнать.

Регина растерянно кивнула и, торопливо сбрасывая шлепанцы, заторопилась открывать. Некоторое время в прихожей слышалась какая-то долгая суетливая канитель, приглушенные реплики. «Тебя

только вспоминали. Долго жить будешь...»

Затем появилась Регина, она виновато посмотрела на него и для чего-то умоляюще сложила на груди ладони. Воронин усмехнулся и кивнул, уняв невесть откуда взявшуюся волну тягостной мелкой дрожи. Ну и наконец вошел Чепик. Он показался ему немного другим, чем тогда, в кафе «Чипполино». Ростом меньше, что ли. Волосы влажные приглаживает пятерней. Видно, дождь на улице.

Не взглянув на Воронина, гость шумно выдвинул из-под стола ногой табурет и сел, широко, по-хозяйски расставив ноги. Взял со стола сигарету, закурил, затем небрежно повертел в руках бутылку коньяка, понюхал для чего-то из горлышка, сморщился и поставил на стол, потом принялся шумно катать по столу зажигалку. Зажег, в упор посмотрел на синеватый в прожилках лепесток пламени, загасил пальцем... Воронин вдруг вспомнил, что именно так же, вольно расставив широко ноги и цвиркая зажигалкой, сидел на той, давней кухне Фаик...

— Что морщишься? — тотчас спросил Чепик. — Не нравлюсь?

— Не нравишься, — кивнул Воронин.

— Хоть откровенно, — Чепик, фыркнув, выдохнул дым. — Ну и что там Анна написала в письме? Поделись, мы же родственники какие ни есть. Если не секрет, конечно.

— Да конечно не секрет. Какой там секрет, когда ты его раньше меня прочел. Так, чисто родственному. А? Меня в этом плане обмануть сложно. Я все-таки химик по специальности.

— Я прочел?! — Чепик вдруг побагровел.

— Вот, видишь. Прочел. Прийти не успел, а уж врать начинаешь. Так что говорить нам с тобой как бы не о чем.

— Смело рассуждаешь, смело. — Чепик, расплескав, налил себе коньяк, выпил единым глотком, привычно сморщился. — А вот скажи мне, умник, почему Анна, когда гром грянул, обратилась ко мне? Не к тебе, законному супругу, а ко мне, забытой тени прошлого? Тебе такой вопрос в голову не приходил? Ну конечно, не приходил! С чего бы ему!

— Приходил. В том-то и дело. И ты знаешь, я так и не понял. А в самом деле, зачем? Зачем ты приехал, красивый, мускулистый мачо? Играть мышцами, ботать по фене?

— Слушай, ты! — у Чепика перехватило дыхание. — Что ты, ты, вообще можешь понимать! Тебя, юродивого, никто и не спрашивал! Потому что ничего другого, как «надо немедленно позвонить в милицию», ты бы не выдумал.

— Ну почему же не могу понимать? Я понимаю одно: она — там. А ты здесь! Сидишь, раскорячив ляжки, цвиркаешь. И не играй желваками, ты сейчас можешь сделать со мной что угодно, только не напугать. Письмо ты прочитал, не мог не прочитать, а вдруг покойница чего лишнего написала? Мог не суетиться, Анна никого не предавала. В отличие от некоторых присутствующих. Так ты мне не ответил, мачо, *зачем* приехал? Зачем врал там, в кафе, сочинял сказку про героя-спасителя? Не хочешь? Не хочешь?! Так я сам отвечу...

— Паша, что ты говоришь! — Регина прижала ладони к лицу и глянула на него округлившимися от ужаса глазами. — Толя приехал ей помочь, это правда! Толя, бога ради, не слушай его, он сам не знает, что говорит. Видишь, его трясет всего...

— Вижу. Потому не трогаю. Сам загнетса от злобы. Впрямь трясется весь. И кухню не хочу твою портить, мы ж с тобой друзья как-никак.

Чепик неторопливо глянул на часы, в притворном удивлении вскинул брови и поднялся.

— Так ты мне не все сказал, Чепик, — произнес, не оборачиваясь, Воронин, с удивлением обнаружив, что его впрямь колотит дрожь.

— Не все, правильно. Хочешь, скажу еще кое-что? Знаю, что хочешь. Анна хотела, ежели все закончится миром, уехать со мной. В Нижневартовск. Вот потому-то я и приехал. Так что прощай, страдалец!

У Воронина разом перехватило дыхание.

— Тогда... тогда почему ты оставил ее одну! Почему она оказалась одна с ними! Где был ты, дерьмо?! Где?!

Он выкрикивал все это и, не в силах совладать с душившей его ненавистью, бил кулаком по столу.

— Он ушел, Паша, — сухо сказала Регина, вернувшись из прихожей, глянула на него отчужденно сверху вниз. — Так что можешь прекратить ломать комедию. Теперь все знаешь? Размотал клубок? А коли размотал, так уходи, я устала. Только не сию минуту, а то нарвешься, чего доброго, на Чепика... Посуду мне перебил, шизик чертов. Руку себе порезал. Лечиться тебе надо, Воронин. Больница по тебе плачет.

— Это может быть. И все-таки, почему она оказалась одна? Ну там, в «Центурии» этой?

— Слушай, я ведь тебе говорила об этом. Хватит уже! Голова трещит!

— Это неправда, — сказал, не слушая ее, Воронин, и вдруг невесело усмехнулся. — Обыкновенная неправда. Они сидели в «Акапулько», да?

— Ну да, да, сидели! Потом Анна пошла с ними, а Толя...

— Стоп! Вот это и есть самое вранье. Анна ушла *одна*, без них. Должна была вернуться с диском, а они должны были ее дожидаться, заполучить диск и разойтись. А они вдруг вскоре встали и пошли за ней следом. Чепик это видел, и *знал*, куда и зачем они пошли. И что твой мачо? А ничего, допил спокойно свою текилу и пошел восвояси. Куда? К тебе в теплую спальню?!

— В какую спальню... что ты несешь!

— Когда я тебе звонил, ты была не одна. Ты уже тогда знала, что они сделали с Анной, или он тебе позже в горячее ушко нашептал?

Регина не ответив, отошла к окну и закурила.

— Что ты пристал. Ничего я не знала. Боялась — да. И сейчас боюсь. Когда ты тогда ко мне позвонил, я сначала подумала: Анька! Слава богу. Обошлось. Как твой голос услышала, поняла — все! Той ночью Чепик у меня был, это ты прав. Только он ничего не говорил. Что ему говорить, он вообще лыка не вязал. Утром чуть свет ушел. Я понимаю, Паша, для тебя сейчас все, кто возле нее тогда был, — виноваты, мол, спасти могли, а не спасли. Может, пройдет время, сам поймешь, что не совсем это все так. И что мы, может, не виноватей тебя.

Регина отвернулась к окну.

— Зонт забыл, — сказала она вдруг рассеянно.

— Чего? Какой зонт?

— Я про Толика. Зонт забыл в прихожей, а на улице дождь.

— Ну, значит вернется. Хотя бы за зонтом.

— Нет, — Регина так же отрешенно покачала головой. — Теперь уж — ни-ког-да!

— Слушай, а это правда? Я не про зонт, я по поводу...

— Правда, — сумрачно кивнула Регина.

— Ты не поняла, о чем я.

— Все я поняла, — хмуро ответила Регина. — Насчет Аньки, да? Сама она мне про это сказала. Если, говорит, все обойдется, уеду с ним. Такие дела. Никогда бы не подумала, что буду тебе об этом говорить. Ты пойми, она ведь... его — его и только его. Я это только тогда поняла. Все это время. А ты?.. Даже не знаю... Она о тебе всегда говорила — до самого конца, между прочим, — «он самый лучший на свете»! Вот так. Все это хорошо, только знаешь, поверь мне, когда любят, так не говорят. Ну не говорят так, и все! Я-то знаю, Паша, я же ведь жрица любви, сам говорил. Так говорят, когда хотят кого-то обмануть, себя или других.

Регина хотела налить еще, потом передумала, закурила, и вдруг расплакалась, резко поднялась и вновь отошла к окну.

— Она сначала себя убеждала, потом перестала, — вновь заговорила она, неподвижно глядя в окно, всхлипывая и водя пальцем по стеклу. — Я, помню, долго допытывалась, почему они тогда расстались-то. Ну с Чепиком. Рассказала наконец. И то больше намеками. В общем, он ей как-то изменил. Так, с девкой какой-то, по мелочи. Ну как обычно. Делов-то. А когда она ему об этом сказала, резковато, возможно, — ударил ее по лицу. Так, по-простому, без отмашки. Чтоб, вроде, место знала. Несильно, но кровь носом пошла. У нее вообще нос слабый. А уж такой букет Анька не прощает. В тот же вечер собрала шмотки, что под руку попало, и — на вокзал. Они же жили не расписанные. Самое главное, он ее даже не удерживал. Знал, что бесполезно. И не писал. Правда, через год попросил меня устроить им встречу. Я устроила, что ж не устроить. Хоть она уже с тобой была тогда, ты меня прости. Он приехал сюда, ждал, а она, как увидела его, даже пальто снимать не стала. Дверью — хлоп! Мы потом месяц с ней не разговаривали. Вот так...

— Она, когда приехала из Нижневартовска, — продолжала Регина, — сама не своя была. Даже боязно было. Лежала у меня на кушетке, курила в потолок, говорила всякую ерунду. Заговариваться начала. Как-то я ей про тебя сказала, мол, Пашка Воронин из своей степи вернулся. Она рукой махнула. Это, говорит, была совсем другая жизнь. Потом замолкла, долго молчала, и вдруг начинает смеяться. Во все горло, даже дымом поперхнулась, закашлялась, рукой машет, а все хохочет. Я перепугалась тогда, думаю, истерика. Анька отсмеялась и сказала, что вспомнила, как тебя как-то из-за нее в милицию забрали. Было такое?

— Было, — кивнул Воронин и тоже через силу улыбнулся. — Она шубу Ларискину из химчистки несла. Я говорю, давай помогу, шуба тяжелая. А она ни с того ни с сего уперлась. Еще, мол, чего, будешь через весь город бабскую шубу тащить. А она упрется — сама знаешь. Короче, стоим на остановке и пререкаемся. Подходит милиционер. А я, не обернувшись, возьми и пошли его подальше. Меня под локти и в «газик» Там наподдали, как водится. Такая история.

— Да. А она потом за тебя штраф платила и обещала справку принести, что у тебя плохое зрение... В общем, рассказывает и хохочет, слезы аж выступили. Потом отсмеялась, слезки оттерла и спрашивает: как он там сейчас, Паша мой? Я говорю, возьми и позвони. Она головой качает. Качала, качала, а через неделю звоню ей, а мне Лариска натурально орет: нет ее, уехала со своим ухажером в какую-то задрипанную гостиницу, в которой ее одноклассница — помощником администратора. Я

поначалу не поняла, аж сердце екнуло. С Чепиком, говорю, что ли? Да с каким, орет, Чепиком! С этим, как его, Воронцовым! Это с тобой, значит.

Ух, как эти две кумушки хотели вас с Анной разъять. Да сестры ваши. Лариса и Вика. Меня хотели подключить. Чтобы я Чепика сюда привезла. Очень они уважали Анатолия нашего Никитича. Да мне оно надо?

Регина замолчала, продолжала рисовать круги на запотевшем окне.

— Между прочим, — Регина вдруг обернулась и криво усмехнулась, — тебе она — ни разу, ни с кем, хоть на нее *очень* крупные люди глаз клали. И не от безумной к тебе любви, как я понимаю. Просто человек такой. Зато ребенка от тебя так и не родила. Думаешь, не могла? В том и штука, что могла, но... Видно, ждала чего-то.

Регина снова замолчала, отошла от окна, хотела что-то сказать, но махнула рукой, затем вновь покосилась на окно и вдруг сказала, глядя на него в упор.

— Ни разу и ни с кем. Это да. Кроме *одного* раза. Одного! Когда Чепик приехал тогда, полтора месяца назад. Здесь. На той самой кушетке. Я тогда зашла к соседке, оставила их. Когда вернулась, все было прибрано. Но меня, бывалую стерву, не проведешь. Я *это* и через два дня учую. Так-то вот...

Регина снова махнула рукой, встала, выбросила в форточку окурков, зябко поежилась, тут же закрыла форточку и села за стол, туда, где только что сидел Чепик. Некоторое время молчала, раздражающе монотонно водила по столу доньшком рюмки, искоса поглядывая на Воронина. Затем как-то осторожно, точно боязливо, налила себе. Взглядом спросила Воронина. Тот помолчал и кивнул. Так же молча выпили.

— Знаешь, если разобьется, тебе все это нужно было знать, — сказала она, виновато откашлявшись. — Может быть, тебе будет легче. Ведь ты бы все равно ее потерял. Не так, так этак. Так что лучше знать.

— А я и знал, — вдруг ответил Воронин и точно в каком-то просветлении встряхнул головой.

— Как это знал? — Регина опешила. — Откуда знал?

— Не знаю. Знал и все. — Хлопнул ладонью по столу. — Я вот только сейчас понял, что знал об этом все время. И насчет кушетки, и насчет ребенка. Вот так... Ну вот я и пойду, пожалуй. Поговорили.

Регина кивнула, и Воронин встал из-за стола, прошел в прихожую. Регина стояла в проходе, упершись локтями, точно боясь, что он возьмет, передумает, да и вернется.

— А послушай-ка, Павел Валерьевич. — Ее словно осенило. — Дозвольте уж тогда спросить напоследок. Насчет «Акапулько» — это ты как бы на понт брал или впрямь знал?

— Не понял, о чем ты.

— Да ты, голубок, все понял! — глаза Регины вдруг яростно полыхнули. — О том, что Анна пошла в офис одна, знал только Чепик да Гурьянов с Фаиком. А от кого ты об этом узнал? Не от Гурьянова же.

— Почему же не от Гурьянова, — усмехнулся Воронин, влезая в плащ. — От него и узнал. От Виктора Михайловича самолично...

— Ты мне только байки не вкручивай. Ага, пришел к тебе Виктор Михайлович самолично и сказал: ты уж, извини, братан, грохнули мы твою благоверную супругу и — далее во всех деталях. Так, что ли?

— Не совсем. Не он ко мне, а я к нему. И — во всех деталях.

— Ты бредишь что ли? — Регина вдруг побледнела.

— Нисколько. Он, Гурьянов, бывал, как выяснилось, вполне разговорчивым. Они все, такие, бывают иногда вполне разговорчивыми...

— Воронин, — Регина в ужасе прижала ладони к лицу, да еще стиснула так, что ее лицо исказила гримаса. — Это... Это ты убил их? Ты?!

— Бывайте здоровы, хозяйюшка, — Воронин церемонно поклонился и уже хотел выйти, но Регина с придушенным визгом кинулась вперед и заслонила собой дверь.

— Так это ты! Господи, это ты сделал. А я, дура, дура, понять ничего не могу. И так не клеится, и этак не идет. Все наперекосяк. А — вот он, винтик недостающий! Винтик ты мой, шпунтик! Мышонок ты мой серенький! Кто ж на тебе подумает! Как ты все рассчитал-то! Добропорядочный, убитый горем вдовец. Ищут пожарные, ищет милиция. Кого ищет? Качка, громилу с обрезом и черной маской. А тут бегаёт серенький мышонок и тихо так скорбит по своей мышке...

— Замолчи, Регина, я тебе ничего такого не сказал.

— Да нет, ты все сказал, мой мышонок. Принц ты мой с хрустальными яйцами. А ведь все так чудно сходилась на Чепике. И прошлое его темное. И, главное, запись осталась на автоответчике у Гурьянова, где он ему угрожал и обещал прийти. И ведь в самом деле пришел, дурак! И как раз примерно через десять минут их и кончили. И ведь он там в самом деле был, и отпечатки его остались. Наоставлял, всюду, как звезда автографы! Теперь за ним охотятся и те, и эти. Все на нем, а наш мышонок в стороне. Бегаешь, пи-пи, пи-пи! Кстати, диск ведь у тебя? У кого еще, больше не у кого!

Может, поделимся? Заживем на полную чашу, я еще женщина ничего себе, видела, как ты на меня поглядывал. Даже сегодня, вдовец ты наш. У женщин ведь и на спине глаза есть.

— Регина, что ты несешь!

— Что имею, то и несу, сладенький. Я ведь...

Не дослушав, Воронин взял ее за плечи с силой оттащил от двери. И успел вдруг заметить, как в страхе округлились ее глаза. Усмехнулся.

— Иди, Регина, отдохни. Вздор какой-то говорить. Нельзя тебе так много. В смысле — пить. Полежи, — и, увидев, как она испуганно кивает, рассмеялся и добавил: — и не бойся, бога ради, меня. Я ведь не убийца. И потом, мы ведь друзья. Друзья ведь?

— Ну, — хрипло ответила Регина и вновь быстро кивнула.

— А диск? Ты что же, так и не поняла, у *кого* он, сейчас диск этот?

Воронин потрепал ее по щеке и открыл дверь. Хотел выйти, но вдруг остановился. Регина вновь испуганно отпрянула.

— Слушай, а это не ты мне сегодня звонила? Только честно.

— Я? Да нет, не звонила. Собиралась только. А что?

— Да ничего. Кто-то звонил мне сегодня. Ночью. Анной назвался. То есть, как бы дух, понимаешь?

— Да ты что, — Регина затрясла головой. — Ужас какой. Зачем мне это!

— Вот и я говорю, зачем?

Воронин ободрающе кивнул и шагнул в открытую дверь.

КРУГ

...И странно, я словно опять возвратился в тот темный, сырой вечер, вечер Лесопарка. И хотя вместо ощерившегося битым стеклом и кустарником пустыря были залитые промозглым светом улицы, все почему-то было так же. И так же отдельно от меня, будто книги в библиотеке, были сложены по полочкам мысли, воспоминания, мне стоило лишь раскрыть один из этих томов, но я не делал этого, ибо понимал, что теперь любая мысль, сколь затейлива и остроумна она ни была, непременно заведет в тупик. Неожиданно я сравнил самого себя с неким богатым, почтенным человеком, который вдруг за одну дикую, безумную ночь проиграл все, до последней монетки, до шнурка от ботинок, и теперь с бледной, сумасшедшей улыбкой возвращается в дом, который ему уже не принадлежит, в который завтра с утра придут проворные оценщики. И еще мне казалось, что я теряю Анну навсегда. Именно теперь. Ведь она была со мной всегда, с самого первого, дымного, дурашливого вечера у Шатунова до той скверной кладбищенской глины. И даже после — была.

Теперь уходила навсегда. И дело было даже не в том, что вдруг открылось у Регины. Я понял, что действительно *знал* это. Но знание это почему-то было обернуто в теплую, щадящую оболочку.

Я вспомнил, как однажды, примерно за три недели до ее гибели, вышел среди ночи, где-то уже под утро, на кухню. Она сидела на табурете спиной к двери и курила. Я привычно взял с плиты чайник и стал пить прямо из носика. Вдруг вспомнил, что Анна всегда ругалась, когда я это делал. Воровато обернулся, но Анна не замечала. Она вообще меня не видела, смотрела в окно, пепельница возле нее была забита окурками.

— Анечка, что-нибудь случилось?

— Да ничего особенного, — она встряхнула головой и коротко рассмеялась. — Просто сон не идет. У меня бывает, ты же знаешь.

— Бывает, — я кивнул на пепельницу, — а это не чересчур?

— Чересчур, — она снова рассмеялась, не отрывая взгляда от раскаленного кончика сигареты.

— На работе что-нибудь?

— Ну да. Есть немного.

— С шефом поцапалась?

— Что-то вроде. Да ерунда. Ты спи. Я сейчас лягу...

Она даже не пыталась обратиться ко мне за помощью. Она слепо уверовала, что ей поможет тот, нордический красавчик с сизой афганской татуировкой? Она в самом деле поверила в магическую силу дешевых блатных ухваток, этого протухшего понта или, может быть, подсознательно пыталась меня уберечь? Зачем?! Моя жизнь замкнулась в круг, я опять пришел к тому страшному ночному звонку, словно он прозвонил только что...

На лавочке возле подъезда сидело, несмотря на мелкий дождик, двое незнакомых парней. Один неумело тренькал на гитаре и что-то гнусаво бормотал под нос, другой, укрывшись зонтом, так же невнятно ему подпевал. На меня они не обратили никакого внимания, только второй, тот, что под зонтом, запел громче и уж вовсе не в лад.

В подъезде стоял и курил сосед с третьего этажа дядя Гриша. Он смотрел на парней с расслабленной пьяноватой улыбкой и увлеченно покачивал головой в такт песне. На меня он тоже не глянул, и даже на приветствие не ответил.

Однако когда я поднялся до третьего этажа, услышал вдруг за спиной тихое, сдавленное: «Тихо, Валерич. Загляни ко мне, поговорить надо».

Я попытался что-то сказать, но дядя Гриша чуть ли не силой втянул меня к себе в квартиру.

— Пасут тебя, Валерич, — зашипел он, едва захлопнув дверь, — Не то менты, не то еще кто. Разве разберешь нынче. Те двое пацанов с гитарешкой, и еще двое — над твоей квартирой, этажом выше. Обыск у тебя был. Натурально говорю.

— А почему вы решили, что это...

— Ты брось, Валерич, расшаркиваться! Это тебе не в «Зарницу» играть. Тут не шутят, я это селезенкой чую. Ты посиди покудова на кухне. Квасу вон попей, Нинка сама делала. В холодильнике. А я пока в глазок гляну. Глядишь, обойдется на сегодня. А уж утро вечера мудреней.

Короткий, вкрадчивый звонок не дал ему договорить. Дядя Гриша тотчас переменялся в лице и втянул голову в плечи.

— погоди, может, это Нинка пришла, — срываясь, зашептал он. — Она как раз сейчас со второй смены должна вернуться.

Дядя Гриша, смешно вытянувшись, как журавль, подошел к двери.

— Это кто еще там, а? — спросил он, почему-то робко и почтительно. — Я вас чего-то не припомню. Ближе, что ли, подойдите. Время сейчас позднее... Чего, чего? Не понял, простите... Ну дык сей же момент...

Залязгали замки. Я и подошел к окну. «Дождь. Холодно будет», — подумалось почему-то.

— Я даже вообще не понимаю, о чем вы таком говорите, — кипятился в прихожей дядя Гриша. — Я вам русским языком натурально говорю: знать даже я такого не знаю, не то что...

Не договорив, он как-то странно, неестественно громко икнул и тут же замолк. Послышались подчеркнута громкие шаги.

— Гражданин Воронин? — услышал я за спиной и, не оборачиваясь, кивнул.

— Айда, поехали с нами.

— Интересно, куда?

Голос за спиной зло хмыкнул.

— Куда! Где жопа худа. Вышел по-быстрому в коридор!

— А я тут квасу хотел выпить...

— А будет тебе квас. И крем-брюле. И килька в сиропе. Повернулся ко мне быстро!

Тогда я не спеша повернулся. Это был как раз тот, что сидел на лавочке у подъезда и подпевал. Круглолицый такой, бледно-розовый, пупырчатый, желтоватый пушок на голове. Торопливо отошел от двери, пропуская, и мотнул головой: иди, мол.

В прихожей, широко расставив ноги в дырявых носках и откинувшись к стене, сидел дядя Гриша. Он тяжело, с присвистом хватал ртом воздух и сплевывал кровью. Скопил на меня глаз и почему-то кивнул.

— Дверь закрой, чмо безобразное! — весело крикнул ему желтоволосый и пятерней толкнул меня в спину. — Пош-шел!

На площадке я шагнул было вверх по лестнице, но меня тотчас остановил визгливый цыплячий окрик.

— Ты что, не понял?! Пошел быстро вниз!

— Я домой хотел зайти. Мне нужно...

Но желтоволосый выругался, схватил меня цепко, по-бабьи за рукав плаща, с натугой рванул на себя и толкнул вниз. Я, едва не потеряв равновесие, сбежал по ступенькам, ухватился за перила, чтобы не упасть. Спокойно. Как будто ничего не было. Как будто все так и должно быть.

— Елизаров! Ну-ка тихо. Остынь, — услышал я вдруг откуда-то сверху знакомый голос.

По лестнице легко и весело сбежал тот самый недавний ночной гость. Лукин-Фокин. Он и одет был, вроде, так же.

— Иди вниз, — коротко скомандовал он желтоволосому, тот кивнул и, ссутулившись, будто его чем-то обидели, послушно и вместе с тем нарочито неторопливо пошел вниз по ступенькам.

— Добрый вечер, Павел Валерьевич, — незнакомец церемонно раскланялся. — Не поверите — знал, что мы еще встретимся. Хотя ведь — работа у нас такая. Мы редко с кем прощаемся насовсем. Только с покойниками. Мир вообще тесен, а уж для нас — вдвойне.

— Что происходит? — перебив, сказал я, с трудом переводя дух.

— А я за тем и пришел. Чтобы выяснить — что происходит. В политике есть понятие: принуждение к миру. А у нас — принуждение к искренности.

— Положим так. А этот кретин зачем тут?

Желтоволосый тут же замер на месте, дав, вероятно, понять, что он все слышал.

— Насчет кретина — это зря, — насутился незнакомец. — Опытный оперативник. Несколько серьезнейших задержаний. Один на один брал вооруженного рецидивиста.

— Тем более странно — такие ценные кадры да на столь незначительную с криминальной точки зрения личность, как я?

— А это дозвоьте нам решать. Насчет значительности.

Он легонько, двумя пальцами, притронулся к моему плечу, указывая дорогу вниз.

— А что, домой зайти мне нельзя?

— Не то чтобы нельзя, просто не вижу смысла.

— У меня был обыск?

— Был, — кивнул незнакомец, — очень надеялся обойтись без него, но не получается. К сожалению, благие намерения...

— В чем меня обвиняют? — вновь перебил его я.

— В убийстве, — как-то сочувственно вздохнув, ответил незнакомец. — В убийстве Гурьянова Виктора Михайловича и Мусакаева Фаика Гаджиевича.

— Всего-то? — я через силу усмехнулся. — Вы забыли сказать, что я имею право хранить молчание... Что еще там в кино говорят?

— На вашем месте я бы не шутил. Садитесь в машину.

Желтоволосый Елизаров с готовностью распахнув дверцу невесть откуда подоспевшего «УАЗика», оскалившись, повертел вокруг пальца парой наручников и вопросительно глянул на шефа. Тот с улыбкой покачал головой.

— Удивляюсь я вам, товарищ майор, — притворно вздохнул Елизаров, еще раз лязгнув наручниками. — Таких, как этот, надо сразу на место ставить, будто сами не знаете. Они борзуют быстро, как кролики.

— Ничего, — улыбнулся майор, будто речь шла о чем-то приятном, — не оборзееет. Некуда ему борзеть. Айда, Поликарпов, трогай.

Мотор завелся с каким-то пронзительным бляеньем, машина резко рванула вперед, затем так же резко затормозила и стала разворачиваться.

— Эй, Поликарп, не дрова везешь, — недовольно буркнул Елизаров. — Того гляди, не доведем обвиняемого до места!

Всю дорогу он не сводил с меня пристального, ухмыляющегося взгляда, перекатывал во рту жвачку, почему-то кивал головой и то и дело похлопывал рукояткой пистолета по толстому джинсовому колену.

ОБЕЗЬЯННИК

Когда «УАЗик» наконец остановился, майор, подняв воротник плаща и пробормотав «Я сейчас», — вышел из машины. Было видно, как ему козырнули кутившие возле двери милиционеры, один из них услужливо открыл перед ним входную дверь.

— Слушай, Воронин, — сказал вдруг Елизаров, продолжая поигрывать рукояткой. — Хоть и козел ты последний, а я хочу тебе дать совет. От чистого сердца. Дело твое тухлое, просто воняет. Двойное убийство. В принципе, ты можешь легко получить вышку. Как дело раскрутят. Не вышку, так червонец с приварком тебе точно оформят. Это если ты начнешь дурака валять, права качать, придумывать всякие там алиби-уялиби. А по-умному — ты сейчас во всем признаешься. Мол, гражданин начальник, не стерпело сердце, убил двоих душегубов. Запишут тебе чистосердечку, состояние стресса, аффекта. Все ж таки это ж они твою бабу завалили, это факт, даже свидетели отыскались. Хмырь один из банка. Прямо на моих глазах, говорит. И грехов за Бурьяном хватает, а уж за Мусакаевым — вообще немеряно. Все учтут. И главное, — Елизаров улыбнулся широкой, доброй улыбкой — отдай ты им Христа ради ту пластинку. Ну на кой она тебе? Или скажи, где прячешь, сами найдем. Грамотного адвоката спроворим и получишь ты, как максимум, года три, и выйдешь по первой же амнистии на свободу с чистой совестью. У нас нынче что ни год, амнистия. Уловил? И еще: признание сделаешь не ему, — он понизил голос и кивнул на дверь, за которой скрылся майор, — а лично мне. И диск отдашь тоже мне. Тихо, без свидетелей. Майору что, он в Москву метит, для него такие, как ты — шелуха капустная. А у меня так: со мной по-человечески, и я по-человечески. Чего молчишь?

— Слушаю, — пожал плечами Воронин.

— Слушаешь? — Елизаров вновь помрачнел. — Ну, ну.

Он хотел сказать еще, но в дверцу просунулась голова майора.

— Выводи подозреваемого, — коротко скомандовал он.

— Пошел на выход! За спину руки! Глядеть перед собой! Шибче, шибче ножками!

— Не договорились, значит? — зло зашептал он уже на улице. — Жаль. Хотя у тебя еще время есть. Сутки. Через сутки поздно будет, даже если надумаешь. Работать с тобой буду по полной программе. Я тебя, как белку распялю, ты у меня подмываться устанешь. Чего лыбишься?!

— Ничего, — пожал плечами Воронин, — вам показалось.

После долгих и бредовых блужданий с этажа на этаж, монотонно бессмысленных в своей идиотской многократной повторяемости вопросов его привели наконец к большой и ржавой двери.

— Сюда, — сказал ему скрипучим голосом пожилой седоусый милиционер с погонами старшего сержанта. — Народ тут тихий, слава богу. Не то что в двести восьмой, там сямки, сохрани бог. И чего это с тобой так носятся-то, не пойму. Приличный, вроде, гражданин. Убил, что ли, кого?

Дверь, как и ожидалось, открылась с истошным скрипом, тотчас изнутри тяжело дохнула спертая мгла.

— Эй, начальник! — раздался недовольный голос. — Озверели там, что ли? Куда еще-то одного привел? Дохнуть нечем уже!

Однако сержант не удостоил его ответа. Дверь за спиной вновь ржаво взвизгнула и лязгнула замком.

— Мил человек, — не унимался голос. — Здороваться надо, когда к людям заходишь. Аль в школу не ходил?

— Здравствуйте, — отозвался Воронин. — Всем здравствуйте.

— И вы не хворайте. Располагайся, мил человек. Номер люкс с видом на море. На нарах места нету, извиняйте. Портье постелет на полу.

— Спасибо, — кивнул Воронин в темноту и, присев на пол, с наслаждением откинулся спиной к стене.

— И за какие заслуги вам такой почет? В двух словах, пожалуйста?

— Филя, — послышалось из другого угла, — отчепись уже от мужика. Спать охота, мочи нет. Завтра разберемся, дай бог.

Воронин почти сразу погрузился в зыбкую полудрему. Еще там, в милицейском «УАЗике», ему до одури хотелось уйти с головой в эту темную, густую сонную прорубь, и ни о чем другом как-то не думалось. Сон виделся ему надежным и единственным спасением, недостижимым для преследователей убежищем, из которого можно было, отсидевшись и переждав, выйти на свет. Он счастливо улыбнулся, с удовольствием гадая остатками ускользающего сознания, сколько дадут ему поспать, час? Три? А может, до утра?

— Позвольте, что ли, побеспокоить, гражданин задержанный, — послышался вдруг совсем рядом мелкий, срывающийся шепоток.

Что? Уже? Да нет, не может быть. Он ведь даже не успел, он ведь только топтался возле этой клубящейся полыни, только еще собрался...

— Неужто в самом деле не признали, господин хороший? Э, да вы и не проснулись толком.

Признал. Как ни странно, тут же и признал. Бродяжка с Лесопарковой. Он сидел рядом, откинувшись, как и он, головой к стене, говорил, вернее, шептал, глядя вверх, словно и не к нему обращаясь.

— Видите вот, опять встретились. И опять же случайно. Или вы считаете, что я нарочно на кичман залетел, чтоб вам тут досадить?

— Что ты хочешь опять?

— Я, положим, много чего хочу, да с тебя что нынче взять. Поэтому, считай, ничего. А ты спалился, значит. И на чем? Ствол нашли?

— Ты можешь от меня отстать?

— Отстать могу. Только ведь опять встретимся. Это как пить дать. Это так уж получается.

— Ну вот встретимся, так и встретимся. А я сейчас спать хочу.

— Спи раз хочешь. Чудной ты, какой-то, Петрович. Другие на твоём месте последний сон теряют, а тебе спать подавай...

Однако Воронин не слышал его, ибо уже оттолкнулся от этого мглистого, болотистого берега, чтобы вновь уйти, хоть на время, по бесшумным, вязким волнам бреда, грубого подобия небытия. И даже когда в волокнистую гущу тишины врезался знакомый скрип двери и столь же знакомый, голос произнес: «Воронин, на выход», он некоторое время еще продолжал покачиваться на этих незримых волнах. Пока толчок локтем в бок не вывел его наружу. «Здоров ты дрыхнуть, Петрович. Иди на выход, зовут. Ну пока, дорогой, до новых встреч в Лесопарке...»

Майор встретил его в каком-то необычно большом кабинете, больше похожем на зал. Там было серо и хламно, вразброс, наперекосяк стояли заваленные бумагами письменные столы, пахло пылью,

отсыревшей известкой и застарелыми окурками. Майор на сей раз был хмур, раздражен и бледен. На Воронина поначалу как бы не обратил внимания, в притворном усердии вчитываясь в какую-то исписанную от руки бумагу.

— Присаживайтесь, — безучастно бросил он, дав, однако, с минуту постоять ему в нерешительном молчании. — Ну давайте начнем, Павел Валерьевич. Давно пора.

— Что начнем? Вы, кажется, уже давно что-то начали.

— Так, — майор через силу улыбнулся и легонько хлопнул ладонью по столу. — Начнем мы вот с чего. Разговор наш сегодня будет немного другой. Не то что давеча. Давеча мы витийствовали на общие темы. Нынче у нас — допрос. Вопрос — ответ, и ничего более.

— Вы бы хоть ордерок на арест показали, начальник, — усмехнулся Воронин. — Ну хоть издалека помашите.

— Первый вопрос, — майор прикрыл глаза, давая понять, что неуместной реплики не слышал, и повысил голос. — Расскажите, что вы делали восьмого октября сего года, то есть в прошлое воскресенье, где-то с семи до десяти вечера. Говорить правду. Врать вы не умеете, запутаетесь, оконфузитесь, так что давайте начистоту. Вам же проще. Итак.

— В воскресенье. В воскресенье вечером я был на садовом участке. Садовое товарищество «Родничок» в районе станции...

— Есть кому подтвердить?

— Наверняка да. Меня видел охранник, жена охранника, сосед через дом, еще кто-то наверняка видел.

— Кстати, а пистолет у вас там хранился или в другом месте?

— Какой пистолет. Не говорите глупостей. Я в руках-то его не держал никогда. Неуклюже у вас как-то все.

— Вот это напрасно. В юности вы увлекались стрельбой. Кандидат в мастера спорта, если я не ошибаюсь.

— Почти. Так ведь то в юности. Кроме того, в юности я увлекался лыжами и самбо. Что с того?

— И служили в морской пехоте Северного флота. Ладно, к этому еще вернемся. Так вы что ж, до десяти вечера были на садовом участке? Темень такая. И дождь, кажется.

— Почему до десяти. В семь восемнадцать я уехал. На электричке.

— И когда были дома?

— Не помню точно. Наверное, около одиннадцати.

— Что-то поздновато. Зашли куда-то?

— По дороге домой зашел в кафе. Это возле автовокзала. Называется «Веселый Чипполино».

— Знаю такое. Даже бывал. Это может кто-нибудь подтвердить?

— Не знаю, — Воронин пожал плечами. — Может, бармен?

— Хорошо. Это мы выясним. Теперь такой вопрос: Гурьянова Виктора Михайловича вы когда-нибудь видели? Бывали у него дома?

— Бывал, я ведь уже говорил. На юбилее прошлым летом.

— И все? Отвечайте максимально откровенно.

Он вдруг резко подался вперед, развернул плафон настольной лампы прямо ему в лицо.

— Смотреть на меня! Отвечать быстро, без пауз! Вопрос — ответ! Когда вы встречались с Виктором Гурьяновым?!

«Регина, — думал он, жмурясь от пыльного, обжигающе яркого света. — Как просто. И когда успела только? Вот тебе и жрица. Скверно...»

— Что-то вы замолчали, Воронин, — он сочувственно кивнул. — Затрудняетесь ответить? Понимаю. Помочь вам?

— Нет, не затрудняюсь, — Воронин говорил, зажмурив от яркого света глаза. — Да, я встречался с Гурьяновым. Это было за несколько дней, примерно за два, до его смерти.

— Вот как? — Майор усмехнулся. Лампу, однако, убрал. — Интересные подробности. Отчего раньше-то об этом молчали?

— Оттого, что дело у меня было такое, о котором не кричат на всех углах. Потому и молчал.

— Какое дело? — тускло, без интереса спросил майор.

— Деньги ходил просить. Да, да, ходил просить деньги. Стыдно признаться, но так. На поминки Анне.

Воронин, вернее опять-таки тот, добавочный Воронин говорил, низко опустив голову, заливаясь краской мучительного стыда...

— Интересно, — майор криво усмехнулся. — И что, дал он деньги?

— Не дал. Стал куда-то срочно собираться, говорит, позже зайти. Плюнул и ушел.

— Так. А у меня другие данные.

— А я знаю. И знаю, какие. И знаю от кого. Хотите пари? Завтра с утра, только не очень рано, вы

звоните любезной Регине Вячеславовне Тереховой и просите ее подтвердить то, что она вам сообщила сегодня где-то после восьми тридцати вечера. Одно из двух: или почтенная Регина Вячеславовна вообще не вспомнит тот бред, что вам несла, или, если вспомнит, будет слезно отказываться от своих слов. Посему самое лучшее вам — отпустить меня под подписку о невыезде домой, а утром...

— Ну ты борзой, Воронин! — услышал он вдруг над самым ухом смешок Елизарова. — А товарищ майор, может сводить его в тренажерный зал? Обычно резко умнеют.

— В таком случае, Павел Валерьевич, — майор, не слушая Елизарова, вдруг вышел из-за стола и мягкой кошачьей походкой подошел к Воронину почти вплотную, — как вы сможете объяснить...

На лице его заиграла улыбка. Ну вот сейчас он и выложит свой козырный туз. Сальный, крапленый, но — козырный.

— Товарищ майор! — Воронин вздрогнул от этого внезапного настороженно почтительного голоса, — я извиняюсь, конечно...

— Что?! — не оборачиваясь, рывкнул майор. — Я же ясно сказал...

— Я понимаю, товарищ майор, но вас тут к телефону...

— Я же ясно сказал — мне не мешать! — взревел майор так, что вошедший, худощавый старшина с тонкой шеей и большой, рахитичной головой, настороженно попятился.

— Тут, значит, Кременецкий звонит, — забормотал он жмурясь и нервно поводя плечами. — Очень, говорит, срочно. Хоть из туалета, говорит, а достань. Извиняюсь, конечно...

— Ну давай его сюда, твоего Кременецкого, — майор требовательно и опять же не оборачиваясь, протянул руку назад.

Старшина почтительно бормоча свое «я извиняюсь, конечно», сунул ему в руку серебристую бляху телефона.

— Ну! — раздраженно гаркнул майор в трубку. — Что там опять? Я же, кажется, русским языком... Что-о?! Точно?! Ну ведь я же сказал — только в крайнем случае!... Ты думаешь! Ты мне, пожалуй, надумаешь. Где это было?... Понятно.

— Что там, товарищ майор? — поинтересовался Елизаров, но тот лишь зло мотнул головой.

— Погоди, а что при нем было? — продолжал майор, — И что в нем?.. Что?!!

Майор вдруг подскочил со стула, ошалело глянул вокруг.

— Что ж ты молчал! Погоди! Ты что, сам видел?.. Кто проверял?.. Евстафьев?.. Да мне плевать, что ты думаешь! Где он сейчас, Евстафьев?.. В общем, сейчас, сию секунду — ко мне. Оба! Вместе с кейсом. И чтоб ни одна живая душа, бляха-муха! Погоди, я сейчас...

Майор поднялся со стула, глянул вокруг невидящими глазами и, бормоча что-то в трубку, торопливо вышел. Елизаров проводил его растерянным, обеспокоенным взглядом до самой двери.

— Чего это с ним? — спросил он, словно забывшись, Воронина, и тут же сменил тон. — Вообще правильно себя ведешь.

— Я? — Воронин удивленно приподнял голову.

— Ну, — Елизаров доброжелательно кивнул. — Если хочешь знать, у него, у майора, на тебя и нет ни черта. Понтяру гонит. Был ему сегодня под вечер звоночек от бабы какой-то, та ему наговорила что-то на истерике, он и завелся. Кроме того звоночка ни хрена у него нет. А вот у меня, — он самодовольно усмехнулся, — у меня есть. Я ведь сразу на тебя глаз положил. Именно на тебя. Майор-то все на Чепика этого гнал. А я как выехал на происшествие, так понял: не вяжется с Чепиком. Пули, гильзы послали на экспертизу, получилось, что этим гильзам чуть не пятьдесят лет. — Он затрясся от смеха. — Прикинь? И ствол, говорят, трофейный, немецкий. На Чепика не похоже. Стал я вокруг тебя шарить. Нашарил одного твоего кореша. Шатунова Николая Леонидовича. Поговорил с женой, сам-то Шатунов от пьянки лечится. Вначале вокруг да около, а после в лоб, напрямую: а не было ли, говорю, при вас, гражданочка, случайно разговора про пистолет. Тут супруга побелела — ой, говорит, был. Только, говорит, муж мой был тогда в глубоком запое и молол невесть что. Я говорю: а что именно говорил-то? К примеру, с Ворониным Павлом Валерьевичем это как-нибудь связано? Тут она на меня зыркнула и замолкла. Не помню, говорит. Я таких знаю, такие в молчанку запрутся, их оттуда колом не выгонишь. Надо, думаю, с этим Шатуном говорить. Взял шкалик «Таганской» и в Бехтеревку. Погуляли по садику. Он поначалу молчит, огрызается, от шкалика отказывается, глядит волчарой. Сейчас, мол, врача позову. Пришлось объяснить, сколько дают за незаконное хранение оружия. Ну и сдал тебя дружок твой, как пионер макулатуру. Эй, ты меня слышишь, нет?

— Я-то слышу, — Воронин вдруг смущенно улыбнулся, — только вы уж извините великодушно, спать очень хочу. Ну вот мочи нет. Все, что вы рассказываете интересно, но...

— И тоже правильно, — вновь ободряюще кивнул Елизаров. — Сейчас постараемся допрос скруглить. В камеру другую переведу, выспишься на нарах, как человек. А завтра с утра на допрос, и я тебя допрошу, и ты у меня выдашь чистосердечку. А потом сделаем так...

— Слушай, — Воронин вдруг как-то просветленно глянул на Елизарова, — а эти звоночки кто организовывал, товарищ майор или ты?

— Не понял. И потом, с чего это вдруг — на ты?

— Те самые звоночки. По телефону. Душу, мол, облегчи, спаси себя, прочая такая дребедень. Майор?!

Елизаров вдруг ощерился в улыбке. Улыбка была бледная и безгубая, как жаберная щель.

— А, вот ты о чем. Не, это не майор. Это я. А что, понравилось. Хороша метода? Нашел актрисульку подходящую, сексапильная, между нами, гражданочка... Видишь ли, как говорил один умный человек...

— Сучонок ты гунявый, вот кто. И говорить мне с тобой не о чем.

Воронин сказал это без надрыва, даже без особой ненависти. Просто как нечто само собою разумеющееся. Елизаров, не успев согнать с лица глумливую улыбочку, подскочил к нему и, цепко ухватив за волосы, рванул его голову назад так, что у Воронина перехлестнуло дыхание.

— Так, да? Ладно. Мы сейчас с тобой, гражданин подследственный, пройдемся до подвала. У нас там есть тренажерный зал. Еще не было ни одного подследственного, чтобы после тренажа не пожелал сделать чистосердечного признания. Только поздно бывает, потому что...

Он не успел договорить, вернулся майор. Вернулся как-то тихо, почти незаметно, словно чего-то стесняясь. Поймав на себе пристальный и удивленный взгляд неуклюже отпрянувшего от стула Елизарова, вдруг коротко хохотнул, сел на стул, закрыл глаза, откинул голову и с блаженным стоном потянулся. Затем, словно вспомнив нечто важное, встрепенулся, подошел к сейфу, громыхнув ключами, отворил дверцу и бережно извлек на свет бутылку. Налил себе в графинный стаканчик на самое доньшко, полюбовался на свет, цокнул языком, собрался выпить и снова удивленно, точно впервые увидев, уставился на Елизарова.

— Доброй ночи, товарищ младший лейтенант. Не угодно ль будет выпить со мной?

— Дык ... — с усилием выдавил из себя Елизаров, — оно, конечно...

— Ну так бери стаканчик. Ты хоть знаешь, что это такое? Это «Рэми-Мартен». А? Небось и не слыхал. Все водяру глочешь с операми. Клиент мне подарил бывший, — он вновь зажмурился и звучно причмокнул. — Я его когда-то, суку, почти на вышку вытянул за хищение социалистической собственности в особо крупных размерах. Не дотянул. Получил Юхновский два с половиной года, из коих отсидел три месяца и вышел по первой амнистии, как подснежник из сугроба. Недавно приезжал к родным в гости из Израиля, первым делом ко мне. Учителей, говорит, не забываю. Врет, а приятно. Вот подарил. Пей, Елизаров, пей...

— Дык я, — вновь повторил Елизаров, — что хотел сказать. Может, мы Воронина этого в подвальчик, в тренажерный? Он, гляньте-ка, лыка не вяжет. Там разговорят. А завтра с утра я с ним конкретно займусь по полной программе. Прикажете увести?

— Кого, Воронина? А, вот этого? Так его... Слушай, Елизаров, не нужно его ни в какой тренажерный зал. Выписывай ему пропуск и пусть валит с миром, пока я добрый. Под подписку... А и не надо никакой подписки. Все, закончен бал, утухли канделябры.

— То есть, я не понял, — Елизаров побагровел. — То есть как — валит? Какие канделябры! На нем два конкретных трупа висят, товарищ майор!

Майор кивнул и отхлебнул из стакана. Счастливо крякнул.

— Ух, хорошо! У тебя, Елизаров, лимончика нет случайно? И зря... Не понял, говоришь. А и не понимай. Твое дело не понимать. Твое, Елизаров, дело приказы исполнять. А самостоятельностью займешься на пенсии, в хоре ветеранов. Ситуация переменялась, понимаешь? Кардинально. Вскрылись ранее неизвестные факты. Да ты коньяк-то выпей.

Он ободряюще кивнул побагровевшему еще темнее Елизарову и вновь отпил глоточек.

— Два конкретных трупа, говоришь. Кстати, — он вдруг повернулся к Воронину, — может, и вы с нами, Павел Валерьевич? По коньячку.

— Да нет, благодарю.

— Понятно. Ей-богу, понятно. И я бы не стал. Пить с человеком, который влез в мой дом, аки тать ночная, рылся в моих вещах, читал мои письма. Да, Павел Валерьевич, то самое письмо. Вы были правы, ничего интересного. Для нас. И не глядите на меня так. Все я понимаю — неприкосновенность жилища, тайна переписки, права, мурава. Нас всему этому учили, уверяю вас. И сейчас учат. Что права человека нарушать нельзя. И то и дело это повторяют. Только забывают сказать, как без этого обойтись. И где взять гордых рыцарей без страха и упрека. Ну нет их. А есть Елизаров. С тренажерными залами и прочей мерзостью. И надо работать именно с ними. Так что — воля ваша, не настаиваю. Однако знаете, Павел Валерьевич, как придете домой, непременно выпейте. Ей богу, есть за что. Дивлюсь я на вас, право слово. Другой бы на вашем месте до потолка прыгал, а вы как будто так и должно. Знали бы вы, из какой задницы выбрались! Однако прощайте. Может, свидимся еще.

О чем он думал, когда выходил, очумелый и потрясенный, из врат чистилища? Да ни о чем в общем-то. Обдумывать причины своего неожиданного и необъяснимого избавления просто не было ни сил, ни желания. Измученный разум в который раз предлагал принять все как есть. Лишь вдохнул дождливую, прелую мглу...

Однако по пути к свежескрашенным зеленым воротам его вдруг остановил короткий автомобильный сигнал. Он повернулся и увидел знакомый «УАЗик». Тот, как бы подтверждая, дважды мигнул фарами. В кабине зажегся свет, Воронин увидел машущую руку и понял, что обезьянник не закончился. Остановился, выжидая. Однако «УАЗик» сам неторопливо, почти бесшумно тронулся с места.

— Присаживайся, Воронин! — неожиданно весело сказал ему Елизаров, широко распахнув дверцу, — мы гостям рады.

Воронин решительно замотал головой и кивнул на ворота.

— Садись давай! — нахмурился Елизаров. — Мне майор велел до самого подъезда доставить. Вот так мы сейчас работаем — до самого подъезда. И не вздумай отказываться. Я из-за тебя и так получил, и еще получу. Так что давай без разговоров. Зла на тебя не держу, и ты на меня не держи.

Воронин пожал плечами, пригнулся и влез в ржавое, теплое нутро машины. Дверца за спиной торопливо захлопнулась.

Некоторое время ехали молча. В машине, кроме Елизарова и водителя, был еще тот седоусый сержант, что привел Воронина в обезьянник. Он был хмур, недоволен, то и дело поглядывал на часы и бормотал под нос.

— Чего бухтишь, Михалыч?! — с прежней надрывной веселостью поинтересовался Елизаров и хлопнул старика по плечу.

— И что это за мода, по домам развозить? — ответил он, раздраженно поморщившись от фамильярного хлопка. — Только собрался домой идти, и на тебе. Неужто сам бы не дошел, идти-то два квартала!

— А вот такое нынче причудливое время пришло, Михалыч! Преступников нынче коньяком поют и после до самого подъезда доводят, под ручечку, извините, говорят, за причиненное неудобство.

На некоторое время установилось молчание.

— Михалыч, — вновь произнес Елизаров каким-то сырым, отлежавшимся голосом, — как у тебя внучка-то?

— Да так же все, — сержант нахмурился и настороженно покосился на Елизарова. — Чего это ты вдруг?

— Все так же, — Елизаров пафосно кивнул, — шумы в сердце с младенческого возраста. Знаю. Квартира в доме под снос, а сноса нет и не будет, потому как сносят только те дома, где начальники желают себе особняки строить. Кто ж станет строиться около комбината химических удобрений? Потому жить тебе, Михалыч, ветерану правоохранительных органов, в своей халупе до скончания века. Такое нынче время. Так?

— Положим, так. А что? Ты чего это митингуешь, товарищ Елизаров?

— А нам и осталось только митинговать. Ты вообрази ситуацию. Оперативники берут преступника. Не хухры-мухры, убийцу. Два трупа, оба из пистолета в упор. Дело почти закончено, и вдруг — звонок! Отпустить гражданина подозреваемого. Как? А так!

— Не пойму я тебя, Елизаров, — вновь насупился сержант. — Опять ты чудишь. Угомониться бы тебе. Сам себя заводишь, как волчок, после остановиться не можешь.

— Ты обо мне не волнуйся. Я дело знаю. Помяни мое слово, придет время, мы этим гнидам такие кровя пустим...

— Ты погоди, Елизаров, — вновь встрепенулся сержант, — мы вообще куда едем-то? Дом-то его давно проехали.

— Да тут заехать надо кой-куда, — Елизаров вдруг жирно осклабился, — заправиться, туда-сюда...

— Затаял ты опять чего-то. Тормози, пока не поздно...

Он недоговорил, в кармане у него пронзительно заверещал телефон. Сержант торопливо вытащил его, глянул искоса на экранчик, приосанился и гаркнул, с силой прижав его к побагровевшему, волосатому уху:

— Слушаю, сержант Филиппов!.. Так точно... Здесь он, рядом... Не знаю, почему не отвечает... Не могу знать... Так точно... Дык это, подозреваемого возем... Дык, домой, сами же велели... Не могу

знать... Есть.

Сержант с явным облегчением передал телефон Елизарову. Тот с каменным лицом откашлялся в сторону и произнес в трубку нечто неразборчивое. Трубка в ответ гневно зарокотала, Елизаров потемнел, набычился, повторяя с равными промежутками: «да... понял... есть...»

Затем он как-то тяжело, натужно замолчал, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. В какой-то момент глаза его яростно выкатились, он издал странный всхлип и, стиснув телефон в короткопалом кулаке, замахнулся, словно собираясь разбить его о край скамьи. Однако увидев испуганно округлившиеся глаза сержанта, деревянно хохотнул, мигнул непонятно кому, погладил телефон пальцами и вернул сержанту. Тот, облегченно переведа дух, торопливо запихнул его в карман.

— Что майор-то говорит? Возвращаться велит? — спросил он с надеждой.

— Так точно! — кивнул, ухмыльнувшись Елизаров.

— Ну так и поехали, — воодушевился сержант. — Высаживай этого хмыря, сам, небось доберется, не маленький.

— А мы уже приехали, — снова хохотнул Елизаров. — До самого места. Вылазьте, гражданин бывший подозреваемый!

Он нетерпеливым жестом откинул разбухший от дождя брезентовый полог. Воронин пожал плечами и спрыгнул наружу. Вслед за ним грузно и торопливо, словно боясь упустить, выпрыгнул Елизаров.

— Ну что? — он вновь засмеялся сорванным, захлебывающимся смехом. — Узнал местность?

Воронин огляделся. Он даже не удивился, обнаружив себя в просторном внутреннем дворике дома Виктора Гурьянова. Лишь короткий, тупой толчок под сердце. Будто знал, что именно сюда его и привезут.

МОСТ НАД БУРНОЙ ВОДОЙ

Дождь, внезапно, точно по команде усилившийся, щедро забарабанил по кузову машины. Я невольно поежился.

— И куда теперь?

— Туда, родной, туда. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Сейчас у нас будет с тобой следственный эксперимент. Сейчас ты мне по минутам расскажешь, как ты их грохнул, кого первого, кого второго. И главное — куда ты заныкал этот самый диск.

— А я с тобой, гражданин Елизаров, никуда не пойду, — сказал я ему неожиданно твердо и спокойно.

— Не пойдешь. Почему, интересно?

— По кочану. Тебе начальник ясно сказал: выписывай пропуск и отпускай. А зачем — получается, не твоего ума дело, лейтенант. Младший.

— Лихо отвечаешь, гражданин Воронин. Лихо. Смелый на людях. Прямо тореадор. А мы сейчас дойдем до того гаража, он не заперт. И там без свидетелей поговорим, да и поглядим, какой ты есть тореадор...

Он не успел договорить. Вначале за распахнутыми воротами послышался какой-то неясный шум, затем приглушенный не то шепот, не то выдох и наконец, резкий, словно чуть насморочный, выкрик из темноты.

— Ну-ка всем стоять. Стоять всем! Замерли все!

— Серый, стой на месте, у одного ствол. Вон у того, у рыжего, — раздался предостерегающий возглас и появившийся было силуэт за воротами метнулся обратно во тьму.

— Ну-ка там, во дворе! — крикнул кто-то невидимый. — Дурить не вздумайте! Посечем всех бениматери! Стволы на землю и в сторону! Сами тоже на землю, мордой вниз.

За воротами зло закудахтал мотоцикл. Двор осветился пронзительно-желтым светом фары. «Вперлись мы, Елизаров, — угрюмо пробормотал спрыгнувший на землю сержант Филиппов. — Опять вперлись. Сраму не оберешься. Ты скажи уже хоть что-нибудь. Стоишь, как хрен моржовый».

— Разговоры кончать! Легли на землю, кому сказано!

— Я следователь городской прокуратуры, — произнес наконец Елизаров чужим, простуженным голосом, — младший лейтенант Елизаров.

— Ну да. А этот рядом, в плащике — министр внутренних дел, да?

Немедленно послышался тихий смех. Однако неуверенный.

— Этот, в плащике, — подозреваемый.

— В чем подозреваемый?

— В убийстве Виктора Гурьянова, а также его телохранителя.

— Что-то путаете вы, гражданин следователь городской прокуратуры. Ну-ка мне, пожалуйста,

удостоверенице? Только сперва ствол на землю. Аккуратненько. Вот так.

— Следствие пошло по неверному пути, — Елизаров осторожно положил пистолет между широко расставленных ступней и, неуклюже скукожившись, полез в задний карман брюк за удостоверением.

Из темноты, миновав полосу света, вышел вразвалку невысокий человек в милицейской камуфляжной куртке. Из-под фуражки немного нелепо проглядывали седоватые бакенбарды. Он зацепил концом ботинка пистолет, откинул его в сторону, затем деловито взял удостоверение.

— Серый, на-кось, глянь, у тебя зрение получше.

Из темноты вышел пухлощекий, совсем еще молодой человек в сержантских погонах, небрежно передергивая за ремень вверх-вниз тупоносый, короткоствольный автомат. Было видно, что это занятие доставляет ему некое особое удовольствие. Он неохотно взял удостоверение, повернул его к свету и добросовестно зашевелил губами.

— Да порядок, вроде, товарищ капитан.

— Ну и верни, раз порядок. Пистолетик тоже. Я одного не пойму. Мне ваш майор еще позавчера звонил. Просил ужесточить контроль за домом номер тридцать три. Ну, за этим вот. Говорит, как появится кто подозрительный, так тут же укладывать горизонтально, шмонать по полной, и в отделение. Сам, понимаете ли, звонит, а сам людей посылает и не предупреждает. Странно это все выходит.

Капитан вновь сурово нахмурился, но тут взгляд его уперся в сержанта Филиппова, и капитан подобрел окончательно.

— Николай Михалыч! Тыфу ты! Не узнал сослепу. А ты что же молчишь, стоишь, как целка на выданье. Не признал, что ли.

— Чего ж не признать. Признал, — он смущенно шмыгнул носом. — Просто не знал, что сказать. Вперлись по-глупому...

— Ну вперлись! — капитан вдруг расхохотался. — Чего не бывает в нашем деле. У меня, брат, в семьдесят седьмом вообще история приключилась, срамно рассказывать.

Однако рассказать историю не успел. У сержанта Филиппова вновь ожил телефон. Сержант тотчас проворно, выхватил его из кармана плаща.

— Слушаю, сержант Филиппов... Да здесь мы, на Лесопарковой... Не могу знать, товарищ майор... Тоже здесь, где ж ему быть... Понятно, товарищ майор... Как то есть нет. Есть. Чуть нас мордой в землю не положили... Так точно, есть.

Он не без удовольствия передал трубку, но не Елизарову, который с готовностью протянул руку, а капитану. Тот деликатно откашлялся, принял трубочку, однако говорить предпочел почему-то в стороне.

— Что он там говорит? — сумрачно поинтересовался Елизаров.

— Майор-то? А что он скажет? Я бы тебе сказал, да люди рядом, смеяться будут. И так уж насмеялись.

Капитан говорил долго, верней по большей части молчал, слушал, изредка вставляя: «ага... есть... понял... ну дык... так точно...»

Он вернул телефон, смерил Елизарова насмешливым взглядом.

— Я извиняюсь, конечно, но велели вам доставить гражданина вот этого до его самого дому.

— И то, — кивнул сержант Филиппов явно довольный. — Так и поехали, что ли. А, Алексей Константиныч? — он по-свойски ткнул Елизарова в бок, но тот злобно отмахнулся и, ссутулившись, прыгнул вовнутрь «Узика». Пропустил сержанта и вдруг, развернувшись всем корпусом, зло ощерился.

— А ты, Воронин, пешочком пойдешь. Не будет такого, чтоб я самолично преступный элемент до дома довозил. Может, мне еще покаяться принародно? Так что давай, Воронин, пешим ходом. Прогуляйся, пока на воле. А встретимся мы с тобой — это точно. Это я тебе обещаю... Айда, Поликарпов, поехали. Не хрен тут... Поехали, кому сказано!!!

Елизаров в бешенстве топнул ногой, машина, словно от толчка, плавно завелась и тронулась. Елизаров еще раз глянул исподлобья и с лязгом захлопнул дверцу.

— Вот те хер и вот те здрасьте, — опешил капитан. — Чего он дурит-то как?

— Да я его помню, товарищ капитан, — поморщился молодой сержант. Его между своих за глаза Топтуном зовут. Он когда злится, ногой начинает топтать.

— Точно, — засмеялся капитан, — чуть что — топ ногой! Как барышня. Только размер сорок четвертый. Ладно, Серый, может, хоть ты подбросишь человека до станции? А? Сейчас два без четверти. Через двадцать минут пройдет дизель. Хоть и проходящий, но людей сажает. Пешком он на него не поспеет, и тогда ему до пяти утра, до первой электрички париться. Заодно глянешь, порядок ли.

Бомжи там нынче гужуются, взяли за моду костры палить на платформе под навесом. Иногда деньги у кассира шакалят...

— Да ладно вам, как красну девицу уламывать. И на фига он мне такой хороший сдался, бензин казенный за него жечь?

— Айда, ладно. За бензин я отвечу. Ну, договорились, что ли?

— А пусть он громко скажет: «моя милиция меня бережет». А то мне его до станции везти, а он меня потом ментом поганым поминать будет.

— Мужик тебе в отцы годится, — капитан насупился, — а ты его петухом кричать заставляешь.

— Да ничего. Могу и сказать, — я деловито откашлялся, глубоко вдохнул и вибрирующим баритоном выдал во тьму желанную цитату.

— Ничего, — сержант удовлетворенно кивнул. — Доходчиво. Главное, с выражением. Вы не из артистов часом, гражданин?

— Нет. Просто до утра сидеть под дождем неохота.

— М-да. Хоть откровенно. Поехали тогда.

Человеком любезный сержант Суриков оказался весьма словоохотливым. И то, что я в ходе его многословных монологов о политике, о семейных и садовых делах порой, несмотря на отчаянную тряску, задремывал, его не смущало ничуть.

На платформе было пусто, прибыли мы минут за десять до подхода дизеля, так что успели неспешно выкурить по сигаретке и полюбоваться по очереди на фотографии суриковской восьмимесячной дочки.

— Слушай, Павел Валерич, — сказал сержант, вдруг посуровев. — Мужик ты, вроде, нормальный. Хочешь, совет дам бесплатный? Ты можешь из города уехать? Не надолго, дней на десять. Или две недели.

— Да могу, наверное, — удивился я. — А...

— Ну так и уезжай, не затягивай. Почему? Не оставит тебя в покое этот топтун, вот почему. Клещ он, а не топтун. Он в позапрошлом году в девятом микрорайоне «быка» одного подстрелил. Докопаться до него не смог, вот и пристрелил. Чтoб это прошло, как, вроде, местная разборка. Заодно чтoб блатных на войну поднять друг против дружки. Да как-то все туфтово вышло. Потому что «бычара» тот возьми и выживи. Три пули в животе, а он как Ленин, — живет всех живых. Елизарова тогда чуть с органов не поперли и даже под суд чуть не отдали. Обошлось, но ходит в младших лейтенантах, хоть ему по возрасту можно и в капитанах ходить. Он как заведется, шальной становится, среди нашего брата таких немало. А он завелся, это я по глазам понял. Поедешь?

— Подумаю, — ответил я.

— Давай, думай. За две недели, может, все утрясется. Сам не знаю, зачем я тебе это говорю...

Он хотел добавить что-то еще, но махнул рукой.

Когда поезд подошел, Суриков степенно со мною попрощался, козырнул и вновь деловито оседлал свой сонно всхрапывающий мотоцикл.

Когда поезд прибыл, был уже первый час ночи. Я как-то неловко спрыгнул на платформу, поскользнулся на мокром бетоне, едва не упал и вдруг с тоскливой ясностью ощутил, что устал до изнеможения. Тоскливой потому, что близость дома не вызывала отчего-то должного чувства радостного облегчения и предвкушения. Скорее, наоборот. И еще появился голод. То есть он был уже давно, но когда я вдруг вспомнил, что не только не ужинал, но и не обедал, да в общем-то и не завтракал, голод разом принял очертания резкие и требовательные, как уродливый гипсовый слепок. И когда из расположенного неподалеку тускло мерцающего сооружения густо и пряно пахло съестным, голод обозначился столь явственно, что не замечать его было уже положительно невозможно.

Это вновь был «Веселый Чипполино». Однако факт этот лишь порхнул мимо сознания, едва обдав мимолетным холодком.

В кафе опять что-то изменилось, там, похоже, постоянно что-то менялось. Кажется, более мягким стал свет, напрочь исчезли раздражающе резкие мигалки, музыка на сей раз была, но — теневой, безликой, без вздорной агрессивности и бордельной интимности. Исчез также настырный дух второсортной шашлычной.

Зато тем же самым остался бармен, худой, горбоносый, с тонкой с проседью бородкой, тонко обтекающей скулы и подбородок, в круглых, слегка затененных очках ниже переносицы. Я заказал

порцию солянки, салатик какой-то под названием «Тропикана» и водки. «Неприменно выпейте», — вспомнил вдруг слова майора. А и выпьем, товарищ майор, отчего не выпить. Бармен выслушал, кивнул и указал рукой на столик. «Вас обслужат, подождите», — сказал он с резанувшим южным акцентом. Указал, между прочим, на тот самый столик, за которым он сидел *тогда*.

Ждать долго не пришлось. Едва он сел, расслабленно откинувшись на обитом кожей стуле, как из полумрака материализовалась стройная, похожая на балерину официантка и с изящным проворством выгрузила на столик блюдо с благоухающим, густо заваленным зеленью шашлыком, какой-то искрящийся салат и высокую картонную коробку с коньяком. «Это кому?» — спросил я, окончательно дурея от запаха снеди. Официантка понимающе улыбнулась и исчезла, так ничего и не ответив.

— Позвольте? — услышал я голос бармена.

Он, не дожидаясь ответа, оседлал высокий стул напротив.

— Извините, вы меня ни с кем не спутали? — осторожно спросил я.

Он лишь покачал головой, всецело занятый откупориванием бутылки.

— Вам здесь нравится? — спросил он, когда открыл и разлил по приземистым, пузатеньким рюмочкам. — Только откровенно, пожалуйста.

— Нравится, — ответил я сперва машинально. — Да нет, ей-богу же нравится, — спохватился я, завидев, как скептически, почти обиженно поползли вниз уголки его рта. — Просто в первый раз, когда я тут был...

— В первый раз — это в сентябре, да? — бармен оживленно кивнул. — Помню. И вас помню, и вашего... собеседника. — Но тогда я только начал, понимаешь? (*Уже на ты.*) Тогда тут еще был бардак. Второй раз — уже лучше, да? Ты был один. То есть, вначале один. Кстати, будем знакомы, а? Френсис, — он протянул мне узкую, костистую ладонь. Сразу скажу, это не кликуха, — он брезгливо скривился. — Меня так зовут. Френсис Варосян. Знаешь, почему меня так называли? Мама обожала Джека Лондона. У нее в детстве была книга с картинками. И там был такой Френсис Морган. И она, говорит, была влюблена в этого Френсиса Моргана на картинке. Усики, бакенбарды, тропический шлем...

— «Сердца трех», — я невольно улыбнулся.

— Да! — обрадовано гаркнул бармен так, что некоторые обернулись. — Именно. Слушай, сейчас совсем не читают Джека Лондона, правда? Читают всякую херню, а старика Джека не читают. Вот, кстати, за это и первый тост: за старые книги. Можно? Предупреждаю, Павел Валерьевич, коньяк настоящий, армянский.

— Можно, — кивнул я.

Выпили. Коньяк был хороший.

— Послушайте, а вы откуда знаете, как меня зовут?

— А, случайно, — он поморщился, будто речь шла о пустяке. — У нас хорошая память. Иначе нельзя работать. Ну а у меня, — он усмехнулся, — может, чуть получше, чем у остальных.

— Пожалуй. Вот только я не припомню, чтоб меня тут кто-нибудь называл по имени-отчеству.

— Э, не о том говорим! — он снова поморщился и нетерпеливо щелкнул пальцами.

— А о чем нам говорить?

— А погоди. Сейчас скажу. Слушай, ты какую музыку любишь? — вдруг спросил он, сочно пережевывая. — Ну в смысле — для души. Может, найдем. У меня ведь тут раньше музыка была — попса фанерно-стружечная. Я убрал, хоть народ и просил. Понимаешь, есть люди, которые не могут поговорить, чтобы вокруг не шумела музыка. Потому оставил вот такую, — он небрежно кивнул на чернеющую на стене колонку. — Она хоть никого не раздражает, да? Но никому и не нравится. Как серая стена. Так вот, я и говорю, тебе что нравится?

— Ну не знаю, у вас, наверное, нет... Вот, к примеру, Пол Саймон.

— Пол Саймон есть только «Мост над бурной водой». Подойдет?

— Подойдет, — я вдруг обрадовался. — Давно не слушал.

— Момент, — бармен чуть приподнялся и чуть приподнял вверх указательный палец. Тотчас появилась пышнотелая женщина, он что-то шепнул ей, та с готовностью кивнула и отошла.

На удивление скоро из динамиков послышался знакомый неторопливый фортепианный перебор. Я откинул голову назад и прикрыл глаза.

— Ты спросил — о чем говорить? Сейчас скажу. Понимаешь, тут тебя спрашивали. И все разные. Ну один-то — мент, я его давно знаю. Другой — тоже похож. Не знаю, но чую. Кто третий — не пойму. А раз не пойму, значит и понимать не надо. Мне тут войны не нужно. Я на войне был два раза, — он для убедительности потряс в воздухе двумя пальцами. — В Карабахе и Таджикистане. И мне не понравилось, слушай. Потому я тебе говорю, дорогой Павел Валерьевич, будь осторожен. Ты думаешь: мне терять нечего. Я это по твоим глазам вижу. Я таких на войне знаешь, сколько видел? Я и сам таким был. А когда осколок мины мне на макушке клок волос выдрал, рюкзачок продырявил и дальше полетел, я понял: еще как есть, что терять. Я не знаю, что у тебя случилось, то есть знаю, но — кое-что.

Я и раньше видел, что ты человек хороший, сейчас точно знаю. Но ты должен понять одну вещь...

— А я понял, — я поднялся, — сколько с меня?

Френсис глянул на меня искоса и покачал головой.

— Тебе стало легче от того, что ты так сказал? Ну иди, раз легче.

— Извини, — мне впрямь стало неловко. — Так, как-то вырвалось.

— А, ладно, — он махнул рукой. — Думаешь, мне приятно говорить такие слова человеку? Но меня война учила: можешь помочь человеку — помоги. И он будет жить, и ты. Не можешь, — отойди. Ему не сможешь, себе навредишь. Я помочь не могу. На данный отрезок. Когда смогу — помогу.

Он замолчал, разом опрокинул рюмку, зажмурился и вдруг спросил — тихо, не разжимая глаз:

— Сегодня домой лучше не ходи, а?

— Простите, я не понял...

— Ты все понял. Мое дело сказать. Есть где сегодня переночевать? Если нет, позвони Ирине.

— Ирине? Какой Ирине?

— А ты ее не помнишь? — Он с сомнением покачал головой — Крепко тебя закрутило, если такую женщину, как Ирина, можно взять и забыть, — он вдруг прищурился и покачал головой. — Найти ее сможешь, или помочь?

— У меня, кажется, есть адрес. И телефон. Она мне тогда дала...

— Знаю. Визитку. Я видел. Давай, дорогой, выпьем еще на дорогу. Очень надеюсь увидеться еще.

— Спасибо, сэр Френсис, мне пока достаточно.

Бармен золотозубо ослабилась и хлопнул меня по плечу.

И все же я решил идти домой. Не потому, что не поверил. Просто окончательно взяла свое тупая, нерассуждающая усталость. Дом был убежищем, раковиной. Зыбким и ненадежным, но убежищем. Больше ничего не нужно.

РАКОВИНА

То, что в доме были посторонние, он понял, не открывая двери: замок был заперт на два оборота. Он так давно не делал, замок барахлил, для надежности его еще при Анне закрывали только на один оборот.

Прихожая и кухня были не тронуты. Зато в гостиной был опустошен книжный шкаф. Книги в беспорядке громоздились на столе, на кресле, на полу. Основательно выпотрошен был письменный стол, вскрыт системный блок компьютера. То же творилось в спальне. Тупая изощренность осквернения. Резная шкатулка, кажется, из черного дерева, в которой хранились документы, была почему-то надвое разломана. Она ничком лежала на полу, белея растерзанными внутренностями. Отдельно, на самом видном месте, лежало тщательно расправленное прощальное письмо Анны и свидетельство о смерти. Он осторожно поднял его и потрясенно вздрогнул: под ним лежал сотовый телефон. Ее сотовый телефон.

Среди вещей, которые ему вернули в больнице, его не было. Дома тоже не было. Да он и не вспоминал о нем. Где ж он был? В офисе банка или в кафе «Акапулько»? После чего оказался у Чепика?

Он осторожно, точно боясь чего-то, взял его в руки и включил. Ну конечно, он.

Сам он сотового не имел, ибо никогда не видел в нем особой нужды. Да и у Анны он чаще всего бывал отключен.

Стал вспоминать, как им пользоваться, Анна как-то показывала. Последний набранный номер... Там были две буквы. «Ch». Чепик? Вздрогнул, хотел положить телефон назад, однако лишь стиснул его в ладони. Ладно, дальше. «Reshka». Наверное, Регина. Ему стало жарко, он почему-то обернулся по сторонам и отошел от окна. Дальше. «Gurian»... С трудом удержался от безумного соблазна ткнуть кнопку соединения.

Тут телефон ожил, сиреневый экранчик бледно, будто рябь на воде, полыхнул, запульсировал, послышались дробные гудки зуммера. На экране частоколом появилась многозначная череда цифр. Он обессилено опустил на стул и осторожно тронул кнопку соединения.

«Алло! — голос был незнакомый, резкий и требовательный. — Кто это?»

«А кто вам нужен?» — он говорил спокойно, даже будто увещающе.

«Мне хозяйка нужна. Хозяйка телефона. Где она?»

«Ее нет. Что тебе нужно?»

«Где она, я тебя спрашиваю!»

«Погоди, скоро узнаешь...»

«Ты меня не пугаешь ли, часом?»

«Не пугаю. Просто знаю. Человек, который звонит покойнику, обязательно дозвонится. И скоро...»
Воронин отключил телефон, экранчик поблек и вновь стал неразличимо серым.

И вот тогда он понял, что надо уходить. Прямо сейчас и неважно куда. Покуда не приключилось что-то еще, не выткалось из густой заоконной тьмы. Дом переставал быть домом. Створки истончали и стали полупрозрачными и проницаемыми.

Стараясь не глядеть по сторонам, Воронин начал собираться, так и не решив толком, что с собой брать, взял бумажник с документами, затем, подумав, телефон Анны, вышел и запер дверь.

Однако у выхода из лифта Воронин неожиданно столкнулся с незнакомцем. Это был скверно одетый, молодой человек, лет, наверное, едва двадцати, с худым, напоминающим скисшую сыворотку, бледным лицом. Он смотрел прямо на него, но, казалось, не видел вовсе. Воронин, стараясь не прикасаться, обошел его стороной, но тот неожиданно протянул руку и цепко, по-птичьи схватил его за рукав выше локтя. Лицо его при этом осталось неподвижным, как у куклы.

— Чего это? — неприятно удивился Воронин, с трудом отцепляя от рукава маленькие костлявые пальцы.

— Мужик, — человечек говорил тихо и пискляво, почти не разжимая тонких, синюшных губ. — Ты... здесь живешь?

— Положим, здесь, — Воронин снова отстранился. — Вам кто нужен?

— Мне? — незнакомец вдруг бескровно усмехнулся. — Ты.

— Я вас не знаю.

— А я тебя тоже не знаю. Что с того. Ты мне нужен и все тут.

— Зачем?

— Мне... мне к тебе зайти надо.

— Я уйду. В другой раз как-нибудь, ладно?

— Нет сейчас, — он говорил по-прежнему тихо и бесстрастно, но уже резко и требовательно. — У меня... За мной менты гонятся. Понял?

— Понял. Но помочь не могу.

— Можешь. Потому что за тобой тоже гонятся. Вместе веселей. Договорились?

— Не договорились. Мне и без тебя весело. Прощай.

Воронин отвел его в сторону и пошел к выходу.

— Стоять!!! — вдруг пронзительно взвизгнул незнакомец. Воронин обернулся.

— Врешь ты, пацан. За кем менты гонятся, те дуrom не орут. Те ходят тихо, говорят вежливо и не ищут на задницу приключений. А пугать иди кроликов на ферме, они пугливые.

Он повернулся, сделал несколько шагов к подъездной двери, хотя знал почти наверняка, что сейчас произойдет...

Мальчишка был слабосилен и заторможен, даже злоба не сделала его сильнее и подвижнее. Он как-то неловко вспрыгнул к нему на спину, ухватился за плечи и Воронин успел уловить какой-то неприятно резкий запах. Кажется, лук. Это вызвало короткий приступ бешенства, он, слегка присев, резко подался назад, затем выпрямился и с силой бросил потерявшее опору скорченное, тщедушное тельце вперед через плечо. Тот тяжело упал ничком на пол, и только тут Воронин увидел в его руке нож. Небольшой, складной, неумело переточенный. Раньше такие называли попугайчиками. Подошел, с размаху пнул рукой ниже кисти. Нож вылетел из руки и ударился о плинтус. Воронин не спеша нагнулся и поднял.

— С ножом ходишь? — произнес Воронин, переводя дыхание и нервно сплевывая. — А в ментовку если?

— А не сдашь, — мальчишка, не поднимая лица, вдруг затрясся от смеха. — Забоишься...

Воронин пожал плечами и вышел из подъезда. Нож, не зная куда девать, сунул в карман плаща.

На улице его почему-то стал бить мелкий озноб. Вспомнил френсисовский коньяк. Вот уж сгодился бы. И вообще, эта осень закончится ли когда-нибудь? Подумалось вдруг, что вся эта гнилая морось, чахлая осенняя слизь, плесневелая оторопь как-то очень сложно и неразрывно связана с тем темным, глухим и непереносимо тягостным, что происходит с ним вот уже почти два месяца. Вот пройдет осень и все закончится. Положим. И что начнется? Зима? Он попытался представить себе зиму — метель, сугробы, гололед — почему-то не получилось. Какая-то прерывистая черно-белая рябь, не более. Как в

кино, когда рвется лента.

Стоявшая незримо в темном проеме между домами машина вдруг полыхнула фарами. Милицейский газик. И что с того? У нас, слава богу, все в порядке. У нас с собою, к примеру, паспорт, который ясно удостоверяет, что... Паспорт. Надо на всякий случай...

Он сунул в руку в карман и вдруг наткнулся на рукоятку ножа. Так. А вот это — лишнее, господа. От этого опасного чужеродного придатка надо непременно и незаметно избавиться.

— Мужик! Да, да, ты. Ну-ка сюда иди!

Говорит, как тот худосочный головастик возле лифта. Только смачно и уверенно. И с этим так не получится — через правое плечо да рожей об ступеньку. Только не бежать. Надобно всего лишь раствориться во мраке, чего проще. Как там говорил тот бродяжка — ночью все кошки серы, а серые — того серей. Он подальше зашвырнул нож, тот бесшумно и незримо лег в траву за аккуратно подрезанной стеной акации.

В проеме между тем неохотно ожил мотор машины, режущая полоса света описала короткую, зигзагообразную дугу. Воронин медленно отошел за ржавый скелет сожженного киоска, затем отступил далее в лиловую тьму. Такая тьма бывает, если надавишь пальцами на сомкнутые веки. Тем, в «газике», похоже, не слишком охота в этакую поганую мокреть шастать по подворотням да гнилым зарослям неведомо за кем. Фары угасли, мотор стих. Куда, однако, теперь? Не домой же возвращаться.

Тогда он присел на лавочку, вытащил бумажник, достал из его кармашка ту пополам согнутую визитную карточку. «Детский журнал «Какаду». Гончарова Ирина Викторовна, художник-дизайнер». Отрывисто, второпях отчеркнутый ногтем номер телефона. Глянул на часы — м-да, половина третьего. Решил на этом не заостряться, включил телефон и быстро, не думая ни о чем, набрал пять цифр, которые запомнил сразу же. Гудки. Интересно, что он ей скажет? Бармен Френсис говорил тогда: «такую женщину, как Ирина...» А что уж в ней такого-то? Обыкновенная. Хотя... Голос интересный. Седьмой гудок. Зря, наверное, все это. Пойти на вокзал, да переночевать на лавочке. Девятый. Дождаться двенадцатого — все. Все эти эмоциональные порывы недолговечны. Небось уже к утру пожалела, что дала встречному-поперечному свою визитку. Ну все, двенадцатый гудок. Номер, как говорится, не прошел...

— Алло! Говорите. Вас не слышно...

Это она, голос в самом деле запоминающийся.

— Алло. Это говорит Воронин. Вы меня не знаете, да и я вас не знаю по сути. Извините за поздний звонок. Вы, наверное, забыли уже. Неделю примерно назад. Кафе «Веселый Чипполино». Вы еще тогда сказали...

— Я помню.

— Вы тогда сказали: если вам понадобится помощь. А я, честно говоря, подумал — какая еще такая помощь. Взял вашу карточку больше из вежливости. И вот, вообразите...

— Помощь понадобилась? Именно моя?

— Не то чтоб именно ваша. Просто выяснилось, что идти мне, получается, некуда. Полон город знакомых, друзей, а идти — некуда.

— У вас, простите, нет дома? То есть, я хотела сказать...

— Дом есть. Но там...

— Ладно. Где вы сейчас?

— На улице. Звоню с сотового.

— Я поняла. Слушайте мой адрес. Улица Красина. Знаете, где это?

— Как не знать. Это совсем рядом.

— Тем более.. Дом восемнадцать. Там на первом этаже магазин бытовой химии «Аэлита». Напротив — сгоревший киоск. Подъезд третий. Как раз напротив того киоска. Вы меня слышите?

— Слышу. В сущности, я уже почти возле вас. Так мне идти?

— Идите. Я же сказала.

Воронин хотел сказать что-то еще, но его прервали короткие гудки. Он еще с минуту посидел, затем пошел спокойно и уверенно, будто бывал здесь не раз.

Дверь ему открыли почти сразу же.

Пожалуй, он бы не узнал ее, если бы встретился случайно. Там, в кафе, она показалась ему какой-то блеклой, незаметной, такой обобщенный образ нервной, близоруко-интеллигентной старой девы. Сейчас же перед ним была вполне миловидная женщина, хоть и чисто по-домашнему одетая. Старомодно короткая стрижка, волосы темные с подкрашенной проседью. Едва, впрочем, заметной.

— Здравствуйте еще раз, — он криво улыбнулся, чувствуя, что выглядит несмотря ни на что, жалко и глупо, и что теряет посему едва обретенную уверенность.

И тотчас ощутил закономерный прилив раздражения. Что, в самом деле, за нелепость. Приперся среди ночи в чужой дом. Чем, скажите, может помочь ему эта настороженно притихшая женщина, внимательно разглядывающая его с головы до ног и размышляющая, чего ждать от этой неожиданной ночной напасти?

— Что вы хотите?

— Да нет, ничего. Я сейчас уйду. Извините за беспокойство.

— Не говорите глупостей. Хорошо, спрошу иначе: могу я вам чем-нибудь помочь?

— Вообще-то можете. Мне нужно просто переночевать. Просто переночевать. Завтра я постараюсь уехать.

— Вы можете сказать, что у вас случилось?

— Наверное, смогу. Но не сегодня.

— Вы полагаете продлить наше знакомство?

— Я ничего не полагаю. Просто хочу спать. Сегодня тяжелый день.

— Вижу. У вас кровь на рукаве.

— Кровь? Черт, в самом деле. Но это так, ерунда. Да и кровь давно высохла. Какой-то идиот, наркоман полез на меня с ножом. В моем собственном подъезде.

Она покачала головой.

— Сейчас я вам постелю. Проходите пока на кухню. Чаю хотя бы выпьете?

— Можно чаю. Но не обязательно.

Он с удовольствием опустился на складной стул и прикрыл глаза.

— Вы сказали — уезжаете, — послышался голос женщины из соседней комнаты. — Есть куда?

— Да, — подумав, ответил Воронин. — К сестре. Она живет в другом городе. Но это недалеко. Если позволите, я утром ей позвоню. Правда, не знаю, что получится из этого разговора. Тем более из поездки. У нас, видите ли, как теперь говорят, непростые отношения. Она ведь так и не приехала на похороны Анны. А я был уверен, что придет. Ехать-то — полдня туда, полдня обратно. Неужели можно так свято беречь в себе давние, пустяшные обиды? Как фамильные ценности. Была телеграмма: «Скорблю вместе тобой». И с тех пор все. Вы меня не слушаете? Верно, зачем вам это все. Я и сам...

Через какое-то время женщина легонько тронула его за плечо.

— Я вам постелила на диване. Раздевайтесь. Вы уже совсем спите...

Он уже давно спал без снов. То есть была какая-то неразличимая бесцветная мельтешня за дымной кромкой пробуждения, но он и не силился ее вспомнить. Однако на сей раз сон был просто нереально отчетлив. Он увидел стену. Желтовато-известковую отвесную стену. Отчетливо, до прохладной шероховатости и трещин. Ему нужно было непременно пройти ее сквозь одну из многих сотен узких, извилистых пещер, которые роились вдоль стены, как норы ласточек. Он нашел одну, как показалось ему, относительно просторную, оттуда почему-то прямо пахнуло духом вялой, сырой травы. То, что пещера чересчур узка, он понял слишком поздно, когда уже невозможно было развернуться. Ощувив радужный и тугой ком удущья, он рванулся в отчаянии и закричал...

— Эй, послушайте! Вам плохо?!

Какой-то знакомый голос. Нет, это не Анна. Кто это?

— Это я.

Голос совсем рядом. Необычный. Ну да, это та женщина. Из кафе...

— Да вам совсем плохо.

— Нет, ничего, — он старается говорить спокойно. Получается. Только дыхание, будто после пробежки. И сердце колотит. — Приснилась ерунда.

Он наконец открыл глаза. В комнате, где-то позади тускло горела настенная лампа, полукруглая тень от нее желтовато маячила на потолке. Женщину он не видел, но понимал, что разбудил ее, и что она — полуодета. И еще — был запах. Тот самый, забытый запах, который изгоняет из дома пустоту. Запах жилья, в котором есть женщина. И нестерпимо захотелось, чтоб запах этот не кончался...

— Вам дать что-нибудь? У меня, правда, ничего успокоительного нет, кроме корвалола... Или, может, выпьете?

— Да я уже выпил сегодня.

— В таком случае... Если хотите, идите сюда. Если хотите.

— Хочу, — сказал он почти сразу же. — Но, если можно, потушите лампу.

Утром она старалась держаться спокойно и сдержанно. Будто ничего не произошло. В общем, получалось. Это одновременно и успокаивало, и тревожило. Успокаивало потому, что он решительно не знал своего будущего, и уж тем более не знал, окажется ли каким-то образом в этом будущем странная, стойкая и одновременно эфемерно хрупкая женщина с мягкими, внимательными глазами и тихим, немного задыхающимся голосом. Не знал и не пытался понять, как относится к ней, как к случайному убежищу загнанной твари, или к чему-то иному. А тревожило потому, что эта вот подчеркнута сдержанная и деловая манера пугала возможностью потерять этого человека навсегда, и уже сейчас. Почему-то вспомнил, что ни разу не видел, как она улыбается. Попробовать ее как-то рассмешить?

— Вы ведь хотели позвонить? — напомнила она спокойно и негромко.

Вику очень долго звали к телефону, потом вместо нее трубку почему-то взяла какая-то другая женщина, похоже, тугая на ухо. Ему пришлось долго объяснять ей, кто именно ему надобен, она в конце концов почему-то рассердилась и со скрипучим «Виктория, это вас. Мужчина какой-то!» — отшвырнула трубку. Зато Вика взяла трубку мгновенно.

— Да! — ликуяще грянуло оттуда.

— Вика, это я, — волнуясь, сказал Воронин. — Я. Павел. Ну как это какой Павел. Павел Воронин, твой кровный брат.

— Павлик? — голос растерян и разочарован, — ты из дома звонишь?

— Ну... не совсем, — он покосился на Ирину. — Как ты поживаешь?

— Да слава богу. Ты извини, я тогда приехать не смогла. Закрутилась.

— Да ничего. Вика, у меня к тебе огромная просьба, — старается говорить весело и непринужденно, даже поигрывая голосом. — Огромная. Видишь ли, у меня дело одно в вашем городе. Очень важное. Можно будет мне у тебя на неделю остановиться? — выпалил, перевел дух и замер в ожидании.

— Ну... У меня ведь однокомнатная, ты знаешь. То есть, если тебе уж некуда, то, конечно. Милости прошу, как говорится. Давно не виделись. Правда... Но это ничего. Неделя это, конечно... Даже не знаю. Знаешь, ты приезжай, там придумаем что-нибудь...

— Что-нибудь не так?

Она все это время стояла рядом? Нет, понятно, ей не все равно, когда он закончит свои непонятные и чуждые ей дела и уйдет отсюда ко всем чертям. Да и зачем ей знать про чью-то взбалмошную сестрицу? Однако зачем же так — за спиной? Он понимал, что заводится впустую, но почему-то не хотел себя остановить. Подумалось, что это корявое, бесформенное раздражение может как-то разрядить невесть откуда взявшуюся тягостную двусмысленную паузу. Что так будет легче уйти, и легче все забыть.

— Почему же не так. Все именно так. Так, как и должно.

Женщина удивленно приподняла брови, пожала плечами и отошла в сторону, и именно потому, как она это сделала — вскинула брови и отошла, — он понял, что она все понимает, что нет никакой нужды развивать далее этот усталый надрыв, а надо всего-то доделать дело и уйти. Просто уйти, а уж как уйти, навсегда или на время — обозначит будущее, если, конечно, оно вообще существует, это будущее.

— Ирина. А можно еще звонок? Напоследок.

Она, не оборачиваясь, кивнула.

— Пашка?! — Коля Шатунов говорил необычно тихо. Так говорят люди с больным горлом. — Ничего себе. Ты где сейчас? Дома?

— Нет, не дома.

— М-да. Понятно. И... как теперь?

— Время покажет. В общем, Коля, я уезжаю.

— То есть... А что, уже... Погоди, ты вообще-то куда едешь-то?

— Да так, по делам.

Хотел сказать, что едет к сестре, но вдруг передумал.
— То есть... Погоди, у тебя... все нормально что ли?
— Как тебе сказать. Почти.
— Постой, Паша, — Шатунов вдруг зашелся тяжелым, бесшумным кашлем, — ты все же едешь-то куда?
— Пока сам не решил, — соврал он, сам не зная для чего. — А ты болеешь что ли?
— Ага. А что, видно? Почки у меня, брат, почки.
— Застудил?
— Можно и так сказать. Ладно, Паша, задерживать тебя не буду. Как решишь, куда, так сразу и езжай. Оно тебе и полезно...

— На всякий случай — прощайте, — сказала она напоследок. — В том смысле, что едва ли мы увидимся. Однако если надумаете — приходите.
— Вы будете ждать? — он вдруг усмехнулся.
— Что значит ждать. Если — торчать у окна и бежать на каждый телефонный звонок, то нет.
— Ирина. Я даже не знаю, как сказать...
— И не надо говорить.
— Вы мне очень помогли. Даже не представляете, как.
— Надеюсь.
— Как доберусь, устроюсь, я вам позвоню. Не возражаете?
— Нет.
— То есть...
— Нет — значит не возражаю, — женщина наконец улыбнулась.

ВИКА

Я позвонил Вике прямо с вокзала. В тот самый «Горгражданпроект», в котором она работала. Хотя скорее всего, он назывался теперь иначе. Трубку взяла какая-то плотно жующая девица. «Викторию Валерьевну? А кто спрашивает? Брат? А у нее брат есть? Интересно. Сейчас, минутку». Она пропала надолго, настолько, что я уже собрался вешать трубку. Наконец она торопливо, с шумным придыханием заверещала: «Ой, мужчина, а ее и нету». — «Она вышла?» — спросил я нетерпеливо. — «Ну то есть совсем ее нет», — ответил голос немного обиженно. — «Что значит — совсем нет?! — вышел я из себя. — Вы можете говорить яснее?» — «Виктория Валерьевна ушла в отпуск. Уехала. В Геленджик. У нее семь дней отгулов, вот она и уехала». — «Какой Геленджик! Мы же с ней только вчера...» — «Мужчина, вы так странно говорите, будто у нас шарашкина контора, буквально...»

Я еще раз пытался возразить, что, мол, вот еще не далее как вчера с ней говорил и договорился, но по раздраженному, нервному тону понял, что бесполезно. Разбираться надо на месте. Вика осталась Викой.

Где-то без пяти шесть я занял подходящую позицию возле газетного киоска. Позиция впрямь была вполне удобна — хорошо была видна проходная «Горгражданпроекта», и даже упитанный, усатый, похожий на циркового моржа вахтер в сине-зеленой униформе. Киоскерша вскоре начала на меня пялиться с хмурой настороженностью. Пришлось заняться изучением расписания пригородных автобусов, даже водить для верности пальцем по стеклу, щурить глаза и покачивать головой.

После шести народ активно повалил из проходной. Пришлось выйти из укрытия, дабы невзначай не пропустить. Народ, однако, схлынул, Вики не было. «Что же, получается, не врет? — я встревожился. — Неужто в самом деле уехала? Быть не может такого». Но додумать не успел.

Я узнал ее сразу, хотя не видал бог весть сколько. Ее всегда можно было узнать издалека. По торопливой, забавно раскачивающейся походке. Словно никак не могла найти равновесие. Почему-то стало смешно и радостно. Несмотря ни на что.

Решил ее окликнуть. Вышло почему-то неестественно громко. Она тут же панически вздрогнула, втянула голову в плечи и осторожно обернулась.

— Вика, здравствуй! — гаркнул я с уже совершенно ужаснувшей ее приветливостью. Хотел обнять, но подумал, что, пожалуй, выйдет еще глупей. — Я вот тут дожидаюсь. А то звоню, а мне говорят: в отпуске! Геленджик какой-то. Чудной у вас народ какой-то, ей-богу. С чего это тебе быть в отпуске,

когда мы ясно договорились. Ты скажи там...

— Павлик... — Вика наконец почти пришла в себя. Правда, из братских объятий опять же ничего не вышло. Какое-то вымученное поглаживание по плечу, не более. Она смущенно засмеялась. — Мы как-то... Стоим как-то посреди улицы, как... Ты где остановился?

— Да нигде в общем-то, — я изобразил, как мог, удивление, хоть и не удивился вовсе. — Я вообще думал — у тебя. Да я не надолго, неделя, не более. Ты ведь не против? В кои веки, как говорится.

— Я? — она судорожно сглотнула, на ее лице вновь блекло забрезжила, полуплачущая улыбка. — Нет, конечно. С чего мне... Я просто... Слушай, Павлик, а давай-ка мы сейчас... Тут недалеко есть блинная. Очень симпатичная. Чебуреки там славные. Мы с девчонками иногда сюда ходим. Пива можно заказать. Водки тоже... можно. Зайдем? Отметим. А то стоим...

Она глянула на меня как-то непонятно: жалобно и одновременно с глухим, глубинным раздражением. Стало даже не по себе. Да еще резануло это — *Павлик*...

— Ну конечно, — я с ликованием кивнул. — За встречу, туда-сюда. Хотя, может, лучше дома?

Вика не ответила, просто пропустила мимо ушей и, взяв меня за локоть и быстро обернувшись по сторонам, повлекла куда-то в сторону.

Ничего симпатичного в той блинной, которая именовалась «Лагуна», не было. Темный полуподвал со сбитыми ступенями, толчея, сырая духота и слабый запахок чего-то давно протухшего; медлительная, раздраженная кассирша с толстыми кукольными пальцами. На стенах какая-то бордово-синюшная мазня в рамках. Пока стояли в очереди, наконец разглядел Вику. Густо перекрашена под брюнетку, абрикосовый румянец под глазами, многослойно запудренный нос, поддернутые русалочьи ресницы. Одета во что-то — не то с чужого плеча, не то неловко перешитое. Я отвел глаза, она заметила и усмехнулась.

— Тебе пива какого? — спросил я, не к месту улыбаясь.

— Пива? — Вика удивленно оживилась. — Ах пива... А и не знаю даже. Может быть, водочки? — она вновь глянула на меня с жалкой улыбкой. — Чисто по-братски. Нечасто видимся. Помнишь, папа мне на свое сорокалетие водки налил? Тебе шампанского, мне водки. По ошибке, что ли. Че было! Помнишь? Тебе здесь не нравится? — Она вновь нахмурилась. — Вижу, что не нравится. Ну как уж есть. Мы ведь живем не то что вы. Давай так: мне пятьдесят, тебе сто и пару чебуреков. Сколько с меня? Не надо? Как знаешь.

Когда мы переместились к столику, настойчиво запиликал телефончик. Какая-то вездесущая мелодийка из сериала. Вика, успокоившаяся было, переменилась в лице, снова заметалась, полезла в сумочку, извлекла, отчаянно путаясь в кармашках, пиликающую серебристую болваночку, быстро зыркнула в его синеватое мерцающее око и затрещала.

— Да, Венечка!.. Ну конечно, Венечка... Я тоже, Венечка... Нет, не дома... Да тут, — она быстро и ощутимо глянула на меня, — недалеко от работы. Блинная тут есть, помнишь, наверное. Понимаешь, брат приехал. Я говорила тебе про него. Ну вот, приехал... Что значит, в каком смысле? В самом прямом, — она с усилием улыбнулась. — ...Пока не поняла. Думаю, что нет... Давай я тебе перезвоню, я сейчас не могу говорить... Венечка, ну что ты глупости говоришь! Я же говорю...

Телефон зло запищал, Вика рассеянно положила его на колени, уставилась куда-то в сторону невидящим взглядом, затем, вновь глянув на меня исподлобья, лихорадочно забарабанила пальцами по кнопочкам.

— Веня! — выкрикнула она в слезном остервенении. — Не смей вешать трубку. Я скоро тебе перезвоню. И не говори ерунды!

Все так же ни на кого не глядя, Вика сунула телефон в сумочку.

— Я некстати? — деликатно подал я голос.

Она лишь махнула рукой, не меняясь в лице.

— Ну тогда — за встречу, что ли? — облегченно сказал я поднял стаканчик с ухмыляющимся лиловым дельфином.

Вика кивнула и выпила. Всю разом, до дна.

— У тебя что-то случилось? — спросил я не очень, однако, искренне. — Ты что-то сама не своя.

— У меня?! — Вика наконец удостоила меня взгляда. Лучше бы, впрочем, не удостоивала. — Может, лучше скажешь, что у *тебя* случилось? Только не говори, что приехал потому, что соскучился. Ладно?

— Ладно, не буду, — согласился я, но это ее взорвало еще более.

— Замечательно! Пятнадцать лет ни слуху, ни духу, как я, где я. Ни письма, ни звонка. Есть сестра, нет сестры. Нет, я понимаю, Анна была против... Хорошо, не будем про Анну. Хотя она меня ненавидела. Господи, за что?! Все, молчу. И вот после пятнадцати лет небытия выяснилось, что Вика

существует! Вот ведь не поленился к проходной подойти...

— Вика, кстати, а почему ты сказала, ну там, на работе, что ты будто бы в отпуске и уехала? Так и сказала? Мол, будет звонить брат, скажите, что нет меня, я уехала? Интересно, как ты это им объяснила?

Вика вновь глянула на меня из-под разномастной челки, промолчала. Повертела в руках стаканчик

— Еще принести? — я привстал.

— Нет! — она ударила ладонью по столу. Сидящие вокруг обернулись.

— Думаешь, я алкоголичка? — Она перешла на злой шепот. — Ну да, спилась, мол, старая дева на известной почве!

— Я ничего такого...

— Ладно, хорошо, — Вика вдруг успокоилась. — Да, вообрази, так и сказала. Примерно так. И не объясняла ничего. Видишь ли, когда ты мне позвонил и сказал, что приедешь, я даже обрадовалась. Родная душа, отчего не порадоваться! Почему ты оборачиваешься? Я громко говорю?! Хорошо, буду говорить тише. И хватит меня разглядывать! Так вот, поначалу. Обрадовалась. А потом, извините, вопрос: а с чего это неожиданно-негаданно такое счастье несказанное? Просто так? Я, дорогой мой, давно не верю, что бывает что-нибудь просто так. И вот вчера я позвонила...

— Это кому же?

— А неважно.

— Да конечно, неважно. Хочешь, скажу, кому?

— Ну, раз догадался, значит, она была права.

— Господи, ты-то откуда ее знаешь?!

— Регину Вячеславовну? А вот это точно неважно. Она сказала... Да, коли на то пошло, ничего она конкретно не сказала. Сказала только, что вокруг твоей покойной супруги случилась какая-то темная история, и что она тебя во что-то такое втянула. Сама, вроде, не желая. Ну, желала она или не желала, теперь неважно. Важен результат. Я скорблю по ней, и, главное, тебя мне, Павлик, от души жаль. Но только ответь мне бога ради, зачем *мне* все это нужно? Почему *я* должна жертвовать всем тем, что у меня есть сейчас?... погоди, не перебивай! Понимаешь, я всю жизнь, всю свою чертову жизнь жила для других. Я почему-то всем была по гроб жизни должна и обязана. Мне — никто. Зато я — всему белу свету. Когда отец бросил маму, я жила для мамы. Мама тогда была в жуткой депрессии. Даже заговаривалась. Я ходила за ней по пятам, как за малолеткой. И выходила. Ты-то этого не заметил. Куда там, у тебя тогда была Анна, центр мироздания! И так всегда. Каждый раз, когда мне, как говорится, улыбалось счастье, возникала какая-нибудь грозная семейная проблема. И не смей ухмыляться, это в самом деле так. И вот теперь я наконец научилась жить *для себя*. Я перестала себя ощущать обязательным вспомогательным звеном чего-то общего, семейного и стала сама по себе! У меня наконец появилась личная жизнь. Можешь это понять?

— Насколько я помню, твоя личная жизнь у нас в доме постоянно была чем-то вроде чудотворной иконы.

— Это ты так думаешь! — Глаза Вики недобро и даже как-то радостно полыхнули. И все вы так думали. А вот появился человек, который меня, вообрази, любит. Понимаю, тебе дико это слышать! — Она засмеялась неестественно громко, театрально откинув голову назад. — Еще бы! Я видела, как ты меня разглядывал. С такой чисто отцовской ехидцей. Ты вообще, Павлик, с головы до пят в нашего папу...

— Вика, не зови меня Павликом, пожалуйста.

— Да бога ради. Я вообще могу... погоди, я договорю. Так вот, появился человек. Совсем недавно, месяца два назад. Он... немного моложе меня и у него...

— Понятно. Опять женатый. Это тот, что звонил сейчас? Венечка? Или другой?

— Хочешь меня оскорбить? Тебе это обычно удавалось. Теперь не получится. Я теперь совсем другая!

— Я вижу. Я и не хотел тебя оскорбить. И вообще, Вика, успокойся, хорошо? Я ведь все понимаю.

Голос Вики, уже почти переходивший в крик, осекся и влажно завибрировал. Ожесточение как-то прошло, а больше опереться было не на что.

— Что ты понимаешь? — Вика нахмурилась, подбородок ее мелко задрожал, уголки рта рябью поползли вниз.

Я, сам не зная для чего, протянул руку и погладил ее по щеке. Она сначала дернулась, затем сьежилась, прижав плечом мою ладонь к своей щеке, и снова всхлипнула.

— Извини, я говорил... неподобающе, скажем так. У меня впрямь небольшие неприятности. То есть, были неприятности. Но, в общем, самое скверное уже позади. Так, мелочь осталась какая-то. Я как-нибудь тебе все расскажу, ладно? Потом.

Вика закивала, затем коротко всплакнула, торопливо вытерла, как в детстве, оттопыренными мизинцами слезинки, и снова кивнула.

— Ладно, — сказала она вдруг севшим, насморчным голосом. — Павлик... Паша, ты ведь мне в самом деле все расскажешь, да?

— Ну конечно. А теперь я пойду, пожалуй, да?

— Ну да, — Вика кивнула, глядя в сторону, и ностальгически улыбнулась. — Ты куда сейчас? Обрато туда, домой?

— Ну, домой-то еще рано, наверное, еще. Здесь где-нибудь, в гостинице. На неделю. Там видно будет.

— Ну конечно! — Вика снова засмеялась, на сей раз облегченно, от души. — У нас тут есть чудесные гостиницы. И недорого совсем. «Лето», к примеру. Не бывал там? Там окна выходят на речку, воздух замечательный. А ты ведь мне позвонишь, да? Только дома у меня телефона нет, а на работе... Лучше не надо на работу. Если хочешь, можешь мне позвонить на сотовый. Дать номер? У тебя, кстати, есть сотовый?

— Да что-то пока нет. Наверное, придется завести.

— Ой, конечно. Я без него прямо как без рук. Так если хочешь, я тебе его напишу, так ты его не zapomнишь. Написать?

— Да ладно, Вика, в другой раз. Хорошо?

Вика тут же кивнула, не скрывая облегчения, и быстро убрала в сумочку ручку и листок из блокнота.

— Ну что же, пойдём, — сказал я и поднялся. Стало нестерпимо душно. Кроме того, нужно же было куда-то девать не к месту накатившую волну раздражения. Скажу еще чего-нибудь ненужное. Ни к чему.

На улице Вика вновь стала настороженно озираться по сторонам.

— Ладно, Вика, — сказал я бодро и весело. — Рад был повидаться. Приехала бы и ты в родные места.

Вика быстро, как кукла, закивала и нетерпеливо улыбнулась.

— Ну прощай, сестрица. Как мало нужно для счастья, верно? Верно?

И, увидев, как лицо ее вновь приняло плаксиво-вопросительное выражение, я торопливо чмокнул у ее гипсовую от напряжения щеку, повернулся и зашагал прочь. Не хотел оборачиваться, однако у самого угла все же не удержался. Вика неподвижно стояла спиной ко мне, как-то вся съежившись. Почему-то показалось, что она плачет. Даже плечи вроде вздрагивали. Решил вернуться, но уже на полпути понял, что ошибаюсь.

— Венечка, — скороговоркой лепетала она в телефонную трубку. — Ну я же сказала. Господи, какой же ты глу-упый...

«Ну что ж, — легко сказал я себе, — «Лето» так «Лето»...

ТРЕЩИНА

Администратор в гостинице, коренастая, плотно сбитая женщина лет пятидесяти с нездорово бледным лицом, и темными тенями под глазами, долго и брезгливо разглядывала его паспорт, для чего-то прочла его от корки до корки и что-то произнесла тихим, немного сипловатым голосом.

— Не понял, — переспросил Воронин.

— Я говорю, цель приезда какая? — администраторша вскинула редкие оранжевые брови.

— Командировка, — ответил Воронин и попытался улыбнуться.

— Командированные у нас сюда не селятся, — строго и назидательно сказала администраторша и вздохнула, точно с сожалением, возвращая паспорт двумя пальцами. — Командированные селятся в «Колосе».

— Не знаю, — сказал Воронин, — мне порекомендовали именно «Лето». Воздух, говорят, хороший. Тишина. Персонал тоже. Хороший.

— Тишина, — кивнула администраторша. — Пока не перепьются. А как перепьются ни тишины тебе, ни воздуха. На прошлом месяце в триста девятой мужик повесился. Сама снимала, больше-то некому, у нас все чувствительные. Из Сызрани мужик. Прикинь, это ведь нужно было с самой Сызрани ехать, вселиться в триста девятую, чтобы тут взять да и удавиться. У вас тоже, гляжу, настроение неважное.

— Так, ладно, — нахмурился Воронин, — у вас номера свободные есть?

— Есть, как не быть, — снова вздохнула администраторша и улыбнулась. Улыбка была какой-то странной, уголки рта полезли не вверх, а горизонтально в стороны. — А вот мне ваше лицо чего-то знакомо. Вот ну знакомо и все. Вы у нас тут были?

— Нет. Буквально впервые в вашем городе. Если можно, ключ, пожалуйста. Устал с дороги.

— Да ради бога! — администраторша улыбнулась еще шире и сунула ему в руки ключ со щербатой

алюминиевой биркой. Рука ее была прохладная и шершавая. — Комнатка ваша пятьсот четырнадцатая будет. Пятый этаж, слева по коридорчику четвертая дверь. Лифта нет и не будет. Буфет не работает. А хоть бы и работал, там одни шоколадки да газировка. Есть ресторан напротив. Тоже «Лето». Только туда нормальные люди вечером не ходят. А вы, значит, здесь впервые? Чудеса прямо...

Однако Воронин ее недослушал и, поблагодарив кивком, быстро зашагал по лестнице вверх.

В номере не было света. Воронин тут же сказал об этом дежурной по этажу, пожилой и необыкновенно суетливой, несмотря на немалую полноту женщине. Та, словно никак не желая с этим смириться, долго недоверчиво щелкала выключателем, то и дело цокая и сокрушенно повторяя: «Вот те раз». Наконец все-таки выдала лампочку. «Так вы уж, гражданин, сами вкрутите. А то у меня давеча прямо в руках лопнула. Как еще жива осталась со страху!»

Свет от лампочки был тусклый, жидкий, раздражающе подрагивающий. Воронин деревянными шагами обошел комнату, Неприятно хлюпающий под ногами волнисто вздутый линолеум. На стене, над треснувшей умывальной раковиной — изображение декоративного красноперого индейца. Воронин долго и удивленно смотрел на него, затем подошел к окну, для чего-то пощупал батареи. Из окна в полумгле чахло желтели полуоблетевшие березы с редкой, чудом сохранившейся прозеленью. Со стороны парка в открытую форточку тянуло промозглым, горьким дымом, что-то, наверное, сжигали.

Он лег на продавленную деревянную кушетку, закинул руки за спину, закрыл глаза и стал терпеливо дожидаться, когда ленивые, мимолетные мысли начнут сталкиваться, слипаться в ком, чтобы потом раствориться во мраке... И вдруг уже начинающийся сумбурный водоворот прервался каким-то странным, тяжелым толчком изнутри. Он удивленно открыл глаза. Прислушался, затем поднялся, подошел к двери и открыл. Никого не было. Воронин вновь закрыл ее и запер на ключ. На какое-то время стало спокойнее. Однако вскоре то странное беспокойство вернулось вновь, оно было не вне, а где-то внутри него, некое воспоминание, оно отчаянно рвалось наружу, но никак не находило опоры в памяти.

Понял, что уснуть не получится, решил закурить, иногда это успокаивало. Чиркнул зажигалкой, однако решил выйти на лоджию. Открывая дверь, заметил вдруг длинную, волнообразную трещину в оконном стекле, отчего-то зябко вздрогнул и вышел на воздух.

Глоток табачного дыма впрямь успокоил его, и он уже готов был посчитать свое недавнее состояние нервным расстройством, да чем угодно, но трещина на мутноватом стекле, напоминающая очертаниями какие-то сюрреалистические прибрежные дюны, вновь отбросила его на давний берег, не то чтобы забытый, но по-прежнему парящий без опоры.

Стоп. Он здесь впервые, он здесь *никогда* не был. Вот с этого надо начать, да этим бы и закончить, ибо мало ли бывало гостиниц, перегоревших лампочек, треснутых стекол и раковин, привязчивых администраторш. Так что никакой опоры и быть не может. От этой простой мысли стало на некоторое время легче. Но, пожалуй, он отсюда съедет. Нет, не сегодня. Завтра. Завтра к вечеру.

На соседнюю лоджию, отделенную полтораметровой пластиковой перегородкой, вышел невысокий лысоватый мужчина. Он шумно, по-домашнему зевнул, однако, увидев Воронина, почему-то смутился, что-то пробормотал, подошел к перилам и тоже закурил.

— Три дня тут гнить, — сообщил он, уныло сплевывая вниз и провожая глазами плевочек.

Воронин понимающе кивнул. Мужчина косо оглядел его, затем отвернулся, затем снова оглядел.

— Занесло же в дыру, ежова мать, — ругнулся он и снова сплюнул. — Вы не в командировку?

— Что-то вроде, — Воронин через силу улыбнулся.

— Да? А у меня тут встреча деловая. Сегодня и в понедельник. Вот так. Удумали, да? Выходные тут торчат. И ведь главное, все понимают, что от встречи этой проку не будет, а торчи!

Воронин вновь кивнул, сказал соседу: «извините», выбросил окурочек и вернулся в комнату, вновь зацепив взглядом трещину на оконном стекле.. И вдруг ему показалось, что он вспомнил. Тут же прогнал от себя эту мысль. Да нет, это-то здесь причем! И все же уцепился цепкими коготками памяти за край той трещины...

Это был один из тех глухих, заповедных уголков памяти, в которые он с некоторых пор запретил себе заглядывать.

Было это нестерпимо давно, и гостиница называлась «Бриз».

После той сумасшедшей полуночной встречи в подъезде в ночь после шатуновского дня рождения нужно было что-то делать. Ну вот нужно было, и все. Анна тогда сказала: «Я что-нибудь придумаю. Но не сейчас. Ладно?» — «Нет, — сказал Воронин, — сейчас. Прямо сейчас. Это возможно?» — «Возможно, — подумав, сказала Анна и тихо рассмеялась. — Но не сию секунду. Договорились?» — «Нет, — упрямо ответил Воронин. — Именно — сию.» — «*Сию* не получится, — она нахмурилась. —

Давай я переоденусь, а то здесь холодно, и мы что-нибудь придумаем...»

Она переделалась, и, несмотря на негодующий столбняк родни, они ушли. Куда, Воронин не спрашивал, это не имело значения. Он вышел деликатно, на цыпочках, будто боялся кого-то разбудить, хотя никто и не спал. «Ты еще поймешь, какую глупость делаешь», — тихо, но проникновенно сказала на выходе сестра Лариса. «Это она кому? — спросил Воронин уже на улице. — Мне или тебе?» — «Не знаю, — ответила Анна. — Да это и неважно. Важно, что Лариска редко ошибается...»

В ту ночь выпал первый снег. Он густыми волнами падал на зеркально черный асфальт и никак не мог на нем закрепиться. Они поймали ночное такси и укатили в другой конец города. Возле гостиницы она оставила его, недоумевающего и встревоженного, в кабине, долго и нервно давила на дверной звонок, нетерпеливо и зябко ежась, потом, отчаянно жестикулируя, втолковывала что-то раздраженному и полусонному швейцару, наконец прошмыгнула вовнутрь, где пропала основательно. Воронин уже почти пожалел, что ввязался, когда в приоткрывшуюся дверь протиснулась ее голова. Голова вначале утвердительно кивнула, хотя он ни о чем ее не спрашивал, затем как-то приглашающее качнулась. Воронин, потев от стыда, выгреб всю имевшуюся наличность в презрительную скукоженную короткопалую ладонь водителя и торопливо вышел.

Швейцар осмотрел его с интересом. От него пахло квашеной капустой и казенным имуществом. Он счел, что, допустив ночных пришельцев вовнутрь с заснеженной улицы, он уже совершил некий нравственный подвиг, и о том, чтобы пропустить их дальше, не могло быть и речи без соответствующих указаний. Зато был словоохотлив и любопытен.

Минут через десять по лестнице в халате и туфлях на босу ногу спустилась хозяйка, белесая, как-то по-цирковому раскрашенная блондинка. «Афанасий, — гневно сказала она, судорожно давя зевоту. — Это что за самодеятельность? До тебя нормальная речь не доходит?»

«Юлька! — громко сказала Анна и громко засмеялась. — Ты чего это бузишь! Глазенки-то протри. Совсем нюх потеряла!»

Хозяйка вперила в нее потрясенный взгляд, что-то хотела сказать, но осеклась. «Аннушка! — взвизгнула она. Неужели ты?..»

Это была ее одноклассница Юлия Борисевич. В школьные годы была туповатой дурнушкой, однако беззлобной и не обидчивой. Отец ее был директором книжного магазина «Литера». Дома у нее царил роскошная и девственно нетронутая библиотека. Юлия раздавала книги направо и налево, и то ли от забывчивости, то ли от застенчивости, никогда не требовала назад. К Анне она сохранила прежнее шумное обожание, которое закономерно перенеслось также и на Воронина.

В номер, рдея от смущения, она принесла бутылку шампанского и торт с розово-сиреневыми буклями. Бутылку пожелала непременно открыть сама, она долго не открывалась, наконец бутылка вяло пукнула и залила ей розоватой пеной обтягивающие брюки в блестячку. Выпив полбокала, тотчас опьянела, потом сумбурно пыталась вспомнить какую-то песню, потом расплакалась, прижав к щекам ладони, после чего засобиралась уходить. Ее не удерживали.

«Погоди, Паша, — сказала Анна, когда Воронин, порозовевший от шампанского, неловко попытался усадить ее к себе на колени. — Успеем. Что, что, а это успеем. Мы ведь даже не поговорили. А?»

И они говорили почти до утра. Воронин нес какой-то вздор, рассказывал ей о своей жизни, как о каком-то сплошном уморительном приключении. Выдумывал всякие нелепицы, лишь бы ее развеселить. (Потому что Анна, когда не смеялась, тотчас *уходила в себя*. Цепенела и смотрела в одну точку.) И Анна громко смеялась, да так громко, что в стену гневно постучались. Тогда Воронин перешел на шепот. «Лучше говори нормально, — вновь смеялась Анна, — от твоего шепота шевелятся занавески». От смеха у нее выступали слезы. Так было всегда.

Потом все произошло. Все произошло, вроде, правильно, но как-то не так, как должно было бы произойти, как мечталось, тайно и судорожно. Он словно боялся чего-то или торопился. Засыпая, подумал: «Господи, да это же Анна. *Это было* с Анной». С тем и уснул счастливый.

Проснулся поздно, было уже светло. Анны рядом не было, но все было настолько пропитано ее запахом, что он не сразу это заметил. Однако увидел ее, едва приподняв голову. Она сидела на лоджии, прямо на перилах и курила. «Простудится, ангина», — подумал он, щурясь со сна. Вдруг вспомнил: пятый этаж. Влез в брюки и босиком вышел на лоджию.

Снег, влажный и бессильный, похоже, шел всю ночь. Перила были густо, волнообразно облеплены снегом. Сверху доносилась музыка, причем явно не по радио, потому что звучал какой-то недостижимо далекий, хриплый блюз. Резкие гитарные всхлипы, тяжелый, раскатистый бас и то поверхностные, то уверенно напористые фортепьянные трели. Радио в ту пору передавало другое. Анна покачивала — головой и рукой с дымящейся сигаретой — в такт музыке. «Ань, ты не простудишься?» — спросил он. Она была в длиннополой клетчатой рубаше до пояса, закатанном до колен трико и шлепанцах на босу ногу. Анна зажмурилась и затрясла головой, не переставая раскачиваться под музыку. «Пятый этаж, между прочим», — нервно сказал он. Она кивнула, однако продолжала раскачиваться, причем на сей

раз не только направо-налево, но и вперед-назад. Он уже хотел было стащить ее с перил, но музыка закончилась, Анна, выбросила сигарету, сгребла ладонью горсть снега. Подняла руки, сказала свое любимое: «Хей-хоп!» и спрыгнула с перил. Воронин едва успел облегченно вздохнуть, как она произнесла: «Ну вот, испортил песню!», как тогда, у Чекунова, и запустила в него снежком. Чтобы он поймал. Ловить он не стал и снежок угодил в окно. Окно немедленно треснуло.

«Ну и что ты натворил?! Что я теперь Юльке скажу?» — Анна возмущенно округлила глаза.

«Я натворил?! Это что же, я виноват?» — Воронин задохнулся от негодования, но Анна неожиданно подскочила к нему и обхватила за шею холодными и влажными от снега руками. — «Ты виноват, — громко, по складам сказала она ему прямо в ухо горячо и щекотно. — Ты всегда и во всем виноват. И это замечательно».

После чего они, так и не разъединяясь, совокупно, кругами переместились в комнату, и на сей раз все произошло куда чудесней, чем было ночью. Именно так, как он себе это и воображал столько лет в мечтах.

«Лихая у тебя девка», — одобрительно сказал сосед по комнате, когда он в промежутке, чумной и голый по пояс, вышел покурить на лоджию. Непонятно, однако, что он имел в виду, то ли вызывающее сидение на перилах, то ли долгую голубиную возню, которая состоялась потом.

А вечером позвонила Регина. Она дозвонилась до Юлии, поговорила с Анной, затем попросила Воронина и сообщила, что его весь день разыскивает сестра Вика, потому что у его матери сердечный приступ.

Приступа никакого, как выяснилось, не было, была нормальная семейная истерия, вдохновенно взращенная и воплощенная Викой...

Воронин вздрогнул и отвел глаза от окна. И тотчас трещина льдисто зазмеилась на стене. Видно, очень долго смотрел. Он зажмурился, но трещина сразу же махом рассклала надвое радужную мглу сомкнутых век. Тогда он подошел к окну и провел по трещине кончиком указательного пальца, повторяя ее покатый, волнообразный рельеф. И тут произошло нечто вовсе непостижимое: нижний край стекла вдруг подался вперед и, не найдя опоры, со звоном упал наружу, на лоджию.

Воронин торопливо, точно в испуге отошел от окна. «Анна, — внезапно осипшим голосом сказал он. — Ты здесь?»

Молчание, лишь шевельнулась и раздулась парусом штора от ветра, прянувшего из разбитого окна. В дверь громко и требовательно постучали. Он торопливо, словно боясь быть уличенным в чем-то, открыл и увидел на пороге дежурную.

— У вас разбилось что-то, гражданин? — сурово и требовательно поинтересовалась она, сиюсья через его плечо заглянуть в комнату.

— Да нет, ничего, — попытался он неловко соврать.

— Ничего. — Она уничтожающе усмехнулась. — А я не вижу. Я слепая, да? Окошко у вас выбито, вот что. Кто выбил? Может, я выбила?

— Там была трещина. На стекле. Вот оно по трещинке и разбилось.

— Трещинка! — дежурная глянула на него как на школьника. — Врать-то не стыдно, гражданин? А то я не знаю, где у нас трещины, а где нет. Платить придется, гражданин. А то если каждый начнет...

— Ну конечно. Заплачу. Что ж не заплатить. Но вообще-то трещина была. Я ж сразу обратил внимание...

Однако дежурная уже подобрела. К тому же из соседней двери показалась голова соседа. Разговор потерял смысл, дежурная с остаточной строгостью покосилась на Воронина, даже пальцем погрозила, но тут же кивнула и удалилась, поминутно оборачиваясь и улыбаясь.

— Подход к бабам нужен, — сказал сосед и назидательно крякнул. — Иначе мыкаться будешь по жизни.

Воронин кивнул, однако сосед не намеревался завершать беседу.

— Слушай, — сказал он, взяв его в оборот, — тут тоска дремучая, соседи все какие-то неврубастые. Ну, кроме тебя, ясно дело. Я это к чему? Может, сообща поищем по этажу народ, да и пульку сочиним?

— Я, знаете, не играю, — Воронин с сожалением покачал головой.

— Ну вот. Тогда, может, выпьем по-простому? Тоска тут какая-то, выть охота.

— Выпить, оно можно. Только у меня нет ничего.

— И у меня нет. — Сосед погрузился. — А мы сходим. А? — он с надеждой глянул на Воронина. — Я сейчас мигом оденусь.

— Ладно. Я сам схожу, — Воронин благодушно улыбнулся, вспомнил, что и сам хотел выйти на воздух. — Я, собственно, почти одет...

— В киоске не бери, — крикнул вслед ему сосед. — Там, по всему, видать, паленка. Бери в

магазине. Что возле огня. Увидишь там.

СВЕТ СУМЕРЕК

Едва выйдя из стеклянных дверей гостиницы, я с удовольствием вдохнул сырую и ветреную травяную горечь. Вика была почти права, воздух не то чтобы замечательный, но хороший, в общем. Не то что в центре. Ресторан действительно был напротив, двухэтажное стеклобетонное сооружение с дугообразной, под радугу оформленной надписью «ЛЕТО». Возле дверей сиротливо зябли на ветру, часто пыхая сигаретками, три-четыре девицы в коротких плащиках и сапожках выше колен...

Где-то позади, со двора гостиницы вдруг хвостато взмыла вверх петарда, некоторое время грузно взбиралась вверх, затем обессилела и наконец тяжело разродилась тусклой и аляписто пестрой гроздью огней.

Прошел мимо ресторана к выходу из парка. У самых врат громоздилась многометровая стела, к подножью которой сиротливо жалось от ветра пламя вечного огня. Зато неподалеку уютно и кокетливо посверкивала надпись «Огонек». Судя по спующему люду, это и был магазин.

— Мне, пожалуйста бутылку водки, — сказал я продавщице, которая почему-то была сильно похожа одновременно и на администраторшу гостиницы, и на дежурную по этажу, — ну и что ли буженинку вон ту.

— Вам какую? — Продавщица снисходительно покосилась на мой непритязательный наряд. — Водку в смысле. Простую какую-нибудь?

— Ну зачем же. Давайте ту, с третьей полочки, с желтой этикеткой.

— Это «Аметист», — продавщица почему-то обиженно поджала губы, — дорогая.

— Вот и давайте ваш «Аметист».

— А на закусочку рекомендовала бы кетчуп «Вальпараисо», — с внезапным оживлением зашебетала продавщица. — Из горяченького — пельмени «Уральские». Все говорят, замечательные. А если, к примеру...

— Давайте для начала «Аметист» и грамм двести буженины. А уж с горяченьким — по ходу дела....

— Хоп-момент! — раздался вдруг прямо за спиной чей-то голос. — А здарсьте вам, пожалуйста, добрый человек!

Я обернулся. Позади, как-то нервически переминаясь, стоял незнакомец чуть ниже меня ростом, скверно одетый, белобрысый, краснолицый, с дегенеративно маленьким, сплюснутым носом и бугристой, как лунный пейзаж, головой на длинной рахитичной шее.

— Я вас не знаю. Вы обознались.

— Эка беда, не знаю! — Незнакомец залился смехом. Смеялся он неестественно, захлебываясь и откидывая голову назад. — Зато другие тебя знают. Кто же тебя, такого Петровича, не знает!

Я взял пакет с покупками, отодвинул его и торопливо пошел к выходу, неотступно сопровождаемый кудахтаньем незнакомца. И уже почти наверняка знал, кто встретит меня на выходе, потому не удивился.

— Петрович! Итит твою мать! — пронзительно взвизгнул бродяжка с Лесопарковой. — Вот не ждал. Нет, серьезно, куда я, туда и ты. Я ведь думал, ты сейчас на нарах драчишь, а ты тут водочкой балуешься! Как же это тебе помогло на волю выскочить при такой статье? Неужто в бегах?! А ты чего занервничал? Думаешь, в ментовку сдам? А оно мне надо? Мне ведь что надо? Выпить, закусить и немного душевного тепла. Последнее я обеспечу сам, а с первыми двумя ты мне поможешь.

— Помогу, как не помочь, — сказал я и кинул ему пакет. — Лови!

Кинул так, чтобы он не поймал. Он бы и не поймал, но выручил его приятель. С обезьяньей ловкостью подхватил пакет на лету, прижал к груди и торжествующе захохотал. И тотчас нарисовался неподалеку еще один, долговязый, рыжеволосый, он почему-то постоянно смущенно шмыгал носом и отводил глаза, что, вроде, он тут человек случайный...

— Хоп-момент! Благодарствуйте за угощение, — поймавший деловито заглянул в пакет и восторженно цокнул языком. — Вот спасибо-то! И выпивка и закусь. — Айда, Педагог. Душа горит, а сердце плачет.

— Погоди, Гена, — бродяжка вдруг остановил его и как-то по-особому глянул на меня. — Долг, говорят, платежом красен. Он нам приятность, ну и мы ему тоже. Ты, Петрович, давно в городе ошиваешься? Молчишь? Ну денька два, наверное, есть. А, небось, и не знаешь, что Чипполину твоего завалили позавчера. Ага, вот как раз когда мы с тобой в обезьяннике парились, его аккуратненько и подстрелили.

— Какого Чипполину! — я вдруг почувствовал, что мне стало нестерпимо жарко. — Откуда ты знаешь?

— Как это откуда? — бродяжка изобразил обиду. — Нешто мы газет не читаем? На-ка вот, сам почитай.

Он, озабоченно бормоча, вынул невесть откуда вчетверо сложенный газетный лист, осторожно, как реликвию, развернул и ткнул пальцем в жирно обведенную карандашом заметку.

«...около девяти вечера на перекрестке улиц Пархоменко и Калужской, у входа во вновь открытую гостиницу «Камея» произошло ставшее привычным для нашего города преступление: заказное убийство...»

— Дочитал? Вот такие дела, Петрович. Только не говори мне, что ты сражен горем. Видишь, как все чудно сложилось: зло наказано, жертва отмщена. Как и должно быть в этом лучшем из миров.

— Ну и что ты еще об этом знаешь?

— А ты не нукай, не запряг, — бродяжка насупился, — информация нынче товар, а товар денег стоит.

— Стоит, когда — товар. А когда — шелуховый треп, так и пинка под зад не стоит. Ты говори, там разберемся. И еще. Пусть вот этот отойдет на двадцать два шага. А то у него от волнения уши треснут.

— Отойди, Гена, — с небрежной учтивостью сказал бродяжка своему придурковатому спутнику, сделал ему какой-то знак и тот в самом деле отошел, оскорбленно раздувая тонкие, перепончатые ноздри.

— Ну так вот, — продолжил бродяжка, чуть приосанившись. — Народ по-всякому говорит. Поначалу говорили, мол, одно из двух, либо это черные Чипу завалили. За того, телохранителя-абрека. Или городские, с Парижской коммуны, — за Бурьяна. Потом прикинули, вроде, не сходится. Привязок они серьезных в городе не имели. Понтяра одна. Черные у нас в городе тоже не сильны. И сошлось все так, что, вроде, менты его кончили, Чипу этого. Потому что, говорят, подозрений у них на этого Чипу было вагон с тележкой, а зацепок — шиш. И главное, очень они охотились за какой-то кассеткой, что ли. Из-за нее, вроде, и сыр-бор полыхнул. А кассетку эту у Чипы нашли, в портфельчике, потому и дело по-тихому закрыли. Так что чист ты теперь, Петрович, получаешься и перед законом, и перед Господом богом. Или не совсем?

— Что же за кассета такая, раз из-за нее столько народу смолотили?

— А ты не знаешь? Ну а если ты не знаешь, то я подавно. Ну вот и все, Петрович. Что знал, сказал. Разойдемся, что ли. Дружок заждался.

Он глянул на меня и сонно прикрыл глаза. Я вытащил бумажник, извлек оттуда первую попавшуюся бумажку. Сотенная. Хотел вытащить еще, да передумал.

— Больно ты щедр, Петрович, — бродяжка тяжело вздохнул и вдруг зло ощерился. — Погубит тебя твоя доброта.

Я отвернулся и быстро зашагал прочь.

У дверей гостиницы я вспомнил, что так и не добыл обещанную водку. Возвращаться, однако, было выше моих сил, я махнул рукой и толкнул тяжелую дверь. Сказал администраторше «добрый вечер», однако та лишь отрешенно кивнула, продолжая внимательно изучать свои ногти, по-молитвенному сложив перед собой ладони. Я решил не удивляться, однако едва поднявшись на несколько ступенек, услышал вдруг шепот: «Товарищ Воронин! Подите сюда. Тихо только». Я сбежал вниз.

— Тут вас человек какой-то ищет. Мужчина. Ваших примерно лет. Может, помладше немного.

Она быстро глянула на меня снизу вверх и тут же снова прикрыла опухшие красноватые веки.

— Вы тут ждали кого-нибудь?

— Нет, никого не ждал, — я глянул на нее, не скрывая удивления.

— Ну вот, не ждали, а они, как говорится, взяли и приперлись. Двое их было. Но второй на улице дожидался, курил возле входа. Ну, значит, он подходит, так, мол, и так, не вселялся ли сюда такой Воронин? Противный такой. Шутки шутит, смеется, а глаза как пыльные стекляшки. Не приведи бог, глаза. И выпимши, похоже. Я и говорю: мы тут справок не даем, ежели вам нужно комнату, так оно и пожалуйста, а если нет, так и гуляйте себе, для таких и дороги мостят. Он мне корочку под нос. Давай, говорит, по-шустрому, не нервируй меня. А то я у тебя в богоугодном заведении такой шмон организую, что мало не покажется. А Воронин этот приходится мне буквально хорошим другом и мне повидать его надо. В каком, говорит, номере друг-то мой поселился? Я и сказала. А он мне говорит: а номер рядом *напротив* у вас свободен? Хочу, вроде сюрприз ему сделать. В общем, вселился он в

пятьсот семнадцатую. Как он поднялся, так другой подошел. Вроде, порознь они, и друг дружку не знают. Такие дела. Потом подумала — зря сказала. Знать не знаю, ведать не ведаю. А то я ментов по жизни не видала. Сглупила, в общем.

— А фамилия как друга моего?

— А я знаю? Он паспорта давать не стал, хоть я и просила. Удостоверением своим помахал только. С таким поспоришь разве. Он такой белобрысый весь, моргает часто. А когда говорит, так пританцовывает с ноги на ногу, будто ему, извините по-маленькому невтерпеж.

Она тараторила своим сипловатым шепотком что-то еще, но я ее уже плохо слышал. Шел по лестнице, машинально считал этажи. Боязни не было. Даже облегчение. Почему-то показалось, что именно сейчас может что-то произойти, что даст наконец выход этому грозно скопившемуся сгустку отчаяния и неизвестности.

Ближе к пятому этажу замедлил шаги. Коридор был пуст, безмолвен и полутемен. Осторожно толкнул свою дверь, затем открыл ключом.

Включил свет. Саквояж мой лежал на столе демонстративно раскрытый, но вещи не тронуты. Почему-то был опрокинут стул и разбит стакан. На кровати лежал мой раскрытый блокнот. Красивый такой блокнот. Когда-то мне его подарили, с тех пор постоянно ношу с собой, вроде, пригодится что-нибудь этакое записать, да как-то ничего почти не записалось. Однако на сей раз там красовалась размашистая надпись крупными печатными буквами: «ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ».

Впрочем, и без того было ясно, что скорой встречи не избежать.

Я вышел в коридор и постучал в дверь напротив. «Войдите», — тотчас прозвучало в ответ.

В комнате царил необычно яркий свет. Высокий, сухопарый человек в белой футболке с короткими рукавами стоял боком ко мне у зеркала и брился, высоко задрав подбородок.

— Добрый вам вечер, — сказал я, замерев у двери.

— Ага, — горловым клеткотом выдавил из себя человек у зеркала. — Чем обязан?

— Да уж это вы скажите, чем я обязан?

— Не понял, — человек нахмурился, отложил в сторону станок и повернул ко мне густо намыленное лицо.

— А что тут понимать. Мне сказали, что вы меня разыскиваете. Вот я спрашиваю: чем обязан?

— Я вас разыскиваю? — намыленное лицо скривилось в комическую гримасу. — Я вижу-то вас впервые, не то что разыскивать.

— Коли так, — я растерянно пожал плечами, — прошу прощения...

— С чего мне вас разыскивать, — он вновь развел руками. — Если вот только приятель мой вас разыскивал...

Он с улыбкой глянул в сторону двери. В проеме стоял Елизаров. Вновь полыхнувшая за окном петарда красновато осветила его лицо, сделав на мгновение опереточно зловещим.

ТОПТУН

Он и в самом деле будто пританцовывал — этак мягко перекатывался с носок на пятки.

— Ну вот видишь, Воронин, — произнес Елизаров даже как бы грустно, сочувственно, — говорил я тебе тогда: еще встретимся.

— Что на сей раз, товарищ младший лейтенант?

— Ну так я вас оставляю? — неизвестный приятель Елизарова, бережно поглаживая лицо полотенцем, вышел на лоджию. Елизаров проводил его пустым волчьим взглядом и на некоторое время замолчал.

— Что на сей раз, говоришь? — Елизаров, словно спохватившись, сочувственно покачал головой. — На сей раз — вот что.

Он выждал паузу и, скорбно пряча глаза, выложил из портфеля обернутый в полиэтиленовый пакет пистолет «Вальтер».

— Вот так. Только не вкручивай мне, что ты видишь его впервые. Молчишь? Уже хорошо. Теперь давай, Воронин, будем думать, как нам из этого положения выходить. Плотно будем думать. Пистолет — тот самый, можешь не сомневаться. Пальцы там и твои, и приятеля твоего, и еще чьи-то там. Приятель твой мне и подсказал намеком, где его искать. И главное — экспертиза подтвердила: именно из него и были застрелены известные нам сограждане. Все, финиш. Так что — будем думать?

— О чем думать?

— Все кочевряжишься, — Елизаров сочувственно покачал головой. — Уперся лбом в стенку. Лоб

расшиб, а стенки не видишь. Бывают же такие. Еще раз говорю: я тебе, Воронин, не враг. Может, не друг, но не враг точно. Между прочим, друзья твои тебя сдают, как сутенеры шлюху, а я пришел помочь. Я ведь здесь, можно сказать, как частное лицо. А уж приятель мой, — Елизаров усмехнулся, — так и вовсе. Насилу тебя отыскали. Если бы не сестрица твоя...

— Вика?! — Воронин вскочил со стула. — Как... Что ты с ней сделал, сволочь?!

— Ну вот. Так и знал. Сразу и сволочь. А я ничего с ней такого не делал. Не веришь? А вот давай, проверь.

Он быстро, как фокусник, вынул из нагрудного кармана телефончик, любовно глянул на ярко-синий экран, поколдовал над клавишами.

— Сейчас проверим... Ага. Чего-то молчит наша красавица... А! Виктория Валерьевна! Не узнали, конечно... Ай-яй-яй! Елизаров это. Да. Ну что, нашли мы братика вашего. Все, как вы сказали. Спасибочки вам, огромные... Что? Не понял, простите!.. Да о чем вы! А вот как раз здесь он, рядышком. Сидим, выпиваем за встречу. Передать, что ли, трубочку?

Не дожидаясь ответа, Елизаров торжествуя сунул ему телефон. Воронин, поморщившись, взял неприятно горячую, от елизаровского уха, верещащую трубку. «Алло! — по-стрекозьему звонко доносилось оттуда. — Я не поняла. Он с вами? Что вы молчите!..»

— Это я, Вика, — сказал Воронин, отвернувшись от ликующих гримас Елизарова. — Ты сейчас где?

— Я?! Почему ты об этом спрашиваешь? Я дома, а где мне быть. Павлик, — она вдруг стало говорить сбивчивым, надрывным шепотом, — скажи мне, кто эти люди?

— Люди как люди. Ничего особенного.

— Павлик, скажи мне, у тебя все в порядке? — голос Вики звучал требовательно и даже как-то раздраженно.

— Ну конечно, — Воронин устало кивнул и улыбнулся. Елизаров немедленно заговорщически подмигнул. — Как еще может быть.

— Ну и слава богу, — Вика удовлетворенно вздохнула. — А то я уже начала беспокоиться.

— Ну что ты. Ей-богу не стоило.

— Я так рада за тебя. Что все это наконец закончилось. Слава богу, у тебя теперь начнется новая жизнь. Как я этого хотела... Слушай, а ты не можешь как-нибудь сказать этим людям, — она вновь перешла на шепот, — чтобы они ко мне больше не приходили? Они как-то странно себя ведут. Особенно тот, долговязый, с золотыми зубами. Я так не привыкла. У меня, знаешь, своя жизнь, и мне совершенно не надо, чтобы...

— Я все понял, Вика. Я говорю, все понял. Думаю, больше они к тебе не придут. Просто незачем им. Ты ведь уже все сделала. Как надо.

— Вот и я так думаю, — защебетала Вика. — С какой стати мне...

Воронин отключил связь и вернул телефон Елизарову. Тот кивнул и сел, не сводя с него неподвижного, змеиного взгляда.

— А теперь давай говорить по существу. Скажу как на духу: дело твое, Воронин, закрыто. Гурьянова и Мусакаева застрелил Чепик, так принято считать, и никому не надо, чтобы все выглядело иначе. А Чепика, вроде бы, завалили гурьяновские кореша, так тоже принято считать, их тоже ищут, но как-то так неторопливо. Я так полагаю, не найдут их, или найдут ишака, на которого все до кучи повесят. Нормальное дело. Вопрос закрыт наглухо и никто ни хочет возвращаться. Пока. Диск тот окаянный нашли у него в кейсе. Все, страница перевернута, — Елизаров для пущей убедительности хлопнул себя по колену.

— И что теперь? — Воронин, не спросясь, вынул из кармана сигареты и закурил.

— Вот об этом и будем говорить. Я тогда сгоряча наговорил тебе бог весть чего. Я ведь как думал? Начальство тебя за какой-то нуждой выгораживает. А на моей памяти такого было не счастье сколько. Берут бандюгу, клейма негде поставить, а он, сука, через неделю на свободе, мимо тебя прорулит, зубы оскалит, еще спросит, ты, ментяра, за дочкой своей поглядывай, у ней сиськи выросли, не приключилось бы чего...

Елизаров потемнел и вдруг с едва скрытой злобой посмотрел на балкон, где в шезлонге сидел его приятель и, высоко запрокинув голову, пускал дымные кольца.

— У меня ведь, как было сказано после служебного тестирования, — обостренное чувство справедливости. А потом понял, искали-то не того, кто убил, а диск этот. М-да. Что хоть там, на диске этом, а?

— Не знаю, — Воронин пожал плечами. — Я говорил уже.

— Говорил, — кивнул Елизаров. — А все-таки. Мне это ну очень интересно. Майор говорит про какие-то счета. Мол, больших особ. А я чего-то не верю. Ну счета, ну хоть самого губернатора. А то я не знаю, что он ворюга несусветный, губернатор наш, что у него замок в Хорватии, да лыжный курорт в Тироле. И бензоколонки по области — все его. Да про то тупой не знает. Ну буду я знать номер его

счета, и что с того? Нет, брат, за такое не убивают. Другое там что-то было! И знаешь, что?

— Не знаю и знать не хочу.

— Хочешь, непременно хочешь. Так вот, никакие там не счета. Там информация на одного человека. Информация убийственная. Информация такая, что от нее просто так не отмажешься. Это — хана полная. За такое не отставка с рыбалкой, а зона, если не вышак. И человек этот — не городского и не областного масштаба. Это мне знаешь, кто сказал? Вот он, — Елизаров кивнул в сторону лоджии. — Гусар. Кличка у него такая. Виктор Гусаров. Это он дал отмашку жене твою кончить. Потом бы и до Бурьяна с Фаиком черед дошел, да ты опередил. Он и Чеписка завалил. И кейс с диском взял для майора. Там, в кейсе, кстати, кроме диска, еще был сотовый телефон твоей супруги.

— Кто же мне домой-то подбросил? Неужто он?

— Ну зачем, это я. А ты не рад?

— А звонил на него кто? Опять ты?

— Нет, звонил как раз он. Правда, я рядом стоял. Любит он такие шутки. Ну и как тебе, интересно стало?

— Нет, не стало. И не будет интересно. Потому я еще раз спрашиваю: чего тебе от меня надо, гражданин Елизаров.

— А ты не понял? Плохо. Но поправимо. Ты давай-ка, Воронин, пооди покуда к себе в номер, отдохни, покумекай. А надумаешь, заходи.

За окном вновь охнула с тягучим присвистом веерохвостая петарда. Елизаров притворно втянул голову в плечи и глуповато прыснул.

— Ишь ведь, разгулялись! Ну давай, с богом.

Воронин с непонятным облегчением повернулся и вышел.

Войдя в комнату, он, не раздеваясь, прошел на лоджию. Почему-то захотелось сесть, как тогда Анна, на перила. Однако удержался, не выносил высоты, особенно когда она за спиной. Так и стоял, прислонившись спиной к перилам. Стоял, пока в комнату не постучали.

У двери он вновь с удивлением увидел младшего лейтенанта.

— Так, — удивился Воронин, — мы же решили, вроде, что...

— Решили, — полушепотом сказал Елизаров, чуть не силой вдавливая Воронина плечом в комнату, — только у меня, товарищ дорогой, нету времени дожидаться, пока ты любезно разродишься.

Он уверенно, по-хозяйски, вошел в его комнату, тяжело сел на стул и вдруг с блаженным стоном, по-кошачьи выгнув спину. Вдруг как-то диковато рассмеялся, по-клоунски высунув язык и вытаращив глаза. Тут же, впрочем, перестал. Отрывисто, будто поперхнулся. От него густо пахло свежей выпивкой.

— Сквозит у тебя, Воронин. Трещина в окне. А?

— Трещина, — кивнул Воронин. — Ты давай говори, что нужно поскорее, устал я что-то сегодня.

Елизаров кивнул, с неудовольствием оглядываясь по сторонам.

— Тре-ещина... И вообще, чудно как-то у тебя в комнате. Хрен знает. Будто есть тут кто-то и глядит в упор. Как ты здесь живешь? Ты, Воронин, часом не экстрасенс? — Елизаров вновь залился смехом.

— Еще раз прошу: говори, что хочешь, и уходи.

Елизаров снова кивнул, помолчал и вдруг с тяжким стуком вывалил на стол пакет с пистолетом.

— Вот он, Воронин. «Вальтер» твой. Надежная штука. Ему, считай, скоро семьдесят, а работает, как новенький. Вот, — Елизаров вдруг зажмурился и потрянул головой. — А хочешь, я тебе, Воронин, его отдам? И делай с ним — что пожелаешь. Хочешь — на стенке повесь, хочешь, — в музей сдай, хочешь — в речке утопи. А?

— Не понимаю, — Воронин не удержался и быстро, искоса оглядел сверток. Елизаров увидел и опять зашелся бесшумным смехом.

— Тот, Воронин, тот, не изволь беспокоиться.

— Он мне не нужен, — ответил Воронин, торопливо, словно для пущей убедительности, отодвинувшись в сторону.

— Так уж и не нужен. Ну да ладно, после об этом. Давай о главном. Главное в том, что **ты** мне нужен. Понимаешь?

— Нет. Понимаю только, что **ты** мне не нужен. Совсем не нужен.

— Пропускаю мимо ушей, потому что прощаю. На первый раз. А нужен ты мне вот почему. Потому что ты не дурак. Потому что ты не трус. Потому что ты не сволочь. Потому что тебе деваться некуда. Все на месте. Я ведь ту историю разрулил. Красиво вышло. Ну Бурьян, положим, это бурдюк с хреном. А Фаик — фигура серьезная. Снайпер. Сперва в Афгане, после в Чечне, у духов. Чутье, как у кошки.

Такого котяру завалить — не всем по зубам. Я сам смотрел: три выстрела, из коих два — смертельных. Причем стрелял снизу вверх, по-пижонски. Такие на дороге не валяются. Азарта в тебе маловато. Зато у меня — за двоих. А дело у меня вот какое. Этот, тип, что, там, в моем номере, — имеет к тому диску касательство, хоть и не прямое, но уж большее, чем те двое. Ну я тебе говорил. Ты пойми, я сейчас работаю как вольный художник. Сам за себя. Ну не дает он мне покоя, диск твой, и не даст никогда, я себя знаю... Тихо, не перебивай! Сейчас посиди один, подумай. Хорошо подумай! Такой шанс — раз в сто лет. Взять Фортуна за сиську. Только очень тебя прошу, не уходи никуда. Ну не делай себе еще одной проблемой больше. А через полчаса зайдешь ко мне и скажешь: «Я согласен!»

Елизаров хотел сказать что-то еще, но почему-то оборвал сам себя, как-то ссутулился и подошел к двери, обернулся, для чего-то погрозил пальцем и тихо, по-кошачьи, вышел. За окном вновь стрекотнула петарда.

ВПОТЬМАХ

Я запер за ним дверь и, не раздеваясь и не зажигая света, повалился на кушетку и до лиловой рези зажмурил глаза. От сиреневого покрывала на кушетке шел чужой приторно-сладкий запах. Закинул руки за голову и с усилием выгнул вверх шею. Всегда так делал, когда болела голова, хотя сейчас она и не болела. Почему-то решил, что мне сейчас нужно непременно уснуть. И тут же, как по волшебству, сознание стало плавиться, растекаться, будто какой-то восковый пейзаж. И за чередой смутных превращений тем, что принято именовать сновидением, я увидел Анну. Близко и явственно. Но совсем не как во сне. По-другому. Хотя нет, вначале я увидел себя как бы со стороны, побледневшего, осунувшегося, небритого, лежащего на кушетке с закинутыми за голову руками. А уж потом — Анна. Она была в том самом сером, с каким-то елочным рисунком свитере, только уже без темно-бурых пятен на горловине и на плечах. Она смотрела на меня. Спокойно и участливо.

«Анна», — произнес я вслух. Голос прозвучал вполне отчетливо. Даже, как будто, чрезмерно отчетливо. Но опять же, словно со стороны.

Анна тотчас едва заметно склонила голову на бок и скосила глаза. Она всегда так делала, когда ее окликали по имени.

«Анна, — вновь повторил я, с удивлением вслушиваясь в звучание собственного голоса, — я сразу понял, что ты здесь. — Она едва заметно кивнула. — Анна, ты... ты ведь *все* знаешь, да?»

«Знаю», — будто бы ответила она. Голос ее прозвучал отчетливо, но как-то иначе, чем мой. Он просто отразился во мне гулким и немного болезненным внутренним толчком.

«И про... Чепика. Да?»

«Не надо о нем», — голос прозвучал как-то по-особенному тяжело.

Я кивнул. Почему-то стало легче.

«Вон там, в соседней комнате — человек, — не то сказал, не то подумал я. — Не знаю, чего он от меня хочет. Он решил, что взял меня за горло, а посему я буду делать то, что он прикажет. Он думает, я боюсь, и это главное. Он полагает, что взять человека за горло это достаточно, чтобы стать его хозяином, он считает, что...»

И тут я глянул туда, где должна была находиться Анна, но ничего не увидел. «Наверное, я сказал что-то не то, — подумал я, и тотчас пришло разочарование: — нет, просто я просыпаюсь».

От окна по-прежнему тянуло холодом. Я решил, что надо бы закрыть внутреннюю полуоткрытую створку, однако какая-то тяжесть помешала мне это сделать. Похоже, я до конца еще не проснулся.

«Сейчас тебе надо встать и идти, — услышал я откуда-то извне голос Анны. — Прямо сейчас. Туда...»

«Но я... Неужели ты не понимаешь, — пытался я возразить, сразу осознав, куда именно мне надлежит идти. — Ведь там...»

«Иди сейчас, — голос прозвучал требовательно. — Немедленно...»

Когда я открыл глаза, в комнате уже стояла ночная темнота. «Немедленно», — сказал я вслух. Голос прозвучал сухой, отчетливой дробью. Повторил еще раз, на сей раз громко и бесстрастно. Что там было, за мгливой, дымчатой поволокой, в том глухом, ничейном омуте, о том я не думал. Будет еще время. «Немедленно», — в третий раз, снова громко и отчетливо произнес я и быстро, боясь передумать, открыл дверь.

В коридоре было так же темно, лишь с двух концов брезжил рассеянный голубоватый свет. Дверь в комнату напротив была затворена не до конца, однако световой полосы не было. Как ни странно это показалось обнадеживающим, и я постучал.

Не ответили. Я стукнул сильнее и коротким толчком отворил дверь. В комнате не было никого.

С лоджии в комнату явственно тянуло свежим табачным дымом. Я пригляделся и за мутью немывтого окна увидел елизаровского приятеля. Он все так же сидел в кресле, вальяжно откинув голову назад.

С сухим валежным треском взлетела петарда, и при свете ее я мимолетом увидел самого себя в зеркале шифоньера и вздрогнул: какой-то неузнаваемо чужой, напряженно сторбленный человек со сжатым, исполосованным тенью лицом... Я поспешил отвернуться.

Зато у себя в номере, едва заперев дверь, я принялся торопливо и сумбурно собираться. Хотя собирать-то было нечего, саквояж я свой не распаковывал. Долго и нервно искал какой-то блокнот, пока не вспомнил, что он у меня в пиджаке, да и искать-то его не стоило, он был почти девственно чист, только номер автобуса и остановка Викиной работы на первой страничке, да и то неразборчиво.

Зато пистолет лежал прямо в центре стола. Лежал на том полиэтиленовом пакете, из коего и был извлечен, темно-синем, с рекламой дешевого и скверного местного пива. Отчего-то это показалось забавным, сначала напозла невесть откуда взявшаяся улыбка, а потом запросился наружу неуклюжий, судорожно дергающийся смех. Он бы, пожалуй, и вырвался, если б я вновь не увидел свое отражение в вездесущем зеркале и не ужаснулся этой оскаленной, конвульсивной гримасе.

Поначалу я положил пистолет на дно саквояжа, затем вытащил, сунул во внутренний карман плаща, где он немедленно обозначился, выпукло и косообо. Переложил в карман брюк, там он тоже мотался холодной, чужеродной тяжестью, но более класть было некуда.

Глянул на себя в зеркало и остался на сей раз доволен. Я был безукоризненно сер. Вполне достаточно, чтобы стать невидимкой.

Невидимками доверху заполнен мир. Невидимки серой рябью пересекают пространство, они толкают вас в автобусе, едут с вами в лифте, занимают за вами очередь, продают вам газеты, помогают вам или мешают, оставаясь незримыми и бесплотными. Даже если вы пожелаете его вспомнить, он обозначится в памяти уэллсовским человекоподобным пульсирующим пузырьком в сетке дождевых капель. Невидимки могут быть умными и талантливыми, но их всегда минует слава, могут совершать подвиги, но при этом не становятся героями, страдают, но не становятся мучениками. Зато они невидимы, и это их главное достоинство. Это тоже искусство своего рода — стать никому не интересным.

Потрогал подбородок. М-да, а вот побриться следовало, невидимки не должны быть небритыми. Однако теперь не время.

Отворил дверь, из трещины в окне напоследок тотчас дохнуло холодом. Нарочито медленно запер дверь. В коридоре было все так же безлюдно, и из не до конца прикрытой соседней двери все так же проглядывала полоска беспросветной тьмы.

Администраторша, увидев меня, быстро отложила в сторону маникюрную пилочку, внимательно склонила голову набок. Однако когда я поравнялся с нею, лицо ее приняло привычно сонное выражение.

— Никак съезжать надумали?

— Да, съезжаю вот. Так вышло.

— Ясно. Приключилось чего?

— Да нет, что у нас может приключиться. Позвонили сейчас из управления. Срочно, говорят, нужно вернуться.

— Это бывает, — охотно закивала администраторша и тут же забормотала в нос, бесстрастно скосив глаза наверх, — а если тот белобрысый снова интересоваться будет, что сказать?

— А ничего не сказать. Знать, мол, не знаю. Не мне вас учить.

— Не тебе, точно. Только я боюсь, скоро вернется приятель ваш.

— Как то есть вернется?

— Да так и вернется. Ушел он с полчаса назад. Может, меньше. Пойду, говорит пройду, воздухом подышу перед сном. И то. Таким от него свежаком пахнуло, хоть закусывай.

— Ушел?! Вы это точно знаете?

Администраторша не ответила, лишь глянула выразительно.

— М-да. Так и сказал? Воздухом подышу?

— Натурально так и сказал. Еще говорит, хорошая у вас гостиница. Тихая. Как-нибудь еще к вам, говорит, приеду. Я говорю: приезжайте, мы гостям рады. Он смеется. Плохой смешок. А ты чего-то

разволновался? Да тьфу ты, хлопущки чертовы! Вот тебе и тихая гостиница.

— Как вы сказали? — мне вдруг стало не по себе.

— Хлопушки. Петарды то есть. Свадьба, что ли, у кого. Взяли за моду тоже. Чай не в Бразилии живем. Э, да ты совсем чего-то с лица сошел.

Первое желание было бежать. Куда угодно, как угодно. Лишь бы скорее. К счастью, прошло почти сразу же.

— Случилось что? — администраторша глянула в упор, на сей раз без наигранного глуповатого простодушия.

— Случилось. Очень возможно. Вы не сочтите за труд. Поднимитесь вместе со мной. Наверх. Туда, в пятьсот семнадцатую.

Женщина тяжело вздохнула и поднялась с места.

— Наташа! Наталья Георгиевна! Посиди пока на моем месте. Меня молодой человек прогуляться зовет. Наташа-а!!!

— Да иду я, — худенькая девушка мышиной окраски вылезла из угловой каморки. — Все бы вам, Анжела Станиславовна, шутки шутить.

— Да, еще. Если пока нас не будет вернется тот белобрысенский с пятьсот семнадцатой, ты мне потихому на трубку-то и позвони. Задержи его чуточку. Не тебя учить. Гляди, сделай, как я сказала.

Она цепко глянула на нее и потрепала по щеке.

Я постучал, хоть знал, что мне не ответят. Толкнул дверь и вошел.

Человек, сидящий в кресле на лоджии был виден отчетливо. Откинутый, чуть скошенный на бок затылок с жидкими волосами...

— М-да. Чего это он? Спит, что ли? — с усилием зашептала за спиной администраторша.

— Не знаю, может, спит. Вы постойте пока тут. Пойду гляну.

— Да ладно, пойду и я с вами. Чай не целочка-снегурочка, в обмороки не падаю. А то я мертвяков не видала.

— С чего вы решили, что...

— С того и решила. Не слепая, небось.

Я недослушал ее и почему-то на цыпочках подошел к балконной двери. Администраторша заперла дверь на ключ и прошла следом.

На его лице застыло удивление, исковерканное гримасой внезапно рванувшей, мгновенной боли. Рот широко открыт, ладони судорожно сжаты. Колени обсыпаны пеплом сигареты, которая, догорев, упала на колено и прожгла ткань. На белой футболке — неестественно большое темно-красное пятно с левой стороны груди.

— Де-ла, — шумно вздохнула администраторша, — такого добра у нас давно не бывало.

— Надо, наверное... — начал было я.

— Тихо. Я сама скажу, что надо. Надо, во-первых, быстро идти отсюда. Там поговорим. Вот только книжечку записную захвати с собой.

— Какую еще книжечку?

— А вон ту, — она указала под кресло. Там в самом деле лежал маленький, темно-красный блокнот.

— Я думаю, не надо ни к чему прикасаться.

— А я думаю, надо взять его и вынести отсюда к чертовой матери! Учить меня будешь. Блокноты, минок, просто так по углам не валяются.

Я послушно взял блокнот и сунул в карман.

— Погляди еще в комнате, что такого есть, чего быть не должно. Только быстро, к вещам без нужды не прикасайся, свет не зажигай. У тебя, кстати, ничего не пропало?

— Нет. Ничего не пропало.

— Точно? Тогда пошли отсюда. Погоди-ка, сперва я.

Уходя, я еще раз глянул на убитого. Он смотрел мимо меня стеклянными глазами. «Вот ты и дозволился», — сказал я сам себе.

Администраторша вышла в коридор, огляделась и коротко качнула мне головой. Я вышел и плотно притворил дверь. В коридор неожиданно выскочила полураздетая изрядно пьяная женщина. Она, хохоча удерживала дергающуюся изнутри дверную ручку, завидев меня пронзительно завизжала и рванулась обратно.

— Верунчик, я ведь выгоню тебя к бениной матери. Совсем с коньков съехала, — строго сказала

администраторша. — Развели срамотищу!

— Анжела Станиславовна, да разве ж это я виновата, — икая и прикрывая рот ладошкой затараторила женщина, просунув голову в дверь. — Тут Сергунька приехал. Год мотался бог знает где и вот приехал.

Администраторша, не оборачиваясь, махнула рукой.

Внизу она ввела меня в полутемную комнату, там стоял сладковатый, душный запах глаженного белья и стирального порошка.

— Присаживайся. Ну-ка давай в двух словах: откуда ты такой явился, соколик, и что натворил?

— Видите ли...

— Вижу, как не видеть. Вижу, что круги у тебя под глазами. Спишь плохо. Самому кажется, что спишь, на самом деле это не сон. Боишься уснуть, сам себя сторожишь. А сны свои помнишь? То-то и оно. Когда спят хорошо, сны помнят. Устал ты, отдохнуть хочешь, а как отдохнуть, не знаешь. И никто того не знает. Сам себя боишься. Тебе переболеть нужно, боль наружу выпустить, иначе она тебя убьет. Ты эту боль в себе зажал, и что теперь с ней делать не знаешь. Отпустить боишься, и немудрено: такая пружина сильно поранить может. А держать устал. Так?

— Так. Именно так. Я убил человека, Анжела Станиславовна. Даже двоих. Так вышло. Потому что они — убили мою жену.

— Понятно, — она шумно вздохнула. — А тот белобрысый — из ментов?

— Да. То есть, теперь уже не знаю. Я убил тех людей вот из этой штуки, — я с тяжелым стуком выложил на столик сверток с пистолетом.

Администраторша, вновь шумно вздохнув, искоса глянула него и промолчала.

— Того человека на пятом этаже наверняка убили из него же. Точно не знаю, но наверняка так.

— Как он у тебя оказался? Белобрысый оставил?

— Видимо. Никак не думал, что я зайду в комнату.

— А зачем зашел?

— Я... не знаю. Как будто позвал кто-то.

— Вон даже как, — она недоверчиво скривилась. — Ладно, а как...

Ее внезапно перебил пронзительный телефонный зуммер.

— Слушаю, Наташенька... Так... И где он сейчас?.. Даже так. Ясенько. Умница, Наташа... Да поняла я, поняла. Значит, ты сейчас иди туда. Быстро... А что такого? Постучись, он откроет... Эка беда, а то мы пьяных не видали. Бельишко захвати, сменить, вроде, нужно. Разговоры с ним поговори, про распорядок в гостинице, ну фигню всякую. Глазки сострой, чай не разучилась. И понаблюдай. Головушка у тебя светлая, глазки ясные. И нервы крепкие... Да ты не бойся, тебя никто не тронет. Это я тебе обещаю. Только когда в номер заходить будешь, дверь держи открытой, прямо настезь. От греха подальше. А если что увидишь плохое, голоси во всю дурь. Громче голоси, чтоб все слышали. Давай, милая...

— Ну так вот, родимый, — она отключила телефон и повернулась ко мне. — Вернулся твой белобрысый. Бухой, говорит, сильно. Интересовался жильцом из пятьсот четырнадцатой. Тобой, значит. Она говорит, знать не знаю, сижу тут случайно. Молодец девка. Ну прочее ты слышал. Так что, милоч, иди-ка ты сейчас отсюда по-скорому. Потому что сейчас твой белобрысый сильно запаникует. Сразу-то шухер подымать не будет, бухой в стельку. Тут тебе повезло. Будет тебя искать, потому что пока он тебя не сыщет, покойник на нем будет. А тебя тут нет. И — не было никогда. Ты у меня никак не проходишь, ни по какой книге. И номер пятьсот четырнадцатый пустует седьмые сутки.

— Вы с ним поосторожней. Он ведь...

— Знаю. Я со всеми осторожная. Потому и жива-здоровая. Ты обо мне не думай, о себе думай. И первым делом от мокроты избавься. Ты понял, да? Блокнотик тоже не забудь. Только хорошо избавься, с концами. Понял? Потом... У тебя тут есть кто-нибудь? Ну родня, к примеру?

— Нет, — подумав, ответил я. — Нет у меня в городе родни.

— Н-да. Тогда до утра переходи где-нибудь. Клуб тут есть, к примеру, ночной. «Эсперанса». Девку сними на ночь. В восемь утра я сменяюсь. Можешь мне на трубку позвонить. Вот номер, — она быстро зачиркала ручкой на листке бумаги. — Где попало не раскидывай. Все, иди.

Я встал и двинулся к выходу.

— погоди секунду, — администраторша вдруг глянула на меня с каким-то темным прищуром. — Жену, говоришь, у тебя убили. А у тебя фотки ее нет ли случайно?

— Есть. Только старая.

— А какая есть. Покажи.

Я послушно открыл саквояж, порылся и вытащил десятилетней давности фотографию. Одну из

любимых. На даче у сослуживца. На качелях. Соломенная шляпа, сбитая на бок, короткое летнее платье в горошек. Чья-то гитара на коленях. Почему-то справа налево, как у левши.

— М-да. Любил, говоришь, ее. Ну, наверное. Интересная женщина. Весьма... И ведь не скажешь...

— Что — не скажешь?

— Да ничего, — она нахмурилась и вернула фотографию. — Долго рассказывать, не время. Потом, если доведется. А все-таки... Ну вот в жисть ни тебя, ни бабу твою не видала, а вот кажется, что видала и все тут. И тебя, и ее, вместе. Здесь, в гостинице. Чертовщина прямо. Ладно, теперь беги. Сделай, как я сказала.

— Анжел! — услышал я у самого выхода. — Там наверху Наташка чего-то голосит благим матом. Господи, опять, что ли, приключилось что-то? Пойду проверю. Не приведи бог, конечно...

— Погоди, Татьяна, и я с тобой. Ой, не живется людям спокойно...

Едва выйдя из дверей гостиницы, я закурил. Огонек зажигалки зазмеился на сыром ветру синим с прожилками язычком и погас. Сигарета раскурилась лишь с третьего раза. Куда идти? В кафе «Эсперанса» снимать даму? Возможно. Но сперва, как было сказано, — избавиться от мокроты. «Хочешь, — в музей сдай, хочешь — в речке утопи». В музей не сдам, а вот в речке — пожалуй, мысль. Благо, она недалеко, речка.

Я остановился и, постояв некоторое время, быстро зашагал обратно, в сторону реки. Шагалось. Город был чужой. Он выдавливал меня из себя, как некое инородное тело, и лишь река тихо манила к себе, обещая неведомо что, и не было сил противиться этому зову.

Идти, однако, оказалось куда дольше, чем я думал. Уже давно миновали закрытые по осени аттракционы, печальные, занесенные опавшей листвой летние кафе с наспех опрокинутыми столиками и безжизненно катающимся на ветру пластиковым мусором, какие-то недостроенные сооружения, груды кирпича, разверстые бочки с раствором. Перешел через маленький горбатый мосток над задушенным прелыми листьями ручейком зашагал по узкой асфальтовой дороге, которая как-то незаметно перешла в заросшую репейником и подорожником тропинку.

Что ж ты затеял, неугомонный страж законности, Топтун, младший лейтенант Елизаров? Гончий пес, в котором азарт преследователя сменился холодной, волчьей тоской безумия. Для чего тебе понадобился этот костлявый, раскоряченный труп на лоджии, эта тупая, неуклюжая ловушка, этот узколобый маскарад? В какой окаянный тупик заведет тебя твоя распаленная, оскаленная химера-нетопырь? Сейчас, однако, важно не это. Сейчас важно добраться до реки. Почему до реки? Ведь пистолет можно было утопить в ручейке под горбатым мостиком, где он без проблем гнил бы до Судного дня. А я не знаю. Так я сам для себя определил. Надо успеть дойти до реки раньше, чем...

— А ну стоять! Встал, кому сказали!

Голос, пронзительный, сипловатый больно резанул меня изнутри. Ну вот и все. Я обернулся. Неподалеку стоял невысокий, щуплый человек, почти подросток, в синей нараспашку куртке-ветровке, надетой на куцую футболку. Чуть поодаль стояло еще четверо. Похоже, не успел.

ЛЕСОПАРК

— Ну стою, — Воронин устало и равнодушно понурился. — Что еще скажешь, добрый человек.

— Что скажу, — щуплый коротко хохотнул и сплюнул. — Нехорошо долги зажимать, вот что я скажу.

— Тебе-то я, положим, не должен ничего.

— Зато кой-кому другому должен, — щуплый сделал какое-то странное, нервическое движение плечом, точно его внезапно кольнуло в бок. Он вообще производил впечатление нездорового человека.

— Кому другому? Говори, только напрямую, не вилай.

— Да ты из борзых? — щуплый зло скривился. Похоже, его озадачило отсутствие очевидных проявлений страха. — Педагога знаешь?

— Педагога? — Воронин не выдержал и рассмеялся. — Так и ты из этих? Ну тогда запомни, педагог твой все получил сторицей. И ничего я ему не должен. Прощай, добрый человек.

Воронин повернулся и, не оборачиваясь, зашагал прочь. Понимал, что оставляет за спиной неутоленную, злую стаю, но привычная опаска перед скопищем подростков с пустыми, глазами вдруг оставила его.

Тяжелый удар в затылок остановил его и едва не сбил с ног. Как глупо! Земля под ногами круто ушла вниз, он с трудом удержал равновесие. Второй удар — ногой в поясницу. Чудом ушел от третьего удара.

— Ты, с-сука, — тяжело выдохнул щуплый и снова замахнулся.

На сей раз все было проще. Воронин левым локтем отвел налетающий кулак, правой рукой резко рванул руку щуплого вниз и тут же всей тяжестью ткнул его в подбородок. Щуплый, охнув, рухнул на землю.

— Паца-ны! — сипло выдохнул он.

Но и его, и сгрудившуюся стаю остановил темный, неподвижный зрачок пистолетного ствола.

— Так, ребята, — сказал Воронин, гримасничая от боли в затылке, — чтоб вы знали, патронов на всех хватит. Даже один останется. На память о нашей встрече. Стреляю я нормально. Хотите проверить?

Стая ошарашенно попятилась. Щуплый, лежа на боку и рванувшийся было встать, счел за благо остаться на месте.

— М-мужик, — подал он голос. — Ошибка вышла, понимаешь. Мля буду. Вон темень какая. Айда разойдемся? Я серьезных людей уважаю.

— Давай разойдемся. Только так. Больше я тебя не увижу?

— Да ты че! Ясно дело не увидишь. Что я, без понятия, что ли!

— Ну так и ступай. А то, может, полежишь еще чуток. Хорошо лежишь. Не простудишься?

— Дык простужусь, — заскулил щуплый, — у меня все почки на зоне стужены. Будь человеком.

— Я ж и говорю — иди. И не приведи бог, вернешься.

Люди превратились в торопливые, сутулые тени. Тени исчезли. Воронин остался один. До реки осталось совсем немного.

Он подошел к обрыву, продираясь сквозь колючую стену акации, пригнувшись, шагнул в сырую тьму. Дальше склон пошел круто вниз, приходилось держаться обеими руками за кусты, обдирая ладони, чтобы не упасть на скользком травянистом склоне. Раз все-таки упал, запнувшись о корень, и едва не скатился вниз.

Наконец ноги его ступили на рыхлый, мокрый песок, перемешанный с мелким галечником. Вспомнил вдруг, что в руках нет саквояжа, но решил пока не возвращаться, пакет с пистолетом и блокнотом был в кармане, это главное. Интересно, чей блокнот? А неважно.

От реки непередаваемо пахло свежестью. Он глубоко вздохнул, привычно надеясь, что от глотка свежего воздуха пройдет тяжелая боль в темени и в затылке. Боль, однако, стала вовсе нестерпимой. Он присел на корточки, зачерпнул воды, протер лоб и затылок. Стало легче.

С неохотой поднялся на ноги. Над водой тяжело колыхался слоистый туман. Он вытащил пакет, взялся за ручки, зажмурился, заранее предчувствуя боль, и что было силы бросил пакет в туман. Куда он упал, Воронин не видел. Отдаленный плеск подсказал, что упал достаточно далеко. Все.

Подниматься наверх было тяжело. Ломило уже не только голову, но и шею, до самых плеч. Чем же он таким ударил, гаденьш?

Возле полукруглого бетонного столба остановился передохнуть. Головную боль внезапно оттенила сильная сонливость. Он, не понимая, что он это делает, присел на корточки, прислонился спиной и затылком к мокрому бетону. Закрыв глаза. Сейчас, сейчас. Только на секунду. Среди речной влаги и мокрых, опавших листьев. Совсем немного. «Спишь плохо», — вспомнились слова администраторши. Вот сейчас бы он уснул...

Тут он увидел Анну. Она выткалась из речного тумана ясно и отчетливо. Он раскрыл глаза. Анны не было, но он понимал, что она здесь.

«Анна, произнес он вслух, вполголоса. — Я сейчас. Погоди немного. Просто посижу и пойду». — «Нет, — услышалось из тумана. — Сейчас не надо. Там — опасно. Побудь здесь. Пойдешь потом». — «А когда можно будет идти?» — «Ты поймешь сам. Теперь прощай, Паша».

На какое-то мгновение стало нестерпимо тихо. До звона в ушах.

— Прощай, — вслух сказал Воронин и открыл глаза.

Где-то наверху слышались голоса, приглушенные, отрывистые. Сначала едва различимо, затем ближе, явственней.

— Нету его тут. Ищи, не ищи, хрен сыщешь.

— А куда он деваться-то мог, — зло огрызнулся знакомый голос. — Улетел, что ли, на крылышках?

Может, на берегу? Глянь там, Сало.

— Ага, спускаться еще туда! Башку своротишь. Темень вон какая!

— А ты аккуратно, Сало, аккуратно. Спустишься и глянь. Или спорить со мной будешь?

Тотчас сверху затрещали сухие ветки, покатались комья земли. Воронин с трудом поднялся и отошел за столб, взяв в правую руку подвернувшуюся толстую, хотя и гниловатую палку..

Человек шел прямо на него, одну руку с растопыренными пальцами выставив опасно вперед, другой осторожно цепляясь за упругие ветви. «Ага, сам бы полез в эту яму пеханую», — зло бормотал он под нос в тот самый момент, когда они внезапно встретились глазами. Он как-то по-бабьи ахнул, выпустил ветку, быстро семеня, сбежал по инерции вниз и, зажмурившись, налетел прямо на Воронина. Тот, отбросив палку, неловко ударил его ногой в колено, схватив за шею с силой рванул книзу, сбил с ног, навалился на него всем телом и с усилием вдавил его лицом в жухлую, мокрую траву. Тот задушенно заухал, конвульсивно суча ногами.

— Тихо, — шепотом сказал Воронин, чуть ослабив хватку.

Тот послушно затих.

— Тебя как звать, пацан?

— Витькой, — ответил он глухим, вздрагивающим шепотом. — Витька Саломатин. А что?

— Да ничего. Ты, наверное, жить хочешь, Виктор Саломатин?

— Ага, — ответил тот, кивнув для убедительности.

— А вот это, что, догадываешься? — Воронин ткнул ему меж худых лопаток концом вновь подобранной палки.

— Ясно дело, — он вновь закивал. — Ствол это.

— Верно, ствол. А теперь слушай. Вы мне, пацаны, — он говорил хрипло и отрывисто, — надоели. У меня тут дело. А вы второй раз под ногами вошкаетесь, как дерьмо на сеновале. Я вас по доброте жалею. Но это в последний раз. Если еще раз передо мной нарисуетесь, ни одного живым не оставлю. Жалко, но придется. Потому как другого выхода не оставляете. И поэтому ты сейчас встанешь, рожу вытрешь, вверх поднимешься и слово в слово все пацанам и перескажешь. И уж упаси бог, через пять минут кого тут или поблизости увижу. Все! Встал и пошел.

Он приподнял его за ворот, поставил сначала на корточки, затем на ноги. «Оботрись что ли», — сунул ему носовой платок. Тот послушно взял его и начал торопливо вытирать лицо, затем, спохватившись, полез, то и дело оборачиваясь, наверх.

Через некоторое время наверху впрямь все стихло. Каким-то острым, волчьим чутьем, он понял: все, там никого.

Воронин все же решил немного переждать. Он вновь обессиленно присел возле столба и блаженно прикрыл глаза.

— Прощай, Анна, — шепотом сказал он и улыбнулся. — Теперь прощай.

ЭПИЛОГ

«...Прослеживалась также связь и с загадочной гибелью в сентябре этого года служащей банка «Центурия» Жанной Воронцовой (имя в интересах следствия изменено). Представитель пресс-центра МВД области заявил, что полное расследование этого многосложного, запутанного дела — займет не более одной недели. Ну что, же, как говорится, Бог в помощь».

Юлия Караваева

Я дочитал до конца. Однако поднять глаза не торопился. Потому что сказать мне было нечего.

— Ну как, дочитали? — голос женщины звучит подчеркнуто спокойно, даже как-то безмятежно.

Я кивнул, не отрываясь, и деловито глянул на дату.

— О, как раз неделя и прошла. Дело-то расследовали?

Я поднял глаза и глянул на женщину. Спокойно. Она тоже посмотрела на меня, улыбнулась с едва заметным прищуром.

— Говорят, частично. Но у нас разве когда всю правду скажут, — она вздохнула. — А скажите, вот вас лично эта история заинтересовала?

— Да как вам сказать. Сейчас ведь куда ни глянь — убийства, расследования. Хотя, конечно...

— То есть, — женщина вся подалась вперед, — для вас все это... ну то, о чем написано, — совершенно, как бы это сказать, — чужое?

— Пожалуй что да. Не знаю я их, — я вновь заглянул в газету. — Ни Чипполино этого, ни... Гурьянова, ни...

— **Жанну Воронцову?** — с болезненным нажимом сказала женщина.

— Ну да.

Я говорил без всякого внутреннего усилия. Вернее, это вновь был кто-то другой, добавочный,

находящийся во мне. Спокойный, недоумевающий, терпеливо дожидаящийся, когда его наконец оставят в покое. И мне было вполне безразлично, верит мне эта вызывающе красивая и непонятно взвинченная женщина или нет. Хотелось одного: поскорее уйти из этого просторного, с крикливой роскошью обставленного кабинета. Чтобы в меня не всматривались с любопытством, праздным или профессиональным. Уйти, чтобы в одиночестве, пусть относительно, попытаться все осмыслить и понять, что и как теперь надлежит делать.

Тут, к счастью, и дверь отворилась. Хозяин кабинета с капризно опущенными уголками рта вошел, глянул на меня неприязненно и решительным пафосом опустил в громоздкое вертящееся кресло. Кресло издало какой-то неприличный пшикающий звук.

— Вы уж извините, душенька, — уголки рта опустились и того ниже, — я не могу бесконечно долго сидеть в приемной, потешая секретаршу. — Так что вы уж продолжите свою душевную беседу или при мне, или...

— Да мы уж закончили, — женщина вдруг широко улыбнулась. — Простите великодушно за причиненное беспокойство.

— Вот как? — уголки рта поползли горизонтально. — Что в итоге?

— В итоге? А что в итоге. Жизнь продолжается, Роман Ильич, вот что в итоге. Так что не смею вам более досаждать.

Женщина поднялась с таким видом, словно завершила некую скучную, но необходимую формальную процедуру. Аккуратно задвинула стул и вышла, не попрощавшись, даже не обернувшись.

Главврач глянул на меня с укусным лицом и отвернулся. Возле приемной я вновь увидел женщину, она терпеливо выслушивала следователя Филинова, порой неопределенно разводила руками. «Ну на нет и суда нет», — услышал я огорченный голос Филинова...

В палате стояла плотная тишина, все обитатели, в особенности коротышка, всеми силами изображали полное ко мне безучастие. Лишь худенькая пожилая женщина, которая кормила с ложечки недовольно гримасничающего лысого мужика, косилась на меня с откровенной опаской, и даже испуганно вздрогнула, когда я громко откашлялся.

Я знал, кто я. Странно, но мне упорно, казалось, что я и не забывал этого никогда. Это была не вспышка, не озарение. Я будто просто нашел некую завалившуюся невесть куда безделушку, которую искал раздражающе долго. Вот и все.

Что же теперь? Бежать к следователю Филинову? Возможно, однако для этого стоит как минимум выяснить, что такого произошло за три этих злополучных дня. И пожалуй, без вас нам не обойтись, гражданин Студенцов. Я глянул на коротышку, однако тот весьма правдоподобно демонстрировал глубокий сон.

Во внезапно открывшуюся дверь просунулась голова санитарки Снежаны. Она некоторое время близоручко вглядывалась в койки, наконец увидела меня и мотнула головой. Палата немедленно оживилась, даже изнемогший коротышка ожил, приподнял и поворотил ко мне всклокоченную голову. Я влез в тапочки и неловко зашаркал к выходу.

— Там вас женщина одна дожидается, — Снежана как-то странно оглядела меня с головы до ног. — В садике возле склада. Я вас выведу аккуратненько. Идите прямо так. Сегодня на улице солнце, красота. Прямо бабье лето вернулось.

— Хорошо. И что за женщина?

— Женщина как женщина, — недовольно буркнула Снежана.

— А эта женщина, — осторожно начал я, — здесь уже бывала или впервые?

— Гражданин, — сурово пресекала Снежана, — сейчас вы буквально придете и все увидите. Имейте уже каплю терпения. Если я тут, гражданин, буду всех посетительниц держать в голове, у меня, извиняюсь, башка треснет... А вон она сидит и вас дожидается. Вы уж с ней, — она вдруг доверительно понизила голос, — поласковой, что ли. Хорошая она, по всему видать, женщина. Приличная такая...

Это была та самая женщина. Та, что была в кабинете главврача. Но здесь она была и вовсе потерянной. Увидев меня, она почему-то вскочила со скамейки, на лице ее задрожала нервная улыбка.

— Вы уж, пожалуйста, извините, — затараторила она, почему-то полупшепотом, — наверное, я вас, как говорится, достала. Но на сей раз — буквально полминуты. Хорошо?

— Хорошо, — я пожал плечами и присел на край скамьи.

— Ну, значит так, — она шумно выдохнула. — Не возражаете, если я закурю? Благодарю. Может,

сами, желаете?

Я поначалу отказался, но свежий табачный дым так болезненно сладко мазнул по нервам, что не удержался и вытащил из пачки сигарету. Долго теребил пальцами, женщина молча смотрела, как я это делаю.

— Так, — сказала она, спохватившись, — ну — вкратце. Я искала одного человека. Этот человек, он... В общем, я перед ним оказалась виновата. Настолько, что получаюсь я перед ним полной сволочью, вот как виновата. Искала в этом городе. Видимо, ошиблась. Бывает. Так что остается уехать обратно и либо продолжить искать, либо оставить все как есть. Однако в этом городе мне удалось кое-что найти. Понимаю, что к вам это отношения не имеет. Но, кто знает, может, вам это пригодится? Потому что мне-то это точно не пригодится.

Она выпалила эти слова, на ходу то ожесточаясь, сплющивая пальцами сигаретный фильтр, то вновь сникая. Договорив, она резко поднялась, положила мне на колени маленький сверточек, повернулась и торопливо, почти бегом зашагала к выходу.

В свертке был паспорт. Мой паспорт. В нем сберкнижка. И отдельно, в полиэтиленовом пакетике — связка ключей.

— Регина!

Регина вздрогнула и торопливо вернулась обратно. Села рядом, не сводя с него глаз. Такой он ее прежде не видел. Так и сказал ей.

— Какой — такой? Ты меня вообще никакой не видел, ты, Паша, никого кроме Анны и не видел, верно?

— Да. Тебе как удалось добыть-то все это? Мне сказали — концов не видать.

— Вот кто сказал, тому и не видать. А мне — только приглядеться.

Она хотела сказать что-то еще в этом духе, однако осеклась.

— Паша, ты меня... в самом деле простил или это просто мимолетная формальность?

— Слово-то какое, — Воронин усмехнулся, — мимолетная формальность. — Да и причем тут простил — не простил. Пустое слово — простил. Что было, того не вычеркнешь. А злости у меня на тебя и тогда не было. А уж сейчас — тем более.

— Паша, — Регина издала какой-то глубокий, вздрагивающий вздох. — Я тогда на следующий день просто с ума сходила. Ненавидела себя — это не то слово. Я вообще не понимаю, что на меня тогда вечером нашло. Хочешь верь, хочешь не верь, — наваждение.

— Так ты сразу ему позвонила?

— Кому — ему?

— Ну майору этому. Лукину-Фокину.

— Погоди... Дугину, наверное. Что значит, сразу. С утра. Прямо провод оборвала. Дозвонилась, он смеется: выпустили тебя. Вот так.

— Стоп. Я не про утро спрашиваю. Вечером, после нашего с тобой разговора разве не ты ему звонила?

— Да ты что, — Регина побледнела и округлила глаза. Что же я совсем что ли. Это Галка позвонила Шатунова. Кольку в тот день из больницы выписали, он пошел с болонкой во двор гулять, трое молодцов выскочили из машины, его отметелили ногами, почки отбили, собачонку придушили поводком. Галка и взбесилась. Воронин, мол, что-то отмочил, а Николеньку моего избивают.

— Так, ладно, — Воронин кивнул. — И... что дальше?

— Дальше. Выпустили, говорит майор. Выпустили, а дома-то тебя нет. Соседи говорят, и не было.

Стала Шатунову звонить. Галка его меня обложила с ног до головы, мало не показалось. Слава богу, после Колька сам мне позвонил и шепотком выдал, что, вроде, ты уезжать собирался. И про Галкин звонок в милицию мне сказал. Голос сопливый, сиплый. Бог им судья обоим, Паша. Однако у меня чуточку отлегло, я ведь чего только не передумала.

Сразу подумала про Вику. Подумала, а она сама звонит. Я вначале с ней говорить-то не хотела, потому что у нее тон был, как пожилого завуча. «Пожалуйста, не юлите, а говорите как есть...» Послала бы я ее в даль светлую, не будь она твоей сестрой... В общем, дурацкий получился разговор. А потом, — Регина склонила голову набок и глянула с прищуром, — потом позвонила наша с тобой теперь общая знакомая.

— Это кто?

— А ты не понял? Точно не понял или придуриваешься?

— Если ты об Ирине, то...

— О ком еще. Знаешь, как она меня нашла? Телефон Анны ты у нее оставил? Почему — не

спрашиваю. Сказал ей: позвоню и не позвонил. Она забеспокоилась, — Регина вызывающе приподняла бровь. — Стала шарить по Анькиному сотовому. Наткнулась на меня. Там написано: «Reshka». Звонит мне, а я на работе, совещание идет. Я и говорить не могу, и разъединяться боюсь, вдруг больше не позвонит. Выскочила кое-как в коридор, договорились в обед встретиться в кофейне возле нас...

А ничего так бабеч. С понятием. Держится, правда, напряженно. Но это тоже ничего. Я ведь сама начала резковато...

— Я хотела вам сказать...

— Давайте-ка начнем с того, откуда у вас этот телефон?

Ирина осеклась, будто с ходу налетела на препятствие, однако тотчас взяла себя в руки

— Его оставил Павел Воронин. Личность, как я понимаю, вам известная. Оставил, видимо, случайно. Надеюсь, во всяком случае. Можете забрать его, если хотите.

— Вы за этим меня сюда позвали?

— Нет. То есть, не только. Четыре дня назад он уехал к сестре. Должен был. Куда именно — не знаю. Сказал, что позвонит, как устроится. Не позвонил, как вы догадались. Если бы я знала, как найти эту самую сестру, я бы не стала вас отрывать от важных дел. Однако...

— Однако оторвали.

Регина нахмурилась, стала демонстративно раздраженно рыться в сумочке в поисках блокнота.

— Дома у нее, насколько я знаю, телефона нет, — бормотала она, непонятно к кому обращаясь. — Сотового не знаю. Есть рабочий. Ага, Воронина Вика. Записывайте... Хотя нет, давайте-ка я сама.

Трубку взяла с первого же гудка юная девица с писклявым голосом.

— Золотце, ну-ка давай мне поживее Викторию Валерьевну... А?.. Не поняла. Ты хорошо слышишь, золотце? Я сказала — поживее, время не ждет... А вот это, золотце, не твоего ума дело...

Вика взяла трубку не сразу. Долго слышалась неясная возня, переешептывание.

— Алло, — слышалось наконец, — я вас слушаю. Кто это?

— Вика, это Регина. Дело в том, что...

— Регина, перезвоните мне чуть позже. Ну, скажем...

— Нет, Вика, говорить будем сейчас. Мне комедию ломать охоты нету. К тебе дня четыре назад должен был уехать Павел. Ты скажи мне только, у тебя он или...

— Регина! Запомните раз и навсегда. Если вы посмеете еще хоть раз позвонить по этому телефону, я буду вынуждена...

Регина кивнула и швырнула телефон обратно в сумочку.

— Сука, — выдохнула она и зло закурила. — На публику работает, дрянь!

— Не вышло разговора? — Ирина сочувственно кивнула.

— Почему не вышло? — Регина усмехнулась, с шумом выдыхая дым. — Все вышло. Он туда приехал, с ней виделся, но у нее его нет. Полная информация. Но необходимо уточнить детали. Что мы и сделаем.

— Может, вы мне дадите ее адрес? Кто знает, может, у меня сложится разговор.

— Вряд ли. Нет, поеду я сама. У меня неделя от отпуска осталась. Разговор с Викой не кончен, меня на истерику не возмешь, сама кого хочешь переору. Слушай, — Регина глянула уже спокойно, — а он тебе (извини, я уж на ты, ладно?) так вот, он тебе сказал, **что** с ним случилось?

— Нет, — Ирина нахмурилась, и тоже полезла за сигаретами.

— А ты не хмурься, — Регина вдруг рассмеялась. — Мне тоже не сказал...

Приехала. Уж извини, но пришлось сестрице твоей натурально по роже съездить. Не сильно, так, по бабьи, по щекам. Это когда она начала на меня с порога визжать, мол, я проститутка, она милицию вызовет. В квартиру впихнула, чтоб соседи не сбежались, и нахлопала. Она разревелась, будто того и ждала. Зато успокоилась. Бог знает, сколько мы с ней выпили. Вика вырубилась вчистую, я испугалась даже: что я с ней, с такой, делать буду, да тут на счастье явился ее ухажер. Вениамин Игоревич. Паучок лупоглазый. Шустрый, заботливый и озабоченный. Моложе ее лет на пятнадцать. Альфонс со стажем. У него даже ключ свой. Все хотел меня как-то нетрадиционно отблагодарить за заботу о Вике. Да настырно, даже вспотел, как банное мыло. Я ему говорю: мальчик, думаешь, ты жизнь **пожил**, а я афиши клеила? Я, говорю, таких, как ты в школе проходила. На уроке природоведения. Он понял. Спросила напоследок: сколько ж у тебя, голуба, таких дойных телок, не считая законной супруги? Ухмыляется, гаденьш. В общем, сдала я ему Вику, как переходящее красное знамя, сама пошла искать эту гостиницу «Лето».

Там тоже. Сидит, значит, баба. Нет, говорит, вроде, не было тут такого. Даю фотокарточку...

— Вам номер, женщина? — администраторша оглядела Регину с головы до пят и вновь уткнулась в кроссворд, не найдя, видимо, ничего стоящего. — Номеров хороших нет, сразу скажу. Вот завтра к вечеру могут освободиться.

— Мне не номер.

— Та-ак, — брови администраторши поползли вверх. — Тогда что?

— Я ищу одного человека.

— Чудно. Вы видели на входе табличку «Справочное бюро»? Не видели. Здесь гостиница, чтоб вы знали.

— Его зовут Павел Воронин. Он был здесь три-четыре дня назад. Вот он, — Регина сунула ей прямо под нос фотографию.

Администраторша взяла ее двумя пальцами, долго молчала, с притворным равнодушием вертя в руках карточку.

— Милочка, — произнесла она наконец, не отрываясь от фотографии, — посиди денек на этом стуле, ты к вечеру негра от якута не отличишь. А дамочка, стало быть, кем ему приходится? Не женой?

— Женой.

— Интересная женщина. Лицо знакомое.

— Вряд ли. А вот эта? — Регина сунула вторую фотографию. Администраторша чуть не вырвала ее у нее из рук.

— Так. Это опять они. А третья кто? Не ты?

— Я. Так — что?

— Интересные какие люди.

— Кто, мы?

— Не я же. А ты сейчас другая стала. Там на снимке ты гордая да злая. Сейчас нет.

— Что было, уползло. Да и не было злости. Обида была, злости не было. Тогда не было, а сейчас вовсе толковать не о чем. Не о том мы, Анжела Станиславовна. Я ведь не на исповедь пришла. Хотите говорить, говорите, не хотите, без вас обойдусь...

В общем, лед тронулся. Подказала она мне насчет этой больницы. Про Елизарова. И еще, у кого твои вещички могут осесть. Я нашла. Жлоба несусветного, он кочегаром в парке культуры работает. Глазенки поначалу отводит, знать не знаю, говорит. Ах ты думаю, подлина, сидит в твоём свитере, в том, с синей каймой вдоль выреза, мы его с Анькой вместе тебе выбирали, когда на Карпаты ездили, и лыко мне плетет. Пришлось пугнуть. Много стараться не пришлось, у таких очко деревянное. Ах вот, вы о чем, говорит. Дает паспорт. Я чувю, что это не все и строго гляжу ему в зенки. Он подумал, копчик почесал, отдал книжку. Я ласково говорю, дядя Гена, может, ты чего забыл? Так ты лучше сейчас вспомни, покудова не поздно. Хлопает себя по лбу и достает ключи. Вот так вкратце... Ладно, Паша, пойду я. Сейчас, думаю, тебе тут немного проще будет. Так ведь?

Она положила ладонь ему на плечо, слегка сжала и поднялась, намереваясь уходить.

— Что же мне теперь сказать-то гражданину следователю? Ах, случайно паспорт нашелся, и я как-то сразу все вспомнил?

Воронин сказал это просто, чтоб что-то сказать. Стало вдруг не по себе и отчего-то захотелось ее удержать. Подумалось, что ему станет хуже без этого насмешливо-самоуверенного, и вместе с тем беззащитного, в сущности, человека. Почему-то почудилось, что вернувшееся одиночество вновь может ввергнуть его в ту пугающую беспамятную прорву.

— Если ты это про Филинова, то ему, — Регина улыбнулась и вновь присела на краешек, — ничего рассказывать не нужно. Я сама расскажу. Он меня с удовольствием выслушает. А вообще, он давно все сам понял.

— Филинов?! Этот...

— Тюфяк? Да? Ты это хотел сказать? Отнюдь, Паша. Это мы с тобой — тюфяки, а косим под умненьких. Этот — наоборот. Верно, одет черт знает во что, курит дерьмо какое-то, изъясняется как ротный замполит. А фишку сечет с полоборота. Ты еще слова не сказал, а он уже понял и выводы сделал. Он ведь все разрулил, и Елизарова этого, поначалу слушал бредни его, истерику, демагогию, в блокнотике строчил, головой кивал, соглашался. Тот пушок распустил, вроде на дурачка напал. А он его возьми вдруг и разложи, как трусы на просушку. Скромно так, двумя пальцами. Так что Филинова

можешь не остерегаться. Как ни парадоксально, между прочим. Он, во-первых, про это дело больше твоего знает. Во-вторых, он тебе не враг, я это ясно поняла... Так что, — она вдруг глубоко вздохнула, — пойду я, что ли, Воронин? Завтра с утра еще зайду.

Регина поднялась, однако тотчас вновь повернулась к Воронину.

— Хотела сейчас нашей знакомой позвонить. Успокоить. Потом, думаю, может, лучше тебе самому? Человек беспокоится, я ж вижу. Давай я тебе пока свой телефончик оставлю, завтра заберу. Оставить? Номер не забыл?

Не дожидаясь ответа, Регина положила ему на колено похожий на игрушку аппаратик.

— А у тебя теперь все нормально будет. Я это знаю. Вот знаю и все тут. И, — она некоторое время помолчала, — знаешь, почему?

— Почему?

— Потому что... Да я и сама не пойму толком, почему. Просто... у меня как-то разом на душе полегчало, вот почему. Именно сейчас, — Регина глубоко вздохнула и зажмурилась. — Как будто кто-то ушел из меня что ли. Это не передать. Понимаешь, меня ведь как будто кто-то толкал все время. Заставлял что ли, ни о чем другом думать не давал. То есть, я и сама бы, наверное, но... Вот с того самого вечера проклятого. Я стояла тогда у окна, глядела, как ты идешь по двору под дождем, в плаще с поднятым воротником. Стою, реву, как телка, а что делать, не знаю. Вот тогда, когда ты скрылся из глаз, будто кто-то в меня вселился и не оставлял. Ни днем, ни ночью. Теперь — все. Ты не поймешь, этого не объяснить, но мне иногда кажется, что это была...

— И не надо ничего объяснять. Я все понимаю.

Воронин улыбнулся и закрыл глаза.

*Светлой памяти
моего друга
Сергея Малышева
посвящается*

В НОЧНОЙ СТЕПИ

(Пролог)

Земля сама себя глотает
И, тычась в небо головой,
Провалы памяти латает
То человеком, то травой.

Арсений Тарковский

Странная в тот год выдалась осень. За день степь до одури накачивалась иссушающей, колючею жарой, даже ветер был тяжел и густ, будто в кузнечных мехах. Зато как только поблекшее солнце пряталось за тяжкие горбы курганов, ветер преображался, становился сухим и резким, налетал с разных сторон, будто не мог найти места. Темнота сходила внезапно, и казалось в такие часы, будто небо и земля сливаются воедино, вернее, что небо — есть лишь отражение земли, плоское, студеное и безжизненное. Однако и там, в ледяной вышине, — то же, что и здесь, — курганы с впаянными в них мерцающими валунами, корявые, дуплистые скелеты деревьев, кольшущаяся ледяная кисея, а за нею — сдавленное скрипение повозок, звон бубенцов, лошадиный перетоп, рев верблюжий, собачий лай и неспешный, настороженный человеческий говор.

К рассвету жухлая трава покрывалась мертвенной чешуйчатой сыпью и светилась под призрачной продрогшей луной бледным солончаковым свечением. Мертвая хватка холода ослабевала и к восходу раскосого утреннего солнца степь начинала бессильно тонуть в волнах тумана и терпкой травяной горечи, прихваченной инеем и ледяною росой.

Караван шел из Ургенча в Саксин. Уже позади три четверти пути. Караван остановился на ночевку возле обвалившегося колодца. (Кто засыпал его, людская злость или прихоть степи — бог весть.) На ночевку, однако встали: все выбились из сил, люди, верблюды, кони. (Да и воды пресной пока вполне хватало.) Встали лагерь, почти по-военному — места беспокойные. В прошлом году в этих краях на

караван налетела среди ночи свора разбойников-иомудов, с истошными, бесовскими воплями посекали они не успевший опомниться конный арьберггард, захватили двух вьючных верблюдов, еще двоим на скаку перерезали сухожилия, и ускакали во тьму. Караванщики, опомнившись, снарядили погоню, удалось стащить арканами с седел двоих разбойников, да отбить двух верблюдов, правда, без поклажи. Пленникам отсекали головы, усадили на их же коней, прикрутив к подпругам, и отпустили восвояси... Да и нынче юркие всадники на пегих тонконогих лошадях, в островерхих войлочных шлемах то и дело мелькали меж барханов, однако нападать не решались.

В костре, словно сказочное чудище, раскинув пульсирующие щупальца, корчится черное корневище карагача. Пламени почти нет, но жар из сердцевины костра плывет мягкий и вязкий. Уже перевалило за полночь. Гали, сын кузнеца Нугая, сидит, втянув по обыкновению голову в худые плечи, и тарашит в тлеющее чрево костра завороченные, воспаленные глаза. Давно пора идти спать, в юрту, на теплую, пахнущую овцой и человеком кошму, тем более устал он до изнеможения — только что был с отцом в ночном дозоре, и веки то и дело подергивает сладкая судорога. Где-то неподалеку взвыли шакалы. Эти твари следуют за караваном всюду. Визгливый гвалт этих беснующихся существ будто нарочно передразнивал недобрую, шумливую сутолоку людских скопищ. Но Гали лишь морщится. Он не один, шакалы ему не страшны.

Гали ждет *Старика*. Так тут все звали проводника. Каково его настоящее имя и сколько ему лет, того никто вокруг не знал, да и не интересовался. Старик и Старик, хоть и не так уж он стар, как иным кажется. Просто весь седой, от макушки до бороды. Многие тут предпочитали по разным причинам не называть своих настоящих имен. Наурбай, хозяин каравана, нанимает его не в первый раз. Потому, наверное, что Старик безошибочно ведет караван наилучшею дорогой, ибо, в отличие от многих других, умеет читать зияющую тайнопись ночного небосвода.

В прошлый год Старик спас караван от смерти. Ужасная, гибельная буря разметала тогда переправу через реку Сейхун. Взбесившийся ветер гнал с западной стороны ослепляющие тучи песка, перемешанного с мокрым снегом. Люди ощущали себя погребенными заживо внутри разверзшегося белесого лона пустыни. Лошади валились с ног, верблюды падали на колени, готовые принять смерть. Старик вывел теряющих рассудок людей и обезумевших животных под защиту полуразрушенных стен давно спаленного города Отрар. Детей и женщин привели вовнутрь маленькой, чудом уцелевшей саманной мечети, мужчины расположились поодаль. Узнав, что пропала молодая женщина, он, не слушая никого, отправился ее разыскивать в ревущую преисподнюю (ее молодой супруг предпочел остаться, ссылаясь на ушибленное колено), вернулся час спустя, неся перекинутое через плечо уже бездыханное тело.

Случай свел Старика и Гали в самом начале пути. Старик защитил тогда Гали от Нажарбека. Нажарбек — старший брат хозяина каравана, да в общем-то хозяин, ибо по старшинству караван принадлежал ему. Но, будучи от природы ленивым и почти слабоумным, с удовольствием передал все бразды Наурбаю, не забывая напоминать окружающим то, что хозяин тут он. Нажарбека всерьез не воспринимали, однако не перечили.

Вышло так, что как-то ночью выскочил Гали из юрты за малую надобностью и уж собрался забежать обратно, как увидел вдруг, что из соседней юрты, где жила многодетная вдова Хадича, повитуха и знахарка, вышел неловко, прямо-таки выполз Нажарбек собственной персоной.

— Ну вот, господин мой, — сокрушенно, давя зевоту, сказала ему вслед хозяйка дома. — Так и уходите, не попрощавшись. А ведь денежку пообещали. Денежка-то где, господин? У жены под тюфяком оставили?

— Язык придержи! Денежку! Как земля таких блудниц носит!

— Что ж вы так осерчали-то, добрый мой господин? Нешто я виновата, что у вас никак не выходит? Ни так не выходит, ни эдак не выходит. И чего ходите тогда по ночам, детей только зря будите?

— Ну-ка замолчи, дрянная шлюха! — зашипел Нажарбек и замахнулся самшитовой тростью с медным набалдашником, — башку-то расшибу! Видела эту палку?

— Как не видать! Отличная палка. Жалко, собственная у вас куда меньше. Как свиной хвостик, ни дать ни взять! — расхохоталась Хадича.

Разъяренный Нажарбек хотел впрямь ударить, но поостерегся поднимать шум, лишь злобно плюнул, однако и тут его постигла неудача: то ли от ветра, то ли от слабодушия, слюна смешно и жалко повисла на неряшливой, клочковатой бороде. И надо ж было ему именно в сей неподходящий момент встретиться взглядом с Гали. Мальчик стоял, замерев от любопытства, переминаясь босыми

ногами на холодной траве. Опомнившись, он поспешно оправился, шмыгнув в юрту, и хоть мало что уразумел из увиденного, осознал одно: от Нажарбека отныне добра не жди.

Так и вышло. Не давал проходу чертов бурдюк. Чего только не вытерпел от него Гали. По щекам хлестал за всякую провинность и камчой отгреб раза три по спине, едва увернулся. Однажды чуть не задушил. Случилось это когда Кызылтун, рыжий, косматый одногорбый верблюд вдруг невесть с чего взбесился, сорвал привязь и убежал в степь. Вернулся лишь к утру следующего дня как ни в чем не бывало, только прихрамывал на переднюю ногу, да шерсть на обоих боках висела клоками, видать, сцепился с кем-то в степи, не то с волком, не то с ревнивым самцом. Так вот Нажарбек во всем обвинил Гали. Мол, не углядел. Хоть Гали и не обязан был, его и рядом-то не было, да и что бы смог сделать щуплый недомерок со сдуревшим от взбаламученной крови верблюдом?

В последний же раз беда приключилась из-за Караброна, черного, длинношерстного, вислоухого пса. Пес утробно ненавидел Нажарбека, чуя, верно, его злобу к Гали, и не будь почти всегда на привязи, давно, пожалуй, порвал бы в клочья. Нажарбек платил ему тем же и однажды избил пса камчой, да так, что изувечил. Нугай, отец Гали, пожаловался Наурбаю, ведь Караброн считался лучшим сторожевым псом. Наурбай был, видать, сильно не в духе и прямо при оторопевшем Нугае не стерпел и накричал на старшего брата, мол, коли уж проку от тебя, жирного бездельника, никакого, так хоть не вредил бы.

Вконец осатаневший Нажарбек стрелой выскочил из шатра и побежал разыскивать Гали, а, сыскав, с непотребной руганью ухватил за шиворот и дважды ударил его камчой наотмашь. В первый раз Гали смог увернуться, зато второй удар настиг его, сочно окровавил шею и локоть, которым Гали закрыл лицо. От дикой боли Гали истошно закричал, пытался бежать, но Нажарбек успел вновь схватить его за полу бешмета, подволок к себе и замахнулся, чтобы ударить еще раз.

— Эй, Нажарбек.

Нажарбек тяжело засопел, обернулся и увидел Старика.

— Чего тебе?! Прочь пошел!

— Оставь ребенка, Нажарбек, — Старик говорил негромко, не сводя с Нажарбека тяжелого взгляда.

— Не видишь, кровь у него. Или забыл — кровь не вода, в землю не уйдет. За чужую кровь надобно отвечать.

— Ты не угрожать ли мне вздумал, беглый вор?!

— Я не вор, — глаза Старика под сузившимися веками вдруг полыхнули по-волчьи, — придержи язык, добром прошу. И грозить я тебе не стану. Пустое это дело. Но, Нажарбек, ты ведь знаешь, закон степи гласит: кто ударил ребенка или собаку, тот не мужчина.

— Это... он тебе наболтал? — лицо Нажарбека приобрело цвет освежеванной туши.

— Никто мне ничего не говорил. Кое-что видать без слов. Уймись, Нажарбек, говорю тебе, не позорь свой род.

— Это я позорю свой род? Я?! Не смей меня, Старик, или как тебя еще кличут! Тебе ли толковать о роде? У тебя даже имени, и то нет. Ты же как верблюжья колючка. К кому пристал, те и свои. Пока не погонят. А то, что скоро погонят, это я тебе обещаю. Я про тебя тоже кое-что знаю. Так что не путайся у меня под ногами!

Нажарбек вновь грозно засопел, резким толчком отпустил Гали, и, с усилием загнав камчу за кушак, зашагал прочь, бормоча под нос.

— Не бойся, — сказал ему Старик потом, когда они вдвоем сидели у догорающего костра, — Нажарбек тебя больше не тронет. И никто тебя не тронет, если ты этого не захочешь.

— Откуда вам знать? Нажарбек, он знает какой!

— Знаю. Потому и говорю. Не тронет.

— Он бил нашего пса, — сумрачно сказал Гали, продолжая всхлипывать и вытирать нос тыльной стороной чумазой ладони. Рану на его лице и руке Старик протер какой-то густой, маслянистой жидкостью с резким сладковатым запахом, которую он нацедил из глиняного флакончика. — Караброн был на привязи. Ну да, он на него зарычал. Так и что с того, Караброн всегда рычит, когда к нему приближаются, а когда на привязи, так и на своих рычит иногда. Нажарбек его несколько раз ударил камчой по голове, со всей силы, так, что у него вытек глаз, он выл и катался по земле, а Нажарбек смеялся и все повторял: «А вот не рычи на меня, не рычи». Даже подпрыгивал, — Гали снова всхлипнул и зло сплюнул. — Отчего Аллах терпит таких людей? Почему не накажет его?

— Я думаю, Аллах никого не наказывает. Как он может наказывать тех, кого сотворил такими, каковые они есть? Аллах творец, а не палач.

— По-вашему выходит, что Аллах мог ошибаться?

— Конечно, мог. Я же сказал, Аллах — творец, творец не может не ошибаться. Чем примитивней

существо, тем меньше оно делает ошибок. Разве могильный червь ошибается? У Аллаха нет волшебной палочки, он не колдун и не шаман. Он не творит чудес, ибо слишком велик, чтоб тешиться ярмарочными фокусами. Все, что у него есть — это разум и воля. Сотворив человека и вдохнув в него малую частичку этого разума, он, я думаю, не сразу понял, что существо это будет строптиво, неразумно и подвластно порокам, но избавить его от пороков возможно только лишив воли, а значит — разума. Посему все, что можно с ним сделать, — это предоставить самому себе... Аллах творил мир, а не игрушку для забавы.

— Это вам мулла сказал? — Гали поднял на Старика широко раскрытые от удивления глаза.

— Мулла? — Старик усмехнулся. — Я что-то не слыхивал от нашего муллы Кул Хафиза ни одной внятной мысли. Кроме трех-четырех плохо заученных сур, смысл которых он не понимает.

— Нельзя так говорить про почтеннейшего, — Гали насутился и даже отодвинулся подальше. Хотя втайне и сам недолюбливал этого старого скупердяя с хитрыми, не по годам блудливыми глазенками. — Про вас вообще говорят, будто вы безбожник и хулите Аллаха.

— Кто говорит? Нажарбек?

— И не только Нажарбек, — он вдруг с надеждой глянул на Старика. — Это ведь неправда, да?

— Ну конечно, неправда, — Старик рассмеялся и похлопал мальчика по шуплому плечу. — Я верю в бога, как всякий нормальный человек. Только причем тут жирный Кул Хафиз?

— Он мулла! — Гали вновь отодвинулся.

— Что с того? Разве Аллах поставил его муллой? Что мне может сообщить о тайнах мироустройства нечистоплотный толстяк, от которого пахнет кислым молоком и немытыми ногами?

Гали кивнул. Кивнул и тотчас ужаснулся и даже боязливо огляделся по сторонам. Ведь получилось так, что он как бы согласился с тем нестерпимо невозможным, что хрипучим, надтреснутым голосом говорит этот человек, вороша палкой дремлющие, переливающиеся угли. Ай, негоже ему слушать такое! Хорошо, мама не знает. Гали вновь торопливо огляделся. Старик заметил, глянул искоса и вновь усмехнулся.

Мама хочет, чтобы Гали стал кузнецом, как отец. Оно и правильно, кузнец без куса хлеба не останется никогда. Отец молчит. Положим, без куса-то не останется. Но не более. Сам Гали хочет жить так, чтобы никакой Нажарбек не смел замахиваться на него палкой. Отец молчит. Оно понятно, кому охота, чтобы — плетью, но ведь на всякого непременно сыщется свой Нажарбек, полагает он. Хоть и согласится, пожалуй, что быть караванбаши много лучше, чем кузнецом. Мама, как и Гали, считает, что таких, как Нажарбек, покарает Аллах. Но глядя на пухлую, сочащуюся салом морду Нажарбека, в это плохо верилось. Такие, как Нажарбек, поди, и на том свете от шайтана откупятся.

Пока он размышлял об этом и придумывал, что бы такое возразить Старика, он обнаружил, что сидит у костра один, да и костер уже почти угас, что он замерз, и его окончательно сморил сон...

Чужою жизнью караванщики не интересуются, полагая, что чем меньше суешься в чужую жизнь, тем реже будут соваться в твою. Долгая дорога, лишения и опасность приучает интересоваться лишь тем, что тебе действительно нужно и должно знать. Чрезмерно любознательных здесь не любят.

Хотя Сабитджан, верблюжий и лошадиный лекарь, похоже, знает про Старика более прочих. Именно потому, видать, и помалкивает, когда речь о нем заходит. Однако как-то все же проговорился. Что, вроде, оттого ходит Старик с караванщиками, что избегает появляться в городах. А избегает потому, что *вина*, вроде, за ним, а уж какая вина, да перед кем вина — ему неизвестно. Поэтому всякий раз отстает он от караванов на подходе к Сараю-Берке или к другому большому городу, получает расчет и остается в караван-сараях. Да и караван-сарая ищет какие попроще и полудней. Про это знают и не удивляются. А вина — так у кого в нынешнее время ее нет? Человек, добравшийся до тридцати лет, не мог иметь белоснежно чистую биографию. А уж дальше, так тем более.

И еще он сказал, что Старик уже давно ищет какого-то человека. Потому и ходит с караванщиками, что у них цепкая память, зоркий глаз и недлинный язык. И бывают они всюду. Людей ведь ищут по двум причинам. Или месть, или любовь. Так вот, вроде, это не месть. Откуда видно? А есть вещи, которые не скроешь, даже если очень хочешь скрыть.

Гали ждет Старика почти каждый вечер. Порой он приходит, порой нет. Он вообще странный, этот Старик. Может, к примеру, взять и исчезнуть на целый день. Уж куда, казалось бы, можно исчезнуть в голой, открытой, как ладонь, степи? Однако же исчезает. Никто, впрочем, не тревожится: только тронется караван, он появится вновь, будто никуда не уходил. Говорить с ним всегда легко, потому что он со всеми держит себя как с равными себе. В том числе и с Гали. Он так и говорит: нет на свете

ничего, что делало бы одного человека выше другого, ни богатство, ни знатность, ни возраст. Если, к примеру, караван собьется с пути и у людей мало воды и питья, а вокруг волки и лихие люди, как они ведут себя? Держатся сообща и делят все поровну, не так ли? И нет ни чинов, ни званий. Того же, кто держит себя иначе, кто отказывается делать, что ему должно, и тайком поедает припрятанное, ждет презрение и кара. То есть, они ведут себя единственно правильным образом. Но когда караван общими усилиями выходит к своим, все возвращается: кто-то выше, кто-то ниже, кто-то богат, кто-то беден. Так вот, это и есть самый великий грех, и тот, кто полагает, что это правильно, помогает нечестивому.

Он много что говорил, этот Старик. Гали слушает его, понимает, что никогда мир не станет таким, о каком он говорит, но слушает его как заворуженный. И главное, он сознавал, что тоже, как ни странно, немного нужен этому странному человеку, который внезапно появился в его жизни, и так же внезапно, он это чувствовал, уйдет.

В тот вечер Старик появился по обыкновению внезапно. Гали вздрогнул и тотчас обрадовано встрепенулся.

— Я тут... Сижу вот, — забормотал он, точно стыдясь кого-то. — Спать совсем не хочется. Вот я и...

Однако Старик, похоже, плохо слушал его. Точнее, вовсе не слушал. Он даже как будто не сразу его заметил.

— Скажи-ка, Гали, — спросил он медленно, не сразу, вероятно, вспомнив его имя. — Не было здесь Сабитджана? Ну вот недавно.

— Сабитджана? — лицо Гали разочарованно вытянулось. И в самом деле, причем тут какой-то Сабитджан...

Однако не успел он об этом подумать, как из тьмы, словно из иного мира, вышли два человека. В одном из них он тотчас признал Сабитджана. Другой был ему незнаком.

— Здравствуйте, почтенные, — учтиво, но с какой-то неприятной, пискливой выпренностью произнес незнакомец и раскланялся. Голос был искажен жестким, нездешним акцентом. Плоское, раскосое лицо расплылось в улыбке, такой широкой, что морщины на лице его выпрямились, а глаза, кажется, напрочь исчезли. Он будто нарочно делал так, чтоб вызвать к себе отвращение. Чего стоила жидкая бородка, редким, козлиным пучком росшая из середины подбородка. У глупого человека может быть умное лицо, говаривал Старик. Но у умного человека глупого лица быть не может. Если человек похож на дурака, он и есть дурак. Вспомнив это, Гали громко фыркнул. Незнакомец удивленно покосился на него, затем, поджав короткие и кривые ноги, присел рядом со Стариком и, не переставая улыбаться, вперился в Гали с тяжеловесной вопросительностью. Затем перевел взгляд на Сабитджана.

— Э, да ты что-то совсем клюешь носом, Гали, — сказал, странно посмеиваясь, Сабитджан. — Сдается мне, самое время тебе спать. Завтра трогаемся раньше обычного, чтоб ты знал. Надо поспеть к вечеру в город, чтобы с ночи занять место на базаре.

Сказав это, он мягкой, но не допускающей возражения настойчивостью приподнял его и, похлопывая по плечу, повел толчками в сторону от костра. Они шли молча и лишь возле юрты Гали остановились.

— Кто этот человек, дядюшка Сабитджан?

— Не знаю, парень, — вдруг посерьезнев, ответил Сабитджан. — Не знаю, потому что нутром чую людей, которых лучше бы не знать. А уж тебе подавно.

Гали хотел спросить что-то еще, но понял, что Сабитджан больше ничего ему не скажет, потому промолчал.

Незнакомец некоторое время молчал, неторопливо и бесцеремонно разглядывая его и улыбаясь, покачивал головой. Словно для того и пришел, чтобы глянуть, удовлетворенно кивнуть и уйти.

— Итак, я слушаю вас, — сказал Старик, устав, видимо, от нелепо затянувшегося молчания.

Незнакомец оживился, будто именно этого и ждал.

— Слушаешь? Нет. Это я у тебя слушаю. Ты меня ждал, да? Раз меня ждал, говори мне, что хочешь себе знать. Я себе так думаю. Да?

С трудом произнеся это, незнакомец засмеялся, точно с облегчением. Лицо его стало похожим на заплесневелую ячменную лепешку.

— Хорошо, — Старик перешел на уйгурский. — Что ты хочешь, чтоб я сказал?

Заслышав родную речь, незнакомец повеселел еще более.

— О, приятно говорить с образованным человеком. Я устал от вашего варварского наречия. Ну... скажи для начала, как тебя зовут. Чтобы выяснить, тот ли ты, кто меня ждал, и тот ли я, кого ты ждешь. Скажи, как тебя звать, только назови имя, а не какую-нибудь кличку, как у вас тут принято. Я этого не

люблю. Я ведь пришел сюда не для того, чтобы болтать со всяким встречным.

— Ты сюда пришел потому, что тебя послал тот, кто тебе заплатил, — неожиданно жестко возразил Старик. — И не говори со мной в таком тоне. Я этого тоже не люблю. Как меня зовут? Я редко называю свое имя, но раз надо, назову. Меня зовут... Ахмед. Ахмед Булгари...

ВЛАСТИТЕЛЬ*

Мне на земле ни почета, ни хлеба не надо,
Если мне царские крылья разбить не дано.

А. Тарковский

Ахмед Булгари

Меня зовут Ахмед. Ахмед Булгари с некоторых пор. У меня было множество разных имен, а того более прозвищ. Так сложилась жизнь. Город, что я оставил, и чье имя позднее присовокупил к своему, я уже почти забыл. Он не растворился во мгле сознания, он живет единым слитком мыслей и образов, но я, похоже, забыл к нему дорогу, и покуда не стремлюсь отыскать.

Нищета и бездомность — отменная школа для воли и рассудка. Отличное испытание: не слишком тяжкое, однако не выдержавшему и его не стоит тщиться жить дальше.

Я прошел две войны, ни на одной из них я не был ранен, но на второй попал в плен, едва не угодил в рабство в Персию. По дороге бежал, почти дошел до своих. Однако на двенадцатые сутки возле берега меня схватили полуголые люди с какими-то мерзкими склизкими, точно рыбьими, телами. Я пытался сопротивляться, разбил кому-то лицо, но мне тут же перехватили горло жестким, кусачим ремнем, уволокли на стойбище, где исполосовали вполсилы кнутами, привязали к стволу старой ивы в назидание и на поживу слепням и оводам. Спина моя почернела от летучей нечисти, вскоре я перестал чувствовать боль, лишь отдаленный манящий звон безумия. «Если выживешь, умным станешь. Если умрешь — еще умнее станешь», — приговаривал человек с красными, злыми глазами, сидя на корточках возле меня. Я слышал его будто сквозь дрему и кивал, что, кажется, немало его забавляло. Эти люди пили из выдолбленной тыквы какое-то пойло, от которого разговор их становился маловразумительным. «На-ка, выпей и ты», — сказал тот человек и плеснул мне на спину. От жгучей боли я, кажется, потерял сознание.

Я торопил смерть, и когда услышал за спиной еле слышные шаги, решил, что она уже пришла за мной, и застонал от счастья.

«Не оборачивайся, — услышал я тихий, приглушенный, будто из глубины колодца, голос. — Не оборачивайся, если хочешь жить».

Я и не оборачивался. И не потому, что так уж хотел жить, просто невыносимо болели спина и шея. Кто-то быстро развязал веревки, что-то шепча, похоже, какие-то заклинания. Потом те же руки, маленькие, но проворные и крепкие, сунули мне в ладони грубую глиняную чашу с еще теплым кобыльим молоком. «Выпей, а потом иди к реке. Иди вверх по реке пока ночь. Днем отсидись. Ночью иди. Через два дня выйдешь к своим. И не смей оборачиваться».

Так я и сделал. Не оборачивался, ибо тотчас забыл тогда о спасителе, не до того мне было. Тонкая, печальная полоска гусей, что летели на юг, указала мне дорогу: я пошел в обратную сторону. У каждого свой путь. Ночью шел, порой по колено в воде. Днем спал в шалашах, наспех сооруженных. Жрал улиток и раков, если попадались. Как-то ухитрился поймать дикую утку, разорвал и съел ее сырой.

Я выбрался к своим как раз через двое суток. Если, конечно, можно считать своими вербовщиков, которые едва не уволокли меня на новую бойню, конца коим тогда не было. Выручил меня мой облик: безобразно распухшее, ободранное лицо, лиловые, гноящиеся раны на плечах и бессвязный бред, что я выкрикивал силным, вороньим голосом. Что-то про ангела, который меня спас и будет спасать впредь.

Иногда мне кажется, что так оно и было. То есть, что некое призрачное существо сопровождает и будет сопровождать меня, отводя в самый последний момент бесплотной рукою роковые стрелы судьбы.

Мой ангел следовал за мною всюду, наблюдая за зигзагами моей судьбы. Он уберегал меня от воровских шаек, вытаскивал из сладкого, греховного чада опиокурлен. Так думалось мне.

И в тот самый миг, когда некие серые люди взяли меня за локти и, терпеливо снося мои протестующие вопли, поволокли невесть куда, я уверенно думал, что все это лишь очередной головокружительный фортель судьбы, за коим последует закономерное счастливое избавление...

БРОДЯГА

Лишь Всевышний ведаёт, что творит,
а прах, поднятый ветром, есть прах вдвойне.

Ахмед Булгари. Поэма «Властитель»

Он сидел, широко разбросав по полу ноги, обутые во вполне ещё добротные, однако явно с чужой ноги башмаки, скрестив на животе руки и высоко вскинув острый, сонно хрипящий кадык. Сидел так, будто заглянул сюда ненадолго, просто передохнуть, да как-то вздремнул, но вот-вот проснется, оглянет с удивлением эту тесную, переполненную до одури спертым мраком нору и уйдет отсюда прочь навсегда.

Человеку снились сны. Именно сны, много снов, и они, похоже, сменяли друг друга непрерывной, замкнутой цепью, не успевая надолго задержаться, потому что он то тревожно вздрагивал, то блаженно улыбался, то приглушенно вскрикивал и тряс головой.

Это был рослый, поджарый человек с плотными, рыжими бровями, слитыми гримасою сна воедино, темными, ввалившимися глазницами, густой, но аккуратно подстриженной бородкой. Одет бедно, однако, видать по всему, знал и лучшие времена.

Между тем, похоже, в хоровод образов и видений ворвалось нечто иное, заставившее его судорожно вытянуться, нечто, что исказило его лицо и исторгло глухой стон. Он содрогнулся, глухо выкрикнул проклятье, на мгновение широко распахнул обесмысленные забытьем глаза, осмотрелся по сторонам, тяжело вздохнул и вновь сомкнул веки.

Однако вернуться назад, в мглистый тоннель сна ему уже не удалось. Сначала неестественно громкий возглас, а затем сильный удар по ступне окончательно возвратили его из мира видений.

— Эй! А ну-ка встать! Поднимайся, свинья, кому сказано!

Перед ним стоял невысокий, но чрезвычайно крепко сбитый человек с огромными, корявыми, как корневища, ладонями, упертыми в бока, и толстой, поистине бычьей шеей. За ним маячил некто вовсе незримый с чадающим, ржаво поскрипывающим в руке фонарем.

Сидящий окончательно пробудился, глянул на вошедшего недобро, исподлобья и криво усмехнулся.

— Это ты, Касым. Знаешь, с такой мордой, как у тебя, не умирают своей смертью.

Он коротко рассмеялся, но, видя, что Касым снова заносит ногу, чтобы ударить его, торопливо поднялся на ноги.

— Пошел к выходу! И поживей, охота мне тратить на тебя время, — произнес Касым глухим, надтреснутым голосом.

— Ну наконец-то. Засиделся я тут. Меня отпускают наконец? Отвечай же, глухой пень!

Касым выругался, сгреб его за плечо и швырнул в дверной проем. Человек вскрикнул, ударившись грудью об косяк, однако, опасаясь повторения, торопливо пригнулся и шагнул в такой же темный коридор.

— Касым, если б твоя матушка знала, какого ублюдка родит на свет божий, она бы удавилась перед родами, — сказал человек, не оборачиваясь, ибо знал, что надсмотрщик его все равно не услышит.

В этот момент я не испытывал ни малейшей тревоги. Я был убежден, что все это, приключившееся вчера недоразумение, засим наконец благополучно завершилось, и то, что представлялось мне тогда обычным, разумным распорядком жизни, вернется наконец ко мне с минуты на минуту. Любой кошмар должен закончиться пробуждением, так оно повелось с детства, и так должно пребывать всегда. И, кажется, лишь на дне этого теплого месива холодным остроугольным камешком копошилась странная надоедливая тревога, и связана она была с тем промелькнувшим, как удар хлыста, видением, окончательно взорвавшим мой сон. Что это было, я не помнил тогда. Помнилось лишь то, что связано все это было с неким темным, как болотная вода, удушьем...

Возле ворот их, нетерпеливо постукивая коротким копьём о каменные плиты, дожидался стражник. Был он молод, невысок ростом, худ, с гладко выбритой головой, горбоносый, птичьим лицом, бегающими, часто моргающими воспаленно-черными глазами. Изжелта-бледные тонкие губы он поминутно и быстро, как змейка, облизывал, что неизменно вызывало у окружающих брезгливую опаску. Завидев их, он зло ощерился.

— Наконец-то приперлись! — сказал он, вновь зыркнув по сторонам. И тотчас громко выкрикнул

почти в самое ухо надсмотрщику гортанным голосом. — Эй, Касым, глухой вебрь, так это он и есть?!

Тот в ответ лишь кивнул и вскинул вверх обе ладони, давая понять, что он, Касым, дело свое сделал и дальнейшее его не интересует.

Зато стражник не отрывал от узника недобро любопытного взгляда. Любопытство, похоже, боролось в нем с презрением и спесью.

— Так меня отпускают на свободу? — спросил узник потухшим голосом, ибо сам уже перестал верить в спасение, которое еще мгновение назад виделось ему делом почти решенным.

— На свободу? — стражник глянул на него с удивлением. — На какую свободу?

— Да такую. Э, да ты, похоже, никогда не слыхивал такого слова? Даже не знаю, как тебе это объяснить...

Стражник вновь недобро ощерился, хотел ткнуть с его размаху древком копья меж лопаток, однако отчего-то раздумал. Лишь втолкнул в открывшуюся створку ворот.

— Мне велели препроводить тебя к хану, — сказал он будто кому-то в сторону. — Интересно, с чего бы?

— К хану? А почему это тебя удивляет?

— Еще бы не удивляло. Ошметок грязи, да к великому хану.

— Мы все ошметки грязи под стопами Всевышнего, не правда ли?

— Истинная правда, голодранец. Да только всякому ошметку разная цена. И если ты еще раз посмеешь мне дерзить, я на обратном пути обещаю объяснить тебе, в чем это различие...

ХАН

Быть куклой самою большой
еще не есть быть кукловодом.

Ахмед Булгари

Человек сидел на троне, скрестив на груди руки и откинув затылок. Он то ли подчеркнуто внимательно слушал говорящего, то ли дремал.

Человек же, согбенно стоящий перед ним, был сгорблен не столь ревностным почтением и опаской, сколь немалыми годами и хворями. Хлипкая одышка мешает ему говорить, словно загоняя слова вовнутрь.

Завидев, что человек на троне сидит недвижно с закрытыми глазами, старик испуганно замолкает, пристально всматривается в сидящего, затем начинает осторожно пятиться к двери, почтительно прижимая к груди свиток со сломанной печатью.

— Ну! — приоткрыв внезапно глаза, громко произносит сидящий, да так, что старик панически вскидывается и привычно хватается за сердце. Это вызывает у сидящего на троне довольный смешок. Старик тут же отвечает на него вымученной, сморщенной улыбкой.

— Ты закончил наконец? — говорит сидящий на троне. — Что-то ты стал чересчур благочестив? Не помирать ли собрался, почтеннейший?

Старик продолжает бормотать и кланяться, опасливо косясь на хана. Видно, однако, что сутулость и глуховатость явно наиграны.

— Говорят, благочестие — это одряхлевшее сладострастие, — продолжает Бирдебек и отрывисто смеется. — Что ты думаешь об этом, кади*?

Кади глуповато пожал плечами, не зная, что ответить. За сморщенными, как вялая кожа, веками не видать ничего, ни злобы, ни обиды.

— Коли закончил, проваливай. Не закончил, заканчивай. Я устал.

— Осталась мелочь. В городе объявился человек. Похоже, чужак, прежде его не видывали. Обретается в ночлежках, подрабатывает чем придется, именуется э-э-э... Ахмедом из города Булгара, бродячим поэтом. На базаре потешает публику стишками, порой говорит недопустимые вещи. Можно сказать, баламутит народ.

— И что с того? Это новость? Нет, кади, не новость. В городе объявился очередной болтун и шарлатан? А то их раньше не бывало. Нынче каждый второй бездельник мнит себя спасителем человечества. Что ты будешь делать, когда у человека нет охоты работать, у него непременно отыскивается талант! Ты не о том говоришь, кади. О том, о чем помышляет моя родня, сдуревшая от безнаказанности, вот что мне хотелось бы знать. А ты мне треплешь мозги о некоем уличном виршеплете. Ты не издеваться ли надо мной задумал, почтенный бурдюк с салом?

Лицо кади сереет и цепенеет от ужаса, на сей раз это не наиграно. У хана это вызывает смешанное чувство презрения и удовлетворения.

— Но... Он опасен. Клянусь Аллахом, опасен! — придушенно кричит кади, не решаясь

приблизиться к трону. Лицо его на мгновение становится злым. — Вы еще не знаете, как он опасен!

Бирдебек встает с трона, подходит к окну, отодвигая штору. Некоторое время молчит, отрешенно глядя на меряющего шагами двор стражника. Тот, будто почуяв взгляд, задирает голову. Бирдебек поспешно отворачивается, точно опасаясь встретиться с ним взглядом.

— Опасен? Чем же? Чем может быть опасным никчемное и бессильное? Изволь, ежели тебе нейдется, можешь его принародно выпороть. Они это любят. Все спасители человечества это любят, ибо полагают, что если их зад пострадает под палками, мир от этого станет чище и добрее.

— Дело не только в этом, великий хан, — кади наконец овладел собой и говорит спокойно и уверенно. — Вы правы, как всегда. Бесплезное — безвредно, молчуны опасней говорунов. Однако есть еще кое-что. Дело в том... Даже не знаю, как и сказать...

— Да ты уж как-нибудь скажи, всеумудрейший кади, — говорит хан, не сдерживая зевоты. — Скажи да и убирайся.

— Да. Дело в том, что он... очень похож на вас, великий хан.

Некоторое время лицо хана продолжает сохранять выражение раздраженного недоумения, искаженного притворной зевотой. Однако вскоре к недоумению примешивается нечто, отдаленно напоминающее растерянность и даже страх.

— Ты хоть разумеешь, что ты несешь? — говорит он негромко, овладев наконец собой. Затем вновь замолкает, мрачнеет и произносит тихим и твердым голосом: — На хана никто похожим быть не может.

Вновь замолкает, осознав, что произнес высокопарную глупость.

— Это разумеется! Это конечно! — подхватывает с готовностью кади, но тотчас виновато разводит руками. — Однако вообразите — как две капли воды, великий хан. Я видел своими глазами...

Хан прерывает его нетерпеливым жестом и закрывает глаза.

И что с того, думает он. Будто других забот нет. Бродит по городу оборванец, выкрикивает рифмованный бред, рассуждает о справедливости мироустройства. Голодранец, вор и — похож как две капли воды на правителя. Греха в том нет, любой предмет на что-то похож. Двойники — забава Всевышнего. Это впрямь забавно, когда они — одного поля ягоды. А когда один из них великий хан, а другой — полоумный уличный фигляр, уже не забавно. Не поймешь, что из этакой причуды может вылупиться. Коли об этом знает кади, старый наушник, то об этом могут знать и другие. Интересно, сам-то этот босяк знает об этом сходстве?

— Так говоришь, как две капли воды? — спрашивает Бирдебек внезапно и резко, так, что кади вздрагивает и даже втягивает голову в плечи. — Кто такой и откуда?!

— Звать его Ахмедом, я уже сказал, — торопливо, будто сглатывая непережеванное, говорит кади. — Родом откуда-то с севера.

— Вот что. Распорядись отловить этого малого и привести ко мне. Посмотрю, кто таков и решу, что с ним делать. Глядишь, сгодится на что.

— Да он уже схвачен, великий хан, — радостно вскрикивает кади. — Прикажете привести?

— Ну не сейчас же. Слишком долго. Позже... как-нибудь.

— Так он уже здесь, великий хан, — говорит кади весьма довольный собой. — Почти возле самых дверей. Дозволите впустить?

Хан вновь посмотрел на кади с раздражением, смешанным с удивлением.

— Впусти, коли так.

Он вдруг почувствовал, что перестал понимать сам себя. Можно, конечно, забавы ради побеседовать с собственным двойником, как с собственным отражением в грязном водоеме. Однако странное беспокойство вползло в него холодной тусклоглазой ящерицей. Как будто что-то затевается, и он, всемогущий властитель, потерял нить, не в силах этому противиться. Ощущение беспомощности и податливости некоей спокойной и бесстрастной силе поразило его настолько, что он, словно внезапно разбуженный, со стоном встал во весь рост. Что случилось?! Почему? Неужто это связано с этим балаганным шутком, которого непонятно зачем он распорядился привести, и даже, кажется, уже слышны его шаги? Что за напасть. Приказать немедленно удавить, да и весь разговор...

ХАН И БРОДЯГА

У Аллаха не счесть имен,
и самое грозное из них — Судьба.

Ахмед Булгари

Что я испытал, впервые увидав его? Как свое отражение в осколках разбитого зеркала. Трудно передать это чувство. Целая многосложная цепочка, которая, тем не менее, началась и завершилась страхом. Но если первый был банальным страхом бессильного перед силой, то последний — страхом смертного перед тем, что именуется Судьба. Этот страх был тем более силен оттого, что сидящий предо мной испытывал его так же, как и я, даже, пожалуй, сильнее. Не знаю почему, но я ощутил это всем нутром.

Ахмед, все еще щурясь от яркого света, не отрываясь, смотрел на хана. Хан смотрел на него. Это продолжалось так долго, что стражник, который привел Ахмеда, принялся осторожно пятиться назад.

Хан первым вышел из столбняка.

— Ну и что ты на меня смотришь, несчастный? — спросил он, уже вполне взяв себя в руки.

— Да уж не знаю, как сказать, великий хан, — через силу улыбнулся. Ахмед, не отводя глаз. — Выговорить-то страшно.

— Да уж ты попробуй. На площадях баламутить чернь тебе удавалось. Не страшно было?

— Чего ж бояться. Скажу, ежели вам угодно, — к удивлению хана, Ахмед привстал, заговорил вполне уверенно. — Мне кажется... мы с вами похожи, великий хан. Не находите?

Бирдебек с усилием рассмеялся. Однако, видимо, осознав некоторую неуместность и неестественность смеха, резко замолк и насупился.

— Нет, не нахожу. И довольно об этом. Скажи-ка мне, о чем ты болтал на базарной площади?

Ахмед выкатил глаза, будто не поняв, о чем идет речь. Затем вроде бы сделал вид, что с трудом наконец понял, чего от него хотят.

— Я говорил о справедливости. Я всегда о ней говорю. Разве это плохо? Власть должна быть справедливой, или ее не должно быть вообще. — Она, власть, на то и дана. Ведь, согласитесь, жить по звериным законам человек мог бы и без всяких властителей...

Говорил, стараясь не глядеть на хана, словно обращаясь к каким-то другим, незримым слушателям. Хан поглядывал на него искоса, с брезгливой улыбкой. Затем нетерпеливо перебил.

— Как ты сказал? Опирается на справедливость? — Хан говорит, любуясь собой, поигрывая голосом. Будто в комнате, опять же, есть еще кто-то, кроме него, бродяги и стражника с рыбьими глазами. — А *как* опираться на справедливость? Справедливость — мираж, пустота. Пустота может ласкать взгляд и слух, но на нее нельзя опереться, ежели не хочешь сломать шею. Крестьянин, у которого вор крадет овцу, считает это несправедливым, а вор — вполне справедливым, ибо вор сыщет тысячу причин, которые заставили его красть, а не добывать хлеб в поте лица, как завещал Всевышний. Когда вора схватят и посадят в зиндан, вор будет говорить — это несправедливо. Крестьянин же скажет: восторжествовала справедливость. Даже для двух людей нету одной справедливости. Что толковать о тысячах. Справедливость — это слово, призванное утешать, не более. Знаешь, отчего случаются самые большие беды? Когда люди принимают за установившуюся справедливость. Один Аллах ведает, на какие зверства способна толпа, уверовавшая, что творит справедливость. А человек, громко кричащий: я знаю, где справедливость! — страшнее чумы, — голос его вдруг смягчился, стал почти участливым. — Вот потому-то, — хан удовлетворенно откинулся на спинку трона, наслаждаясь произведенным эффектом, — мне и придется тебя обезглавить, Ахмед, хоть ты наверняка сочтешь это несправедливым.

Он с удовольствием наблюдал, как на глазах меняется лицо бродяги. Ироническая усмешка сменяется растерянностью, растерянность — недоумением, недоумение — страхом. Впрочем, он, пожалуй, пока еще надеется, что это нечто вроде шутки, что затем хан рассмеется, хлопнет его по плечу, да еще и бросит, как это бывает в сказках, ему в руки увесистый кошелек с монетами, после чего отпустит, довольный, что пообщался с таким остроумным собеседником. Нет, милейший, такие трюки проделывают только сказочные добрые и туповатые падишахи, с болтливими, хитрожопыми дервишами. У жизни нрав иной. Хан тихо смеется и словно в подтверждение своих слов качает головой. Кади с любопытством следивший за беседой, мелко вторит ему.

— Обезглавить. Именно обезглавить. Это не так страшно. Жалко, не к кому обратиться за подтверждением.

— Но я... Я не преступник, — с трудом выговорил Ахмед.

— Тот, кто научил тебя молоть языком, должен был сообщить, что за слова надобно уметь отвечать. Каждому слову свой счет. Он не сказал этого? Это его вина, не моя. Вот в этом и есть справедливость власти.

Потрясение и уныние во взгляде Ахмеда сменяется нежданно едва скрытой ненавистью. Он смотрит на хана сузившимися от ярости глазами, и тот вдруг бледнеет и отводит взгляд.

— Верить ли ты сам тому, что говоришь, великий хан? — Ахмед говорит, с трудом переводя дыхание. — Власть должна быть разумной. Это и значит — справедливой.

— Вот как? А моя власть, стало быть, неразумна? — Хан, похоже, не прочь позабавиться еще с этой забавной говорящей куклой.

— Стало быть, так. Когда налоги превращаются в удавку, властители ведут себя так, будто и нету над ними Всевышнего, сановники воруют, даже не скрывая, что воруют, лгут, даже не стараясь придать лжи убедительность, а солдаты идут умирать неведомо куда, не понимая, за что умирают, — это неразумно.

— Прекрасно! Ты полагаешь, что сказал нечто такое, чего мне не приходило в голову? Вообрази, приходило, и не раз. Как легко сказать: не должно быть несправедливых войн! А бывают войны праведные? Волка не накормишь сеном, кролика не напоишь кровью. Государство или есть, или нет его. Если оно есть, рано или поздно оно будет воевать. Мир и война сменяются, как лето и зима. Зима приходит не оттого, что кто-то ее хочет, а оттого, что пришла ее пора. Хочешь жить в мире с соседями? Это очень просто! Надо лишь сделать так, чтобы так же решили твои соседи. А потом соседи соседей. Да еще доподлинно убедиться, что никто из них не прячет кинжал под полой халата. Попробуй, сделай это!

Ахмед слушал его, эту самоупоенную болтовню, не пряча презрительной улыбки. Понимал, что терять ему нечего. Однако до конца выпустить наружу рвущуюся волну злобы отчего-то не решился.

— Я бы попробовал, если б представилась такая возможность.

Бирдебек досадливо махнул рукой.

— Хвала Аллаху, такая возможность тебе не представится. Воображаю, что случилось бы!..

— Отчего же, — Ахмед вдруг рассмеялся громко и дерзко. — Мы могли бы на пару дней поменяться местами. Подмены бы никто не заметил, уверяю. Мы ведь как две капли воды...

— Поменяться?! Великому хану поменяться местами с вшивым висельником?

— Почему нет? — Ахмед говорит, не сводя с хана смеющегося и ненавидящего взгляда. — В зиндане не так уж плохо. Вшей там нет в помине. Клопы есть, это да. Два раза в день по кружке воды и по ячменной лепешке. Знаете, из всех добродетелей беднякам лучше всего удается умеренность в еде. Конечно, лепешки могли бы быть помягче, вода почище, клопы посострадательней, тюремщики подобрей, но все это не так страшно. Зато подумайте — **темнота и уединение!** Это же вечные спутники мудрости, то есть того, чего вам недостает, великий хан. Власть обостряет чувства, звериные инстинкты, все, что угодно, но притупляет ум. Почему? Да потому что властители лишены роскоши уединения. А без нее ум хиреет, как одинокий росток. Росток нуждается в свете, а ум — в полумраке. Странно, властители одиноки, как никто другой из смертных, но лишены возможности уединения, то есть того, что в избытке у любого нищего бродяги. Они не могут остаться наедине со своими мыслями, им мешают какая-то запутанная шушера, вроде государственных дел. Так где же еще найти уединение, как не в темнице? Там, где я сижу, был, правда, один сосед, цыган. Сводник и конокрад, даже, кажется, убийца. Днем донимал скабресными байками, а ночью храпом и кашлем. При мне съел однажды живую ящерицу. Бр-р! Но его, кажется, казнили сегодня утром. Так что у вас будет возможность поразмышлять в одиночестве о вечном.

Почему-то слово «вечном» приводит Бирдебека в странное волнение. Он вскакивает с трона, смотрит на Ахмеда почти с ужасом.

— Ну довольно. Прочь! Увести! Стражник! Я сказал — увести!

Стражник, все тот же горбоносый, смуглый человек с выбритой головой равнодушно толкнул Ахмеда в плечо и те скрылись за дверью.

ТЕМНОТА И УЕДИНЕНИЕ

Возможно ль что-нибудь забавней,
чем человек, что заявляет:
«Мне ведомо, что будет со мною через миг»?

Ахмед Булгарчи

Когда за нами закрылась дверь, стражник широко и шумно зевнул и толкнул меня локтем в плечо. Отчего-то все это показалось мне невыносимо оскорбительным. Именно то, что он зевнул. Широко и зубасто. До судорожного вопля захотелось мне тогда кулаком загнать эту зевоту ему обратно в его маленький, змеиный рот. Мне нужно было остановиться, глубоко вдохнуть или сделать еще что-то, дабы унять тяжелую, животную дрожь во всем теле. Как же я ненавидел этот дворец, этих глиняных людей-призраков, этот город-народоубийцу! Как никогда прежде. Нет худшей муки, чем осознать в полной мере свое комическое бессилие. Смерть была возле меня, в такой непристойной близости, что воспринималась не как окончание жизненной дороги, а как некое обидное, унижительное наказание, которое можно было, тем не менее, перетерпеть и жить дальше. Странно, но я подумал тогда, что тот, курьезно схожий со мной человек, тот, что объявил, что убьет меня с такою непостижимой, гадкой небрежностью и мерзким лицедейством, сам испытал (я успел это увидеть по

его искажившемуся на миг лицу) тот самый ужас, который не успел испытать я.

Стражник, как и должно ему, шагал сзади, однако уже потому, как он то и дело сбивался с шага, начинал вдруг мелко семенить, то стараясь забежать вперед, то осознавая, видимо, нелепость этого, отставая вновь, было видно, что его прямо-таки выедаёт изнутри с одной стороны мелкое, праздное любопытство, а с другой — неистребимое желание глянуть в глаза тому, кто обречен на смерть. Ибо нет и не будет для человека тайны более манящей, чем тайна смерти.

Ахмед, будто назло ему, вышагивал размеренно и неспешно, сам поражаясь внезапно накатившемуся каменному спокойствию. Наконец нетерпение у стражника, похоже, окончательно взяло свое.

— Эй ты! — крикнул он. — Тебе говорю. Остановись.

Ахмед остановился, нарочито равнодушно повернулся к стражнику, заложив руки за спину.

— Скажи-ка мне, — стражник торопливо зыркнул по сторонам и понизил голос. — Скажи, зачем тебя приводили к хану? На моей памяти не было такого, чтобы заключенных из зиндана водили к хану.

— Так ты и не понял? Может, оно к лучшему. Знаешь, есть вещи, которые ежели не понял сразу, лучше не понимать вообще.

— Я понял одно, — стражник вдруг повеселел, — завтра тебе оттяпают твою рыжую башку, вот что я понял.

— Может, оттяпают, может быть, и нет. А с тобой? Что станет завтра с тобой? Ты знаешь?

— Кому знать, как не мне?

— Этого никто из смертных не знает. Наше знание подобно махонькой дырке в ведре, которое нам до скончания века натянато на голову. Мы видим мир в эту дырку и воображаем, что...

— Знаешь, я, кажется, уже понял, за что тебе сносят голову, — усмехнулся стражник. — Вместе с ведром и дыркой...

Донесшийся из полутемной горбатой арки пронзительный, но негромкий голос перебил его на полуслове. Стражник осекся, втянул голову в плечи, лицо его будто разом осунулось. «Стоять!» — выкрикнул он злобным полусшепотом, хотя Ахмед и без того стоял на месте. Затем он выругался и, развернув Ахмеда за плечо, бросил к стене лицом. Ахмед, кривясь от боли в подбородке, слышал, как к стражнику неслышно, войлочной походкой приблизился какой-то человек, что-то негромко сказал на незнакомом гортанном наречии и, так же едва слышно ступая, удалился. Ахмед стоял, вперившись глазами в серую каменную кладку, пока стражник так же толчком не развернул его лицом к себе.

— Пошли быстро!.. Да не туда, болван!

— Куда?! — похолодел Ахмед, теряя разом самообладание.

— Обрато. К хану, — угрюмо отозвался стражник и, забывшись, вероятно, от растерянности, быстро зашагал впереди него.

— Вот видишь, — некоторое время помолчав и переведя дух, произнес Ахмед. — А ты говоришь — знаю...

Бирдебек стоял у окна. Вид круглого вымощенного шлифованным гранитом двора до сих пор вселял подобие успокоения. «Слишком много камня, мало зелени, — вдруг подумалось ему. — Простая зелень, вот все, что нужно. Не карликовые деревья-уродцы, не полыхающие, будто упившиеся кровью цветы. Просто трава и деревья. Те, что растут в степи и в лесах. И никого не впускать. Только я один. Трава и деревья. Темнота и уединение. И никто ничего не узнает...»

Лицо его исказилось, он отошел от окна и, едва слышав звук открываемой двери, торопливо шагнул к трону. Grimаса брезгливого любопытства с трудом воцарилась на его лице. Вот и вернулся бродяга. Уже без прежнего петушьего гонора. Верно говорят: с гонору ходят по миру.

— Так ты, несчастный, говоришь...

Однако смех его по-прежнему неестественен, а говорит он преувеличенно громко. Хан спохватился, глянув на застывшего у двери стражника. Сделал ему нетерпеливый знак.

— Прочь пошел. И не впускать никого сюда.

Стражник быстро кивнул, повернулся к двери и в этот момент взгляд его встретился со взглядом Ахмеда. И ледяная вспышка ужаса исказила его черты, он вначале замер, затем дернулся, затравленно обернулся на хана и, тяжело давя в себе вопль, исчез в дверном проеме.

— Так ты, несчастный, говоришь — темнота и уединение?

— Я?! — Ахмед вскинул на хана округлившиеся от удивления глаза. — То есть... Ну да, я говорил это, но ведь...

— Ты сказал еще: поменяться местами. То есть, мне — с тобой?

— Верно, — Ахмед улыбается с искренностью человека, которому нечего терять. — Истинная правда, великий хан, хотя можете считать это шуткой висельника.

— Висельник может позволить себе быть шутником. Великий хан — нет. Быстро переодевайся!
Ахмед глянул на него, широко раскрыв глаза, затем зажмурился и встряхнув головой, будто гоня наваждение.
— Пере... Что вы такое сказали, великий хан?
— Ты еще и глухой. Я сказал — переодевайся. Вшей нет, говоришь?
Ахмед неловко поймал брошенный ханом кафтан, прижал к груди.
— Нет, великий хан, то есть... я не видел, — говорит нервно заикаясь, не сводя с хана потрясенного взгляда. — Очень возможно, что и... Так вы не шутите?
— Сказал же — нет.

ТЕМНОТА

Зеркало — есть порождение сатаны.

Ахмед Булгари

Хан был как-то необычно возбужден и говорлив. Так ведут себя люди, которые приняли некое решение и стараются не думать, сколь верно это решение. До сих пор не могу понять, зачем он тогда это сделал. Была ли то блажь пресыщенного при виде новой забавы или хитроумный замысел, не знаю, и никто не узнает. Куда ж он так торопился, отчего говорил, упорно отводя в сторону глаза? Безумие? Но безумия, как такового, нет, говорил мой отец. Есть несколько граней реальности. Те, кого именуют здоровыми, пребывают в одной, а кого безумными, — сразу в нескольких. Всегда полагал себя человеком уравновешенным, однако когда мы — я и хан, вышли из маленькой потайной комнатки за тронем и я увидел себя в зеркале, мне захотелось кричать от ужаса. Мне показалось, что душа моя переместилась в оболочку чужой плоти. Сказка, что страшно началась, и заканчиваться должна страшно.

— Помни, всего на один день, — хан с неудовольствием разглядывает себя в зеркале. — Никуда не выходи, никого не принимай. Да. Останешься здесь на ночь. Если придет кади, ты видел его, тоже не принимай, даже если будет настаивать. Скажи: я обдумываю одно важное дело. И уж не приведи бог заявиться в спальню.

— Помилуйте, как можно! — Ахмед заметно оживляется. — Так вы решили? Не ждал. Однако не пожалеете, поверьте. Советую прежде подкрепиться. Нет? Зря. Лепешки там, прямо скажем... Впрочем, это не надолго. Там есть надсмотрщик Касым. Чем реже попадаться ему на глаза, тем лучше. Если вдруг попались, старайтесь глядеть с уважением, не улыбаться, он этого страсть как не любит. Говорить при этом можно все, что угодно, он, между нами, глух, как пень. Это забавно по-своему, похоже на игру — глядишь на него почтительно, а сам говоришь: оторвать бы тебе яйца, старый ишак! Насчет клопов я сказал. Впрочем, клопы наверняка не пьют голубую кровь. Тем более, это ведь только на один день. Один день! Ах, великий хан, клянусь, если бы мне предложили выбор: прожить тысячу дней царем и тысячу один — голодным оборванцем, я бы выбрал тысячу один. Почему? Один день жизни — это величайший дар Аллаха, он перевесит прочие блага! Боюсь, ты этого так и не поймешь.

Он тоже подошел к зеркалу и, торопливо подавив в себе судорогу страха, расхохотался неестественно громко.

— Хвала Аллаху, я не далее как вчера отдал последний дирхем цирюльнику, и тот подстриг мне бороду и соскоблил лишнее. Ведь как знал, бездельник. Хорош бы я был сейчас с нечесаными космами и недельной щетиной. Когда судьба затевает с тобой игру, не стоит даже пытаться угадать ее правила. Великий хан, еще не поздно передумать!

— Закрой рот, дармоед, — улыбаясь, перебил его Бирдебек, думая о чем-то своем.

— О, как будет угодно...

Между тем к наглухо закрытой двери тронного зала бесшумно по обыкновению подошел кади. Запоздало увидев стражника, он ошеломлен от неожиданности, недовольно сморщился, попытался обойти его, но тот равнодушно преградил ему дорогу.

— Ты меня не узнал, болван? — злобно ощерился кади.

— Как же это, вас да не узнать, — ответил стражник со всем возможным почтением.

— Так пропусти, мне нужно к хану.

— Великий хан не велел пускать никого, — стражник прикрыл глаза.

— Я сказал, мне срочно нужно к хану, — кади раздраженно повысил голос. Он уже не похож на того шамкающего, пугливого старичка с бегающими глазами и вздрагивающим подбородком.

Стражник столь же равнодушно качнул головой и без всякого почтения, с гримасою досады отстранил старика в сторону древком копья. Он еще сам не понимает, зачем он это делает. Но странное наитие подсказывает ему: что-то меняется, меняется, и надобно не дремать, дабы не быть мимоходом опрокинутым тяжелой колесницей судьбы.

А Ахмед уже, похоже, почти освоился. Отражение в зеркале его уже не страшит. Скорее забавляет. Он принимается строить гримасы: то нахмурится, то гневно вытаращит глаза, то снисходительно улыбнется.

— Слава Аллаху, не далее как вчера отдал последний дирхем брадобрею, — сказал он, глумливо оттянув щеку языком. — Хорош бы я был сейчас с нечесаными космами и недельной щетиной.

Хан не удостоил его ответом.

— Великий хан, великодушно извините, — вновь произнес он, продолжая гримасничать, — но вы позабыли об одной вещице, — он указал пальцем на маленький серебряный перстенок на его правой руке.

Бирдебек усмехнулся, затем вскинул вверх растопыренную пятерню, любовно разглядывая перстень и тотчас сжал ладонь в кулак. Ахмед с трудом подавил усмешку: высокомерная усмешка и драный кафтан плохо вяжутся друг с другом.

— Ну нет, это — перстень великого Бату. Он может быть только у хана. Только! Без него я, сохрани Бог, ничем не буду отличаться от тебя, или другого бродяги. Понял, несчастный?

— Понял. Как не понять. Только уж вы берегите его, не ровен час, попадется на глаза Касыму. Плакал тогда ваш перстенок.

— Учту. Однако давай, зови стражника, пока я не передумал. До завтра, Ахмед из города Булгар! Стражника зови, я сказал!

Ахмед тотчас изменился в лице, судорожно сглотнул и вскрикнул слабым, охрипшим от волнения голосом:

— Стража! Эй!

— Громче! — расхохотался Бирдебек. — Громче, болван. И сядь на трон, ты ведь хан все же.

— О да, я хан. Сейчас.

Ахмед неловко взобрался на трон, негромко откашлялся. Трон показался ему громоздким и неудобным, он даже выругался вполголоса. Некоторое время помолчал, затем выражение его лица его стало меняться, и через несколько мгновений стало уж вовсе неразличимо схожим с бирдебековым. Он холодно прищурил глаза и произнес резко и властно.

— Стража!!!

Бирдебеку это уже не кажется смешным. Какой-то неясный, тоскливый толчок в самое сердце заставил его содрогнуться, он пораженно округлил глаза и вскинул руку, словно пытаясь остановить нечто неотвратимо надвигающееся. Глаза хана и бродяги встретились, и один увидел пред собой всесильного властителя, а другой — бессильного оборванца.

Дверь однако почтительно отворилась и вошел стражник.

Подмены он не заметил, но что-то, тем не менее, заставило его настороженно втянуть голову в плечи.

— Уведи его, — устало и равнодушно произнес Ахмед. — Мы с ним договорим... завтра. Сегодня мне недосуг. Да, скажи, начальнику тюрьмы, чтоб накормили получше, а то еле языком ворочает. Скажи, чтоб тюфяк сменили, тот, говорит, сгнил совсем. Верно? Еще скажи, чтобы не били ни в коем случае. Чтоб даже пальцем коснуться не смели. А Касым... А Касыма чтобы вовсе удалили оттуда. Насовсем. Хватит, озверел малый, людей калечит. Скоро война, пусть и покажет силу на войне. Ко мне сегодня никого не пускать, у меня важное дело. Более важного дела у меня, может, и не было. Пусть жене скажут, чтоб не ждала меня сегодня. Буду занят. Все понял?

— Да, великий хан. Пошел!

Не спеша, лениво толкнул Бирдебек в спину. Тот гневно обернулся, но тотчас получил толчок еще более увесистый и едва ли не вылетел в проем двери. У самого выхода стражник внезапно остановился. Медленно обернулся. Ахмед спокойно выдержал его взгляд и коротким ободряющим кивком отослал стражника прочь.

До сих пор не знаю, когда именно мне пришла в голову эта мысль. Наверное, не раньше, чем за ними затворилась дверь. Наверное, некоторое время я еще кривлялся перед проклятым зеркалом с беззаботностью ярмарочного придурка. Наверное, меня еще некоторое время забавляло видеть себя

размалеванной, ряженой куклой с глупыми нарисованными глазами. Наверное, я лишь через некоторое время вспомнил, какова участь кукол, отыгравших свое. Наверное, есть вопросы, ответы на которые я до сих пор не хочу знать.

Ахмед некоторое время бесцельно прохаживался по комнате, то переставляя в бессмысленной задумчивости предметы с места на место, то вновь разглядывая себя в зеркале. Внимание его привлекают то дорогое оружие на стенах, то сосуды с терпкими благовониями, то шкатулка с драгоценностями, стоящая непонятно почему раскрытой настезь на маленьком столике черного дерева, кажется, китайской работы. «Один такой вот зеленый камушек, — думает он, — и я смог бы вернуться в свои края и купить неплохой дом. А если еще, к примеру вот этот перстень с рубином, что у меня на среднем пальце правой руки...» Он поднял руку, чтобы полюбоваться камнем, и вдруг стиснул руку в кулак.

Всего на один день. Завтра его, как мелкого, потного шута со смехом и бранью погонят прочь с трона, на который шутя взгромоздили.

Он с неожиданной яростью ударил кулаком по шкатулке. Шкатулка треснула, а ее содержимое — камни, перстни, браслеты — с жалким мишурным звяком рассыпались по полу. Весь их блеск, словно смеясь, напоминал ему о его прошлом и о его грядущем. Ханский жезл в руках обездоленного лишь жестоко обнажает его ужас и отчаянье.

— Стража!!! Эй, быстро сюда!

Стражник появился на удивление быстро. Вопросительно наклонив голову, глянул на повелителя.

— Где этот... Ахмед?!

— Но... его увели, великий хан, — стражник удивленно вскидывает брови. — Вы же сами...

— Немедленно догнать! Эта дрянь украла у меня перстень! И когда успел только, ворюга базарный!

Он наконец нашел в себе силы глянуть ему в глаза. Глянуть как хозяин на слугу. Кажется, у него получилось.

— Прикажете привести сюда? — деловито спросил стражник.

— Нет!!!

В чем дело? Кажется, Ахмед на какое-то время потерял самообладание? Лицо исказилось страхом? Голос задрожал, а спина покрылась испариной? О нет, это лишь миг, он уже взял себя в руки.

— Нет, — Ахмед усмехнулся. — Отобрать перстень, принести мне.

— А с ним что делать?

— Ах с ним! — вот Ахмед уже и окончательно успокоился. — А что бы *ты* стал с ним делать? Как тебя звать, кстати?

— Меня? — стражник удивленно обернулся, словно желая убедиться, что за спиною никого нет. — Хасбулат, ежели вам угодно знать.

— Хасбулат. Так вот, Хасбулат, что бы ты стал делать с человеком, которому ты хотел помочь, а он, заморочив тебя болтовней, тайком украд у тебя самое дорогое, что у тебя есть?

— Я бы... — стражник ухмыляется и быстро проводит ладонью по горлу. — Вот что сделал бы, если вам угодно знать. Но...

— Так и сделай это, Хасбулат, — Ахмед этак сонно прикрывает глаза, будто речь зашла о пустячке, на который слова-то тратить жалко. — Сделай быстро, и так, чтоб никто не видел. И чтоб он пикнуть не успел. Если кто-то окажется рядом с ним, сделай так, чтоб этот человек про все забыл. *Кем бы он ни был*. Ты ведь знаешь, как это сделать? Вижу, что знаешь. Это важно, Хасбулат. Не стану тебе объяснять, почему. Сначала *сделай*, потом заведи перстень. Он, полагаю, уже напялил его на свой палец. Один можешь не справиться. Возьми надежного человека. Найдешь такого?

— Найду.

— Прекрасно. Ступай. Делай как знаешь. Но серебряный перстень должен быть у меня, и чем быстрее он вернется ко мне, тем дольше и благополучнее проживешь.

УЕДИНЕНИЕ

Мать моя более всего боялась увидеть зеркало во сне.

Зеркало во сне — смерть, что стала в изголовье.

Ахмед Булгари

— Долго ж с тобой там возились, — зло прошамкал Касым, когда второй дворцовый стражник привел к нему переодетого в отрепья Бирдебека. Привел и, с улыбкой произнес что-то, скрылся из

виду.

Между прочим он еще успел сообщить нечто такое, что вовсе лишило старого служаку Касьма душевного равновесия. Этого типа, оказывается, нельзя пальцем трогать, как бы он себя ни вел. Вот тебе хрен! Значит, он творит, что хочет, а я ему даже в рыло не дай? Что ж это за тип такой, что ему даже в рыло не дай? Да он и сам — будто подменили его. Даже походка изменилась. И взгляд. Будто на ползучую жабу свысока глядит. Положим, тот, прежний, тоже так глядел временами. Но тот-то хоть понимал, кто он и что он есть. А этот, нынешний, похоже, и понимание утратил. Это, положим, дело времени. Недоразумения тем и хороши, что рано или поздно заканчиваются. Так-то оно так, однако уж очень не любит Касым, в недалеком прошлом сам вор и убийца, все непонятное. И потому все, что не освещено светом его тусклого разума, для него чуждо и злонамеренно.

— Эй ты! — окрикнул он идущего впереди узника и для верности схватил его за плечо и подтянул к себе. — Тебе говорят! Или оглох?

Узник на мгновение остановился и, не оборачиваясь, локтем отпихнул в сторону от себя его руку. Касым, потеряв дар речи, округлил глаза. Даже дышать трудно стало. Да чтоб его, здесь, вот так... И кто — рвань арестантская! Занес по привычке кулак, но, глянув в это разом окаменевшее лицо понял, к своему ужасу, что не смог бы, пожалуй, ударить его даже если бы и не получал от стражника указаний не трогать. Не смог бы и все. Что ж он, такая важная птица? Так повидал он важных птиц на своем веку, будьте покойны. Тут кого только ни побывало, вельможи да такие, что имя произнести боязно было, не то что в глаза глянуть. Однако же к вечеру второго дня пребывания гонор стихал, а к утру дня пятого пропадал, будто и не было. Под себя мочились иные, стоит ему, Касыму, войти. Ладно, утремся покудова. Коридор, он вон какой извилистый, поди узнай, что за тем поворотом. Лучше не гадать, жить спокойнее.

— Эй, скажи-ка, — говорит Касым уже почти миролюбиво, — кто хоть ты такой, а? Хоть намекни, я понятливый.

— Скоро узнаешь, — смеясь, кричит ему узник чуть не в самое ухо. — Пока скажу одно: не делай того, о чем потом придется отвечать головой и потрохами. Понял?

— Понял, отчего не понять. Ну и ты тоже. Не делай. Коридор, он вон какой извилистый.

— На том и сойдемся, — хохочет узник.

Весело Бирдебеку. Приключение все более начинает забавлять. Своего рода запретный плод, только наоборот. Единственный путь оценить великолепие рая — это низвергнуться в преисподнюю. Хоть на день. Преисподняя полна тайн и диковин, причем куда более интересных, чем кучерявые райские лужайки. При условии, конечно, что у тебя есть ключик, чтобы открыть ее изнутри. А он у него есть. Да к тому же разве не забавно выслушивать дерзость, даже брань тех, кто завтра будет скулить и валяться у тебя в ногах. Пожалуй, он их всех простит. Впрочем, будет время подумать. Чьи-то шаги сзади. Кто-то торопится. ...

— Хасбулат?! — Касым вздрогнул от неожиданности и грозно выпучил глаза. — Черта ли тебе здесь надо? Как ты сюда попал?!

Кажется, стражник что-то ему ответил. Но почему-то на непонятном, похожем на птичий клекот языке. Касым хотел было переспросить, но неожиданно сильный, ослепляющий толчок в лицо отбросил его к стене. Он ощутил тяжелую боль в затылке и на какое-то время перестал осознавать себя. А затем обнаружил, что сидит, привалившись спиной к стене, что у него густо кровоточит разбитый рот. И еще он увидел нечто странное: стражник Хасбулат стоит, напряженно ссутулившись, над каким-то человеком, человек этот, судя по всему старается высвободиться, дугой выгибает тело, судорожно сгибает и разгибает ноги, беспорядочно машет руками. Касым пригляделся и узнал вдруг в конвульсивно содрогающемся человеке того дерзкого узника. «Хасбулат! — хрипит из последних сил этот узник, тараша мутнеющие глаза, ты что, не узнал меня?» — «Как не узнать, — скрипучим от натуги голосом отвечает стражник и, тяжело сопя, затягивает веревку на его шее. — Узнал. В лучшем виде узнал. Не извольте беспокоиться...». Сказав это, Хасбулат, ухнув, всем телом наваливается на распростертого на земле человека. «Нельзя! — кричит Касым, неожиданно севшим голосом. — Его нельзя трогать! Не велено!» Хасбулат выкрикнул что-то на все том же цокающем языке. И тогда произошло нечто уж вовсе непостижимое: откуда-то из тьмы явился *еще один* Хасбулат. Только как будто чуть помассивней. Он неторопливо подошел к Касыму, поднял его рывком на ноги. Касым перевел дыхание. Это надо кончать. Кем он ни был, этот чертов двойник, но хозяин здесь только он, и если кто-то в этом усомнился, он найдет способ эти сомнения развеять. Он уже раскрыл рот, чтобы все это высказать, но глаза того человека вдруг стали похожи на две ртутные градины, он издал утробный, тяжелый выдох, будто поднял непосильную тяжесть, и Касым почувствовал вдруг нестерпимо резкую боль в боку. Он согнулся, точно пытаюсь как-то уговорить эту боль, а незнакомец неторопливо и

деловито выдернул нечто холодное из его сочно всхлипнувшей плоти и ударил его вновь. Боль была еще более сильная, но, по счастью, краткая и последняя...

Как ни странно, я был спокоен. Но как бы наполовину. Одна моя часть была спокойна как никогда. Она, эта часть, понимала, все будет исполнено так, как я приказал. Что-то в облике стражника, похожего на глиняного муравья, подсказало, что все будет именно так. Посему я неторопливо и беззаботно прохаживался по залу, изучал его с равнодушным любопытством и без особого волнения ожидал возвращения стражника. Эта моя половина понимала, что все было сделано правильно и по справедливости, ибо ежели Всевышний даровал человеку жизнь, он же и обязал его беречь этот высший дар, насколько это возможно. Может ли кто-нибудь обвинить меня в том, что я предпочел жить, а не сдохнуть, как отыгравшая свое зверушка. Но была другая, скрытая во тьме половина. И она глуха к этим доводам. И поэтому я боялся к ней прислушаться. Ибо отлично понимал, что она ему скажет. Но она во тьме, эта половина, заперта надежно и надолго.

— Все сделал, как я сказал, Хасбулат? — Ахмед улыбнулся широко и приветливо, стараясь не замечать цепкий, изучающий взгляд стражника.

— Да, великий хан.

— Ты тяжело дышишь. Кровь на пальце. Пришлось повозиться?

— О, пустяки, великий хан.

— Он... сказал что-нибудь?

— Что он скажет, — Хасбулат усмехнулся, помолчал, несколько раз повертел вокруг пальца шелковый шнурок. — Рта открыть не успел.

— Так ничего и не успел сказать?

— Да почти. Что-то промычал, да я не расслышал.

— М-да. Ты сноровист, — произнес Ахмед с невольным содроганием. Отстранился и закрыл на мгновение глаза. — А теперь его тело нужно предать земле. Сделай это сам, найди надежных людей, каким сам доверяешь. Жизнь человека длинна настолько, насколько короток его язык. Ступай... погоди! Я хочу взглянуть на него. Прямо сейчас.

— Надеюсь, великий хан не усомнился...

— Нет, не усомнился.

— В таком случае....

— Хасбулат. Ты мне показался неглупым. Не разочаровывай меня. Я сказал: хочу взглянуть. Тебе этого не достаточно?

— Прошу прощения, великий хан. Я лишь хотел...

— Прошу, но лишь на первый раз, учитывая твою сегодняшнюю *небольшую* услугу. Идем.

Прихотливые изгибы коридоров. Ахмед с удивлением понял, что успел запомнить их намертво, и, пожалуй, теперь уж сам выведет кого угодно и куда угодно. Он словно прокручивает жизнь назад. Ах, если б возможно было вывести самого себя отсюда на свет. На тот, яркий, пыльный и просторный, крикливый и шумный...

Странно, но Хасбулат, кажется, волнуется куда больше, чем он. Похоже, он чересчур суетлив и настырен для стоящего помощника.

Вот и пришли. Хасбулат предусмотрительно отстал. Столь же предусмотрительно отошел в сторону человек, до того недвижно стоявший возле двух неподвижных тел.

Ахмед подошел к одному из них, одетому в драный кафтан. В тот, что еще недавно принадлежал ему. Он даже ощутил его запах, сперва зажмурился, затем медленно раскрыл глаза. Поначалу ничего особенного не было. Лицо мертвеца. Шея свернута набок, пальцы скрючены и растопырены, словно искали опоры в воздухе. Разве не видел он мертвых? Можно ль человека, побывавшего на двух войнах, удивить мертвецом?

И лишь взглядевшись в зрачки, как в два заледеневших омота, он ощутил тоскливый, мертвящий ужас: ему показалось, что это мертвое, исковерканное лицо — *его* лицо, он увидел мертвым не кого-нибудь, а себя самого. И еще он понял, что именно *это* было тем пронзившим его насквозь утренним кошмаром, именно это явилось к нему в туманных клубах сна, именно это он неосознанно и тщетно пытался вспомнить весь нынешний день. Именно это будет терзать его сны еще очень долго...

— Что-то не так? — голос Хасбулата заставил его вздрогнуть и отпрянуть в сторону.

— Все в порядке, — он сказал и сам поразился, как быстро сумел взять себя в руки. — Все как должно. Теперь, однако, распорядись, чтобы оба тела обрели покой. Ты ведь сам разумеешь, что это нужно сделать быстро и совершенно незаметно. И еще вот что, — он отвел Хасбулата чуть в сторону. — Одежду этого бродяги принесешь мне. И так, чтобы никто не видел и не знал. Даже твой любознательный брат. Понял?

— Понял. Думаю, вам следует вернуться к себе, великий хан.

— Ты откуда родом, Хасбулат?

Хасбулат шел за ним до самого тронного зала и вошел вместе с ним, даже не дождавшись приглашения. Если это не остановить сейчас, это может перерасти в навязчивую проблему...

— Я из Дербента. Мой отец...

— Ты славный слуга. Горцы храбры и честолюбивы. Запомни, честолюбие умных ведет к славе, а глупых — в могилу. Ты, похоже, неглуп. Не совершай же ничего, чтобы я подумал иначе. Кстати, начальник дворцовой стражи, уже староват, не правда ли?

— Он моих лет.

— Неважно. Считай, что тебе повезло, а ему — нет. Когда бранные тела Ахмеда из города Булгар и тюремщика упокоятся в земле, и ты решишь все сопутствующие вопросы, можешь считать себя начальником стражи. Ты ведь справишься?

— Думаю, справлюсь. Я, правда, ничему не учился, великий хан. Как-то не довелось.

— Это не так плохо, Хасбулат. Знать мало порой лучше, чем знать много. Знающий много рискует впасть в иллюзию всеведения. И часто ломает шею. Почему? Ему начинает казаться, что от него что-то зависит. А это — самое опасное заблуждение, в которое может впасть смертный. Знающий же мало трезвей смотрит на жизнь. Не умеющий плавать не утонет. Лучше пропустить мимо ушей сотню мудрых мыслей, чем узнать то, чего тебе знать не положено. Однако! — Ахмед вдруг понизил голос до шепота, — однако ежели уж ты узнал это, будь предельно осторожен и разумен, ибо даже лишним можно распорядиться с умом. Если, конечно, он есть, этот ум. Хорошо ли ты меня понял, Хасбулат?

— Никого еще не понимал так же хорошо.

— Надеюсь, что так. Теперь ступай.

— Только один вопрос, великий хан. Мой брат, Хамзат. Он очень помог мне. И вам. Без него я бы не справился. Могу ли я надеяться, что его услуга будет вознаграждена?

— Можешь, Хасбулат.

— Но хотелось бы знать...

— Ступай, Хасбулат. Похоже, ты все-таки не до конца меня понял. У хана не может быть сообщников. У хана есть слуги или враги. Услуги, которые ты оказываешь властителю, могут сделать богаче, но не отменяют обязанности повиноваться и не задавать вопросов. Поверь, твоя услуга оценена *по справедливости*. Но не переоценивай ее, ибо рискуешь обесценить. У нас все впереди. Ступай же. А надеяться — можешь.

Ну вот он снова один. О, краткий миг уединения! Все, что нужно теперь, — это измыслить, как просуществовать еще день в образе великого хана. Ну может быть, два. Больше ему не выдержать. После чего счастливо исчезнуть навсегда из этих окаянных лабиринтов. Из золотой мышеловки бежать много трудней, чем из обычной. Страшная, однако, вещь, богатство: трудно его добыть, а избавиться — того трудней...

Ахмед вновь прошелся по залу, уже без всякого интереса, почти привычно оглядывая его роскошное убранство. Кто бы мог подумать, что очарование роскоши столь мимолетно. В какой-то миг внимание его вновь привлекло зеркало. Огромное, с необычным, синеватым отливом зеркало румийской работы, в оправе сандалового дерева. Он слышал о таких. Оно будто еле зримо клубится изнутри, и человеку начинает казаться, будто зрит он в зеркале не отражение, а живого двойника. Поначалу и впрямь едва не отшатнулся: оттуда на него вновь в упор глянул самолично хан Бирдебек. И все та же изломанная, злая усмешка. Ахмед подошел вплотную, его вдруг начало трясти от безумного, раздражающего изнутри смеха.

— Ну вот, великий хан, — сказал он, с усилием загнав смех внутрь. Лишь дергающаяся гримаса, как круги на воде. — Неожиданно, правда? Да я и сам не ждал. Но ведь это ты самолично молвил: побудь один день ханом. Вот я и побыл, и поступил так, как должно поступить хану. Разве властители

поступают иначе? Или ты решил, что я должен, смиренно бляя, поплестись под нож? Отчего? Неужто тебе даже в голову не пришла мысль, что я могу воспротивиться? Что ж мешало ей возникнуть, этой мысли? Спесь? Чернь слишком тупа и труслива, чтобы посметь покушаться на великого хана! Или ты просто глуп? Ты бездумно уверовал, что вот этот перстень сделает тебя неуязвимым? Кусочек серебра, кому бы он ни принадлежал когда-то, в силах дать то, чего не дает даже Всевышний? Ты ведь даже не солгал, что сохранишь мне жизнь. А я бы ведь, возможно, и поверил — блаженна вера в царскую милость. Однако так или иначе тиран и отцеубийца Бирдебек покинул сей мир, и некому его оплакать. Впрочем, нет, Бирдебек жив, хвала Аллаху. В лучший мир отлетела душа Ахмеда, смутьяна и виршеплета, мир праху его! Воистину, никто не знает, с чем он явлен в этот мир, даже умирая, человек не ведает, кем он на самом деле был. Человек есть тень, отражение в зрачке ближнего. Как отразился, таков и есть. Если окружающие зовут меня Бирдебек, стало быть, я и есть Бирдебек.

Кади. Пока это самый опасный человек для Ахмеда-самозванца. Есть люди, глядя на которых не веришь, что они когда-то были детьми. Кажется, так и родился с букетом всех возможных пороков в глазах и на челе. Вошел привычно, без стука, будто шагнул из страшной детской сказки. Кажется, он изрядно встревожен. Торопливо оглядывает зал, словно ищет кого-то.

— Что такое? — раздраженно выкрикнул Ахмед, да так, что старик пораженно замер. — Я же ясно сказал: никого не желаю видеть.

— Я бы ни за что не осмелился...

— Однако же осмелился. Говори, с чем пришел. И вон отсюда.

— Великий хан, бродяга Ахмед, ну тот самый, — пропал. В зиндане его нет, во дворце тоже. Тюремный надзиратель тоже пропал.

— Опять этот Ахмед! Положительно, у нас нет более забот, кроме этой. Тебя тревожит, где он? Изволь, отвечу: он в самом деле пропал. Пропал и более не появится. Хочешь знать, куда? Узнаешь. Если ты еще раз произнесешь это имя вслух где бы то ни было, ты тотчас отправишься за ним, по горячим следам. Хорошо ли ты меня понял?

— О да, великий хан, — похоже, старик напуган как никогда прежде. И потрясен.

— Вот и все о нем. Теперь вот что. Ты ведь помнишь, о чем мы толковали... не так давно? Напомни мне, ежели память не отшибло.

— О чем, великий хан? — настороженно спрашивает кади. Лицо его, разом сморщившись, напоминает печеное яблоко.

— Ну вот, я так и знал. Мудрость, говорят, это ум, преумноженный годами. А ежели ума не было, то годы множат глупость и пороки. Сдается мне, тебе самое время на покой. На долгий и глубокий.

— Как же, я помню, великий хан. Мы говорили о вашей родне.

— О родне. Ну разумеется! Приятный разговор. И что ты можешь добавить к тому, что сказал? Жизнь не стоит на месте, как известно.

— Вы правы, великий хан, — кади успокоился, похоже, ощущение своей востребованности придало ему уверенности. — В родне беспокойно. В последние дни заметнее. Разговоры ходят темные.

— Яснее говори.

— Говорят... Говорят, ты лишил жизни своего отца ради того, чтобы поскорее занять престол.

Сказал и испуганно замолк, даже прикрыл рот сухонькой ладонью. Однако Ахмед к его удивлению лишь безучастно кивнул.

— И я об этом слышал. Так кто именно говорит?

— Да все говорят. То есть, почти. Более других, — кади испуганно огляделся, — ваш двоюродный брат Танышбек.

— Понятно. Хочет стать ханом. Пыль трона прожгла ему печень. Ай-яй-яй, вредно быть родней царствующих особ: вблизи трона снятся беспокойные сны. Танышбек хочет половить солнечный зайчик, именуемый властью? Скажи, кади, разве не прах мы все под стопами Всевышнего? Может ли быть одна горстка праха благородней другой? Нет? Раз так, не является ли властолюбие тяжким грехом, когда смертный замахивается на то, что может принадлежать лишь Аллаху? Не равносильно ли подъем ввысь низвержению в бездну?

Заметив, однако, что кади смотрит на него с нескрываемым удивлением, Ахмед раздраженно замолк.

— А ну скажи, кади, только истинную правду. Ты ведь тоже считаешь, что это я лишил жизни своего отца, Джанибек хана?

— Сохрани Аллах, мой повелитель!

— Вот именно — сохрани тебя от этого Аллах. Однако если больше нечего сказать, поди вон. И завтра не приходи сообщать с таинственным видом то, о чем знает даже дворцовый водовоз.

Кади вновь ссутулился и, шаркая, побрел к выходу. У двери остановился и перед тем, как уйти, быстро, воровато обернулся на Ахмеда.

— Родня, — Ахмед вновь обращается к отражению в зеркале. — Хочешь, не хочешь, а придется разбираться с твоим окаянным выводком, Бирдебек. Нет надежней союзника, и нет опасней врага, чем собственная родня. А она, как ни говори, теперь и моя. Родная кровь лишь тогда греет жилы, когда течет в нужном направлении. Не знаю, убил ты своего отца, или нет. Родня считает, что убил, и мне ее не переубедить. Однако... дело идет к ночи, а ночь, как ни говори, время для любви. Я ведь теперь женат как-никак. О Бирдебек, ты запретил мне переступать порог опочивальни. Я бы и не посмел, если б ты был жив. Но тебя нет, а я есть. Не я начал эту игру, но продолжать ее — мне. Рано или поздно это пришлось бы сделать. Ничто так не вызывает подозрение, как мужчина, пренебрегающий молодою женой. Ах, жаль, нельзя перенести это зеркало в опочивальню. Думаю, тебе было бы интересно глянуть оттуда на то, что будет нынче ночью, великий хан.

Он усмехнулся и вздрогнул, ибо ему показалось вдруг, что его отражение в зеркале глянуло на него с непередаваемой злобой.

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ

...Ведь главное в любви — чтобы реальность
Не оскорбила бы игру воображенья...

Ахмед Булгари

Порой я считаю, что нет на свете более эгоистического чувства, чем любовь. Самопожертвование в любви является мнимым, ибо есть не что иное, как жертвование одним соблазном во имя другого, более сильного. Но это было потом. А вначале было нечто вроде легкой досады. Да, поначалу Ханике не показалась мне красивой. Даже привлекательной не показалась. Юное, пугливое создание. Страх въелся в нее, как степная пыль в кожу пастуха, и ничто уже не вытравит его. Юная девочка наверняка не слишком знатного происхождения. Маленькая жертва, отданная на заклятие во имя благополучия рода. Сколько вас таких, проданных, как маленькая, дорогая безделушка? У таких все мысли и помыслы бывают начертаны на лице, причем единым росчерком. Служанка, что расчесывала ее волосы, когда я вошел, мне понравилась тогда куда более. Китайка, кажется...

— Я не ждала тебя сегодня.

Так сказала Ханике, сидя спиной к Ахмеду, обращаясь к его мглистому отражению в зеркале. Служанка с мраморным личиком, слышав это, поспешно заторопилась уходить, грациозно пятясь, кланяясь и прижимая кончики пальцев к порозовевшему лбу.

— Отчего же, сладчайшая? Ты нездорова? И потом, ты теперь и впредь будешь говорить со мной, не поворачивая головы? Имей в виду, в зеркале — не я. Там — другой.

Ханике тотчас вскакивает, не сводя с Ахмеда округлившихся от внезапного страха глаз.

— Я... прости, господин мой... просто задумалась... Но ты ведь сам велел передать, чтобы я тебя не ждала.

— И верно, — Ахмед рассмеялся и покачал головой. — Но знаешь, это было давно. Кое-что переменилось за это время. Кое-что... Считай, что того, кто тебе это передал, уже нет.

— Ты как-то странно говоришь. Я не очень понимаю тебя.

— Мир вообще устроен странно. Ты еще сможешь в этом убедиться. Однако ты не рада меня видеть, похоже?

— Мой господин, я всегда рада тебя видеть! — Ханике вновь испуганно съезжилась. — Я чем-то прогневила тебя?

— Надеюсь, что нет.

А вот теперь — самое трудное, Ахмед из города Булгар. Можно обмануть стражника, бывалую ищейку, можно обмануть любого, самого тертого пройдоху. Но женщину в постели обмануть можно только тогда, когда она сама возжелает быть обманутой. Слыхивал про некую древнюю царицу, ради ночи с которой мужчины платили жизнями, и никто потом в этом не раскаивался, ибо считал плату справедливой. Мне всегда было трудно это понять, а сейчас — тем более. Жизнь, хоть и ограничена, но слишком беспредельна и многогранна, чтобы жертвовать ею во имя чего бы то ни было. И все же...

— Поди сюда, Ханике! Нет, не так! Чуть медленней. Если бы ты только знала, как давно я... Постой вот так. Теперьними вот это. Сними, сними. Вообрази, я никогда прежде не замечал, какая у тебя прекрасная кожа. Я был слеп, любимая, слеп, как червь.... Подними руки... О, Аллах, надо же было прожить столько лет с тобой, чтобы увидеть как прекрасны твои волосы. Теперьними... Да, ты

поняла меня! Клянусь, я никогда прежде... Ради того, чтобы побыть с тобой, стоило пройти через все то, что я прошел. Знаешь, что такое любовь, Ханике? Это когда к голосу плоти примешивается властный голос судьбы. Это я сказал в юности. Оказывается, я был не так уж глуп... Но мы не будем торопиться, Ханике. Мы ведь не воры и не скоты, чтобы делать все это грубо и второпях. Мы принадлежим друг другу и будем принадлежать... Нет, я сам...

— Отчего молчишь, Ханике?

Ночь закончилась, день благополучно начался, и почему было бы не начать его с этой фразы. Ахмед приподнялся на локтях, оглядывая ее голую спину. Спал он без снов, и это было прекрасно. Однако Ханике промолчала, Ахмед нахмурился и придвинулся ближе.

— Знаешь, любимая, я привык, что на мои вопросы отвечают! Тем более, моя жена.

Он вкрадчиво, как кошка, положил руку на ее плечо, желая привлечь к себе, но Ханике со сдавленным криком отшатнулась в сторону. Ахмед некоторое время молчал, разглядывая ее исподлобья.

— Однако тебе придется объяснить, что с тобой происходит, хочешь ты того или не хочешь.

— Не подходи ко мне! — в ужасе вскрикнула Ханике. — Ты... Ты не Бирдебек!

Так. Ну что ж, было бы странно, если б было иначе. Это, однако, лучше, чем тупое молчание и лицедейство. Пока судьба не отворачивается от тебя, Ахмед, и нельзя допускать этого.

Ахмед неторопливо поднялся и коротким толчком закрыл створку окна. Стало темней и как будто немного спокойнее.

— Добрая новость с утра. Я — не Бирдебек. Хорошо, кто я по-твоему?

Он говорил нарочито громко, показывая, что никого не боится. Однако Ханике лишь тряслась в шумных рыданиях, уткнувшись лицом в простыню. Вот это уже плохо. Этого допускать нельзя. Ручеек, вышедший из берегов, может натворить больше бед, чем океан.

— Я задал вопрос. Отвечать!

— Не знаю! — захлебываясь в плаче, кричит Ханике. — Я не знаю тебя! Не подходи ко мне, я буду кричать!

Это уже лучше. Дураку ясно, что кричать она не будет.

— Прекрасно! — Ахмед вскочил на ноги. — Так кричи. Громче кричи! Ори во все горло!!! Распахни двери и окна! Стража! Люди!!! Он не Бирдебек! Он не мой муж! Я не знаю его! Я спала неведомо с кем!..

Не выдержав его тяжелого, пристального взгляда, Ханике замолкла, будто во внезапном параличе. И тогда Ахмед подошел ближе и взял ее за руку. Спокойно и властно.

— Попробуй догадаться, что с тобой тогда будет. Могу помочь, ежели ты разучилась думать. Тебя признают умалишенной, а поскольку у хана не может быть душевнобольных жен, тебя упрячут под каким-нибудь предлогом с глаз долой и приставят охрану. И это в лучшем случае, детка. — Ахмед бережно обнял ее, привлек к себе и горячо зашептал на ухо. — А в худшем, если тебе в самом деле удастся убедить людей, что я будто бы не Бирдебек, тебя обезглавят как шлюху, осквернившую царское ложе. Плохо придется и твоей родне. Так что выбирай, что тебе больше по душе.

— Кто ты? — Ханике, всхлипывая, непроизвольно прижимается к нему.

— Уже неплохо. Разумный вопрос требует правдивого ответа. Слушай же его, слушай внимательно и спокойно, — Ахмед вновь понизил голос до шепота. — Я — Бирдебек! Ты хорошо меня поняла?

Ханике молча кивает. Отворачивает лицо, однако Ахмед хватает ее за подбородок и рывком разворачивает лицом к себе.

— Не слышу!

— Я поняла, мой повелитель. — И тут же жалобно: — пусти, больно!

— Надеюсь!

Ахмед с сожалением отпустил ее, направился к выходу. *Жаль девочку. Можно вообразить, что творится сейчас в этой маленькой душе. Может быть, тебе еще доведется понять, что поступить иначе было бы гибелью для нас обоих. Признаюсь, будет немного жаль расставаться с тобой, Ханике. Но мы ведь не станем думать, что они сделают с тобой после этого? Угрызения совести, особенно когда они бесплодны, — путь к безумию. Да и ты разве уронила бы слезу, если б сегодня утром палач снес голову некоему Ахмеду из города Булгар, даже если б узнала об этом?*

— Совсем забыл спросить, — Ахмед замер у двери и неторопливо обернулся. — Хорошо ли тебе было со мной сегодня?

— Да! — неожиданно громко и с вызовом отвечает Ханике.

— Вот как? И лучше, чем... Чем раньше?

— Лучше, — Ханике улыбается. — Гораздо лучше.

— А будет еще лучше. Я ведь только сейчас понял, что такое искусство любви. Это не опыт и не знание. Даже не интуиция. Это дар свыше, ему не научишь. Это самое большее, что может дать женщине Аллах. Ну вот, на том и остановимся. И не задавай лишних вопросов, Ханике, это лучший способ сохранить красоту и юность. Не старайся опередить время, это еще никому не удавалось.

Ахмед вышел. Ханике некоторое время продолжала улыбаться, затем упала ничком на ложе и затряслась в рыданиях.

РОДНЯ

Единственный способ прикрыть свою глупость —
отрезать язык и глаза завязать.

Ахмед Булгари

Танышбек был мал ростом, коренаст и кряжист до уродливости. Волосы на голове у него росли клочками, как трава на болоте. Его побаивались даже близкие люди — за злобную подозрительность, которую он даже не силился скрыть, за не сходящую с лица гадливую полуулыбку, за которой не было ничего, кроме мрака, за утробную, животную жестокость, которой было густо пропитано все его существо.

Тяжелая, неповоротливая походка, сиплый голос, частое, шумное дыхание ртом производили впечатление какой-то тяжелой, мучительной хвори, однако Танышбек был здоров и силен, как буйвол, мог молниеносно вскочить в седло, отлично владел мечом и арканом. На войне, однако, особо себя не проявил: обладая рассудком грубым, прямолинейным, но убежденный в своей хитрости и изворотливости, он стремился, расставить врагу некие хитроумные ловушки, которые часто заканчивались плачевно.

Говорит Танышбек столь же тяжеловесно и неуклюже, как передвигается. Всякое слово будто рождается в муках. Порой, не договорив, он бросает фразу на полуслове, словно устает, и надолго умолкает, силясь, однако, придать молчанию своему некое скрытое значение. Иногда, впрочем, на него нападают приступы безудержной говорливости, мутной и бессвязной. Речь его становится еще более топорной и непроходимой. Заканчиваются они неизменными вспышками тоскливой злобы: ему кажется, что его плохо слушают и даже как-то незаметно издеваются, передразнивают.

В то утро Танышбек сидел в полутемной, заросшей виноградом беседке дворцового сада. День был пасмурный, стоящий полмесяца зной за ночь сменился морозящей прохладой. Танышбек зябко ежился в тонком халате, нетерпеливо дожидаясь окончания разговора. Кади стоял напротив него, и он уже мало напоминал того сутулого, боязливого старца из тронного зала. И не так уж стар как будто. Лишь голос тих и намеренно нетороплив и монотонен, что немало раздражает Танышбека.

— Повторяю тебе еще раз, Танышбек, я говорил с ним вчера поздно вечером. Мне показалось, он...

— Кади, я устал слушать, что тебе показалось!

— Выслушай меня, это важно, — кади повышает голос. — Недавно в городе был схвачен человек по имени Ахмед. Бродяга и шарлатан.

— Что мне за дело до какого-то бродяги?

— Дай договорить, еще раз прошу. Суть даже не в том, что этот бродяга дерзкий смутьян, а в том, что как две капли воды похож на нашего хана.

Кади замолк многозначительно вздев палец, а Танышбек уже готовый его вновь перебить нетерпеливым жестом, пораженно замолк.

— Не далее как вчера я доложил об этом хану. Он велел привести его. Они долго говорили. Непонятно долго. Потом бродяжку увели и... он пропал бесследно. Понимаешь — *бесследно!* Я тюрьму Салкынташ знаю как свои пять пальцев. Да такого отродясь не было, чтобы там пропадал человек, а я об этом не знал. На городских улицах — сколько угодно. Даже в царском дворце человек может вдруг пропасть. В тюрьме — нет! В тюрьме каждый живет ровно столько, сколько ему отпущено мной... И еще пропал старший тюремщик Касым.

— И что ты думаешь об этом?

— Не знаю. Или Бирдебек что-то затевает, и ему понадобился маскарад с двойником. Так бывает: боится за себя и готовит двойника, чтоб себя обезопасить. Или... Я даже не знаю, как и сказать...

— Договаривай, коли начал!

— Или пропал сам великий хан...

— Что ты хочешь этим сказать?

— ...а на трон воссел безродный бродяга. Вот что я хочу сказать!

— Ты... Ты соображаешь, что несешь, старик?! — ошеломленно перебил его Танышбек.

— Вполне. Когда я говорил с ханом, мне показалось, он, как будто, не совсем похож на себя. Вернее, он очень хочет походить на хана. Очень. И ему это удается, но порой он увлекается и говорит то, что Бирдебек никогда бы не сказал. Бирдебек неглуп, но груб и прямолинеен. Этот изощренней.

— Чернь не может походить на хана! — высокомерно и безапелляционно отрубил Танышбек.

— Это заблуждение! Да и откуда ж тебе знать, какова чернь! Не суди о том, чего не видел.

— Погоди! А ты не заметил, был ли на нем...

— Перстень Бату? — старик усмехнулся желтым, бескровным ртом. — Разумеется, заметил. Да, был.

— Ну тогда все, что ты тут несешь, — вздор, — Танышбек даже вздохнул облегченно. — Бирдебек ни за что не снял бы перстень.

— Не спеши, — кади вновь презрительно усмехнулся. — Все, что может быть надето одним, может быть снято другим. Мой тебе совет — как можно реже говори: этого не может быть.

— Я не нуждаюсь в твоих советах. Знаешь, что я сделаю? Пойду к хану. Мои глаза зорче твоих, меня ему не одурачить.

— Еще раз скажу: не спеши. Ты не на охоте, и твоя зоркость тут гроша не стоит. Для того, чтоб узреть то, что скрыто, надобны не столь глаза, сколь мозги. И потом человеку свойственно принимать обличье своей судьбы. Он — как жидкость. В какой кувшин ее нальют, ту форму он и примет. Бродяга Ахмед, назвавшийся Бирдебекком, стал Бирдебекком. Кувшин должно разбить независимо от того, какое содержимое его заполняет.

— Затеяливо выражаешься, — Танышбек поморщился. — А я все же пойду к хану, что бы ты тут ни плел.

— Не торопись. Хан тешится с женой. А вот с ней я позже переговорю. Женщина живет чувствами, а чувство зорче разума. Слепец не оступится. А уж я уговорю Ханике сказать правду, даже если придется ее немного испугать. Люди, живущие чувствами, лгут чаще, но безыскусней и очевидней. Или желаешь поговорить с ней сам?

— Увольте. Я, по правде, небольшой охотник разговаривать с женщинами. Я даже в постель их затаскиваю молча. Поговори сам. А когда завершим дело, Ханике будет взбивать подушки в моей спальне.

— ...Вы меня напугали, отец мой! Что вам угодно?

Кади вошел неслышно. По обыкновению. Столь же неслышно он подошел к ней и положил сухую, мелко вздрагивающую ладонь ей на плечо. Горе тому, кто окажется в этих цепких муравьиных лапках. Ханике вскрикнула и отпрянула.

— Ты стала беспокойной, Ханике, — голос кади ровен и нетороплив.

— Но... дверь была заперта, как вы вошли?

— Ты ошиблась, дитя мое, дверь не была заперта.

Ханике хотела было возразить, но кади, улыбнувшись жирной, вздрагивающей улыбкой, погладил ее по спине длинным сухим пальцем, словно ставя некий тайный знак.

— М-м. Да хотя бы и была. Разве это важно?

— Я бы сказала, важно, — и тотчас с испуганным недоумением вновь отстранилась. — Здоровы ли вы, святой отец?

— Хвала Аллаху... Дитя мое, я бы желал поговорить с тобой. Если ты не против, конечно...

Ханике хотела сказать, что она не то чтобы против, но считает, что время как бы не вполне подходящее, да и дверь по ее убеждению была заперта, да и много что другое, однако кади, не слушая ее, продолжил.

— Скажи, Ханике, — кади, с бесцеремонной вольготностью развалился на низенькой, будто для него сделанной резной кушетке. — Ты ведь не станешь возражать, что благополучие государства и благополучие его владыки неразделимы... Я не слышу ответа?

— Право, не знаю, что и ответить. Я как-то не задумывалась об этом.

— Ты уже ответила. Я вижу, и ты озабочена так же, как и я. Это обнадеживает. Ну так скажи, дитя мое, не таись, облегчи душу. Вот увидишь, все не так страшно. Только подумай, прежде чем вновь начать прикидываться дурочкой, — лицо кади исказила косая гримаса. — Я-то знаю, что ты не так простодушна, как хотела бы выглядеть. А?! Любое качество, переходящее в избыток, становится грехом. В том числе и простодушие. Остерегись совершить то, о чем придется пожалеть.

— Я, по правде, не очень понимаю вас. Мне неприятно, что вы со мной так говорите.

— О, дитя мое! Боюсь, ты еще не ведаешь, **что** такое неприятно.

(Ах, бедная девочка. Маленькая виноградная улитка. Твой хрупкий домик спасет тебя разве что от мелкой букашки, и то едва ли. Спроси меня и я расскажу, как легко и неслышно крошатся эти домики,

бесстыдно являя изнеженную, белесую плоть клювам плотоядных тварей.)

— Прошу вас, оставьте меня. Я в самом деле не понимаю, чего вы от меня хотите.

— Чего хочу? Хочу предостеречь тебя. Ты ведь годишься мне во внучки. Да я и отношусь к тебе, как к внучке. Я ведь, бывало, держал тебя на руках еще младенцем. Помню как сейчас. Такая была вся пухленькая, розовенькая, особенно — вот здесь. Хе-хе. Но ты выросла, стала женой законного владыки. Законного, Ханике! Стать усладой, опорой и утешением величайшего из живущих ныне властителей — неслыханное счастье. Оказалась ли ты достойной дара Аллаха? Не приравняла ли ты его к золоченой безделушке? Помни, на вершине древа желаний растут ядовитые плоды! Подумай о близких, что станет с ними, ежели с тобой, храни тебя Аллах, что-нибудь приключится. Поверь, вечный страх — худшее из наказаний. Откройся, и страх выйдет из тебя, как...

(Э, нет, святой отец. Не говори мне о страхе. Расскажи об этой овце, что отбилась ночью в горах от стада, и не слышит ничего, кроме ветра и волчьего воя. Что ты можешь в этом смыслить, жирный сластолюбец, паук-птицеед?..)

— Говорите же, что вам нужно! Я устала.

— Ну так слушай. Не заметила ли ты, что муж твой стал... скажем так, немного другими. Ведь кто еще узрит, как не любящая жена? Ошибиться может друг, ошибиться могу и я, хоть и не припомню я, чтоб ошибался... Но жена, чье лоно ночью согревается огнем его чресл...

— Опомнитесь, что вы такое говорите! — вскакивает на ноги, уронив на пол рассыпавшиеся четки.

— Прошу меня простить, дитя мое, — кади опережает ее, с неожиданным проворством подхватывает четки, прижимает их к груди. — Но мое волнение простительно. Итак, вынужден повторить вопрос: не заметила ли ты перемены в муже?

— Вы правы, мудрейший из судей. Он переменялся за последние дни. Очень переменялся.

Она говорит задумчиво, но в голове нет ничего, кроме холодной ярости. Эта ярость пугает ее и приводит в трудно сдерживаемый восторг.

— Ну вот видишь, — кади подходит ближе, — что может быть благотворней искренности? Попробую тебе помочь, это ведь мой долг. Скажи, а как давно ты заметила перемену?

— Как давно? Наверное... с прошлой осени.

(Что скажешь на это, проклятая жаба?)

— Вот как? — кади явно разочарован. (*Еще бы ты не был разочарован, сукин сын!*) — А мне казалось...

— Ну может быть, чуточку раньше. Он стал раздражительным. Беда просто! О Аллах, я не переживу, если он меня разлюбил! Говорит, например, что я чрезмерно болтлива. Посудите сами, мудрейший, справедливо ли это? Нет, конечно, я поговорить люблю. А кто не любит? Разве вы не любите? Но вас никто не называет болтливым! И тем более глупым, — Ханике вдруг расхохоталась так громко, что кади встревоженно покосился на дверь. — Даже наоборот. Вас именуют мудрейшим, Аллах свидетель, это воистину так. А вот меня — можно. Разве не обидно? Говорит, чтобы я не смела распускать язык, а всякого, кто будет приставать с глупыми расспросами, сперва гнать от себя, а ежели они не угомонятся, пожаловаться ему, мужу то есть, а уж он тогда якобы своими руками отрежет любопытному его длинный нос. Мыслимо ли говорить такое! За простые, безобидные разговоры — отрезать нос! Это ведь страшно подумать, мудрейший, **что** он может отрезать, коли узнает, что кто-то, помимо него, может в любое время отпереть мою дверь, когда она **заперта**, да и войти. А узнать он в самом деле может. Я ведь действительно немного болтлива. Хотя, конечно, не так, как ему это представляется!

— Жаль, не получилось разговора, дитя мое.

— Отчего же не получилось, святой отец, — Ханике вдруг выпрямилась и глянула на кади расширившимися от ненависти глазами. — Вполне получился разговор. Вы ведь меня поняли, мудрейший, я это вижу по вашим глазам. Посему, дабы не приключилась какая беда, ступайте-ка прочь. И пусть вам, святой отец, даже в кошмарном сне не приснится, что вы еще раз переступили порог этой комнаты...

Познавший большое чудо не удивится малому. Обреченный на казнь узник, ставший вследствие каприза судьбы венценосным властителем, не станет удивляться сопутствовавшим переменам. Будто только и делал, что восседал на шелковых подушках, ел на золоте и совокуплялся на кружевах. Будто долго спал, видел самого себя во сне бродягой и висельником, и теперь пробудился. Чудо было не только в избавлении от смерти, а в том еще, что жизнь с определенного момента приобрела совершенно невиданную остроту, которая приводила в восторг: с одной стороны — сознание того, что лишь животное чутье и интуиция могут уберечь от смертельно неверного шага. С другой — то, что я по собственному усмотрению мог оставить эту опасную игру. Наверное, истинная власть в

том и состоит, что ты властен над самим собой, а уж потом — над другими...

Когда после завтрака привратник доложил, что встречи с ним почтительно дожидается господин Танышбек, Ахмед был вполне спокоен, ибо давно уже понял, как именно надлежит держать себя со своим родственником. И когда тот вошел, Ахмед даже удивился, он выглядел именно так, как он себе представлял его, и вел себя в точности так же.

Танышбек вошел, отпихнув в сторону привратника и лишь у самого трона, спохватившись, приостановился, растянул лицо в выпуклой гримасе, что должна была изображать приветливую улыбку.

— Ну вот наконец и ты, Танышбек! — громко произнес Ахмед, — не в силах передать, как счастлив я видеть тебя. Да и ты, похоже, рад меня видеть, Танышбек. Ты просто пожираешь меня глазами, — засмеялся он нарочито громко, — не съешь, оставь другим родственникам!

— О да! То есть... Я, конечно... — Танышбек пытается ему вторить, угодить в тон, у него это не получается, он начинает раздражаться. — Ну да, я счастлив видеть тебя, потому что... Возможно ли иначе?!

— Отлично сказано. Конечно, невозможно. Как приятно с утра слышать благую весть: моя родня любит меня!.. Однако хотелось бы все же знать, привело ли тебя ко мне что-либо еще, кроме восторга?

— Ну конечно, — Танышбек перевел наконец дух. — Я хотел сказать, что вся моя родня...

— Наша. Наша родня, Танышбек! — с улыбкой перебил его Ахмед, не сводя с него ликующего взгляда.

— Ну да, конечно! Наша. Так вот, вся *наша* родня очень бы желала встретиться с тобой. Есть о чем поговорить.

— О, я счастлив! — Ахмед просто зажмурился от счастья. — Надеюсь, это видно по моему лицу? А поговорить оно всегда есть о чем. Однако если и они будут невразумительно мычать и переглядываться, боюсь, разговора не выйдет. Так что вы уж подготовьтесь к встрече.

Танышбек раскатисто смеется, откинув голову.

— Да уж мы подготовимся.

— Да и я тоже подготовлюсь, — вновь вторит ему Ахмед, смеясь еще громче.

— Итак, сегодня вечером, великий хан?..

Что оставалось сказать? Милостиво кивнуть. Как беспечный идиот или как хитроумный и обо всем осведомленный правитель. Что было у меня? Ничего. Да, Танышбек самонадеян и глуп. Он полагает, что засунуть нож за голенище — это прямо-таки изощренное коварство. Не нужно быть прорицателем, чтобы понять, что именно сегодня бирдебекова родня намеревается зарезать меня, как жертвенного барана. У меня было все, что делает смертного властителем, кроме одной мелочи: силы. Трон, перстень значат не более, чем драный халат бродяги Ахмеда. Не глупо ли, уйти от одной смерти, чтобы тотчас попасть в лапы другой? Я снова ощутил сквозной холодок, как там, на тюремном дворе. Тюремном дворе... И тогда я вспомнил про Хасбулата...

СЛУГА

Служу не закону, нельзя служить тому, чего не видишь.

Служу не отечеству, нельзя служить тому, о чем не ведаешь.

Служу хану. Служить можно тому лишь,

кого видишь, кого знаешь, кого боишься...

Ахмед Булгари

Хасбулат. Маленькие, широко поставленные, немигающие глазки прячущейся в камышах рептилии. С одной стороны — готовность сию секунду исполнить любой поручение. С другой — напряженное ожидание того, *что* может дать ему его новое положение. Чего ждать ему от этой *посвященности*, ослепительной улыбки удачи или ледяного мрака.

— Скажи, Хасбулат, много ль нынче во дворце вооруженных людей?

Хасбулат медленно, удовлетворенно кивнул, будто именно этого вопроса и ждал. Говорит, однако, неторопливо, с растяжкой, словно стараясь вспомнить, хотя давно уже знает все досконально.

— Стражи во дворце — семьдесят два человека, со мною вместе. За пятьдесят я ручаюсь головой. За десятерых поручусь с трудом. За прочих — не поручусь вовсе. Дело, однако, не в этом. С недавних пор стали появляться какие-то новые люди, все вооружены, все с Крыма, все называют себя гостями Танышбека. Что у них на уме, не знаю, однако держатся особняком, ведут себя непочтительно. Недавно один затеял ссору с моим братом. Едва не пролилась кровь. Если так пойдет...

— Сколько их, этих гостей?
— Около двадцати. Но не сегодня-завтра могут пожаловать еще.
— Ты сказал: за пятьдесят поручусь головой. Как это понимать?
— Это значит, эти пятьдесят сделают все то, что вам будет угодно, без рассуждений и колебаний. Это значит, что они умрут за вас безропотно, великий хан. Это значит, что они у меня в руках.

Хасбулат, усмехнувшись, вздел растопыренные ладони и для верности расслабленно пошевелил пальцами.

— Хорошо. Сделай так, чтобы эти пятьдесят, или сколько там, стражников держались отдельно от других, поговори с ними, растолкуй, что скоро грянут перемены.

— Я это сделал сегодня.

— Сегодня?!

— Вы удивлены? Для того, чтобы понять, что скоро грянет гроза, не обязательно дожидаться первой молнии.

— Затеяливо. Однако ступай. Хотя... Погоди.

Ахмед небрежно откинул ногтем крышку шкатулки.

— Тут... безделушки. Выбери сам, что по душе.

— Великий хан, — Хасбулат отрицательно покачал головой. Глаза его однако напряженно сузились, а ноздри на мгновение хищно раздулись. — Вы правы — безделушки. Сейчас не до них. Но я непременно выберу. Когда сделаем что задумано.

— Задумано? — Ахмед в притворном удивлении приподнял бровь. — А что задумано?

— Мне это неизвестно, великий хан.

— Есть ли ко мне вопросы?

— Не знаю.

Хасбулат едва заметно усмехнулся, нервно обернулся по сторонам и отвел глаза.

— Что значит, не знаю?

— Это значит, я понял все, что вы хотели мне сказать, великий хан. Но я не слышал того, о чем вы умолчали. Поэтому — не знаю.

— Ты не знаешь, намного ли ты переживешь мою родню? Так?

Хасбулат не ответил, по-прежнему упорно глядя в сторону.

— Хасбулат, ты, кажется, уже понял, что у меня не слишком много друзей в этом доме. Как я могу доказать, что я от тебя не избавлюсь? Тебе придется поверить мне на слово. Тебе придется поверить, что я не идиот и не самоубийца, чтобы убивать тех, кто мне помогает, чтобы остаться один на один с теми, кто мне мешает. Я мог бы говорить много, но мне показалось, ты достаточно умен, чтоб понять. Не обещаю тебе несметных богатств, обещаю одно: твоя услуга не будет забыта. Меня можно назвать каким угодно, но не благодарным. Понял меня?

Хасбулат немного помолчал и кивнул.

— И хорошо. Ступай же и будь начеку. Скажешь привратнику, чтобы позвали сюда Танышбека. Немедленно. Ступай, Хасбулат.

О да, ступай, Хасбулат, ступай, единственный друг, убийца и палач. Ты задушил Бирдебека, перед тем пинками гнал меня из темницы и обратно, а днем позже и меня бы задушил, сложись так обстоятельства. Ты настоящий сукин сын, но выбирать не приходится. Я впрямь не держал на тебя зла, и уж тем более не стал бы тебе мстить. Такие, как ты, служат верой и правдой. Ибо самые надежные — те, кому некуда податься и некому продаться. А вот от подарка ты тогда отказался зря. Может статься, другого не будет...

Ахмед вдруг осознал, что перестал думать о том, как вырваться на свободу из этого чужого дома. Человек, по произволу случая воссевший на ханский трон, стал ханом. И думать стал как хан. А бегство? Он не думал о нем, как не думают о необходимости дышать, куда есть воздух.

Разрослось Батыево семя непомерно. Тесно стало в мире от его внуков-правнуков. И все косятся на трон. Все жаждут щепотки его величия, ибо по наследству славу добыть легче, чем в бою. Кровь великого Бату ломит всем им виски. Однако же место на этом троне было, есть и будет — одно. А раз так, все они мнят и будут мнить себя обиженными. Обида плодит раздор, а раздор — это хворь, которая убивает народы. Обида нищего лежит на дне его сумы, а обида сановника гарцует на скакуне впереди его самого.

Танышбек. Воистину, когда Аллах хочет кого-то вознаградить, он дарует ему глупых врагов. А ежели он особенно милостив, то к глупости добавляет еще и спесь.

Ахмед не думал, о чем и как будет он говорить с Танышбеком. Танышбек, как буйвол, сам протопчет дорогу.

— Великий хан желал говорить со мной?

Отлично. Танышбек уже позволяет себя проявлять нетерпение и даже раздражение. Значит, уверовал в победу. Мне даже почти что жаль тебя, Танышбек, однако уже поздно.

— Я хотел лишь уточнить. Сегодня к вечерней трапезе я жду тебя и твою родню, Танышбек.

— *Нану* родню, великий хан! — лицо Танышбека расплывается в широкой, раскосой улыбке.

— А вот это-то мы и решим на нашей встрече. Разве у волка есть родня? Дядьки, племянники? Отчего ты побледнел, здесь жарко? Впрочем, я не о том. Так вот, сегодня вечером здесь должны быть все без исключения. Только мужчины, разумеется. Вот, собственно, и все. Ты ведь не желал ничего мне сказать еще, Танышбек?

— Пожалуй, нет. Хотя... — Танышбек, оправившись от внезапного прилива страха, вдруг вновь самодовольно ухмыльнулся.— Один пустяк. Если позволишь. Слышал я про некоего... Как звать-то его...

— Про некоего Ахмеда, надо полагать, — Ахмед лучезарно улыбнулся.

— Как ты догадался? Именно про него и хотел.

— Уж не о нем ли будет говорить со мной наша родня?

— Может статься, и о нем. Сдается мне...

— А мне сдается, что у моей родни мозги жиром заплыли, коли они вздумали морочить мне голову пустяками. И я найду время их прочистить.

Улыбка спорхнула с лица Ахмеда, будто ее и не было никогда. Танышбек все еще сохраняя на лице слабую улыбку, пытался продолжить:

— Нам не нравится, что...

— Я знаю, что *вам* не нравится! Давно знаю. Не хочешь узнать, что не нравится *мне*? Не нравится, что в дни, когда наше войско ушло воевать в Персию, когда лучшие джигиты будут проливать кровь под стенами Тебриза, многие сложат там головы, моя родня не нашла ничего лучшего, как шпионить за своим ханом. Не нравится, что во дворце снуют толстомордые бездельники, увешанные оружием, как шлюхи безделушками...

Лицо Танышбека покрылось бурыми пятнами и испариной.

— Если речь идет о моих гостях...

— Речь о трусах, которые прячутся от войны. Мне все равно, чьи они гости. Завтра они должны отбыть к иранской границе. Все до единого!

— Бирдебек! — Танышбек, потеряв самообладание, вскочил на ноги. — Даже хану не все дозволено!

— Хану, Танышбек, дозволено все! — Ахмед глядит на него снизу вверх и безмятежно щурится. — Если ты в этом еще сомневаешься, я попробую тебе это доказать.

— Так сегодня вечером, великий хан? — вопрошает вновь взявший себя в руки Танышбек, учтиво поднимаясь со скамьи.

— Сегодня к ужину, Танышбек.

Сказал да и прикрыл глаза, дав понять, что беседа окончена.

ЗАГОВОР

Избравшим ночь, пристало ль сетовать на мрак?

Ахмед Булгари

Гости уже собрались. Что ж, пусть посидят, поговорят, благо, есть о чем. У вас есть еще шанс, братья мои. Шанс есть всегда, не всегда есть надежда, что им воспользуются. Их двенадцать человек. Все при оружии. Это неплохо: оружие делает помыслы более очевидными, а речи более откровенными. Все говорливы и возбуждены. Танышбек более других. Просто не находит себе места. Возбуждены нетерпением и тщеславными мечтаниями. Самая опасная для здоровья хворь, братья мои. Даже по-своему жаль вас: вы лишены главной радости в жизни: радости общения. Общения на равных, ибо говорите вы либо снизу вверх, либо сверху вниз... Да, у вас будет шанс. Один-единственный. И когда я окончательно пойму, что вы им пренебрегли, я скажу одну фразу: «Мир вам, братья мои!» И это будет последнее, что вы услышите на своем веку, братья мои!

Он вдруг почувствовал, что голоден. То было чувство здорового, волчьего голода. Когда нетерпение не омрачено тоской. От обеда он сегодня к немалому удивлению прислуги отказался, да и завтрак был скомкан заботами. Ну что же, раз ты голоден, значит ты еще жив, Ахмед.

— Великий хан, там у входа стоит кади.

— Да? И что он там делает? Подслушивает?

— Нет, что вы, — привратник смущенно потупился, едва скрыв ухмылку. — Ждет, когда вы его примете.

— А это одно и то же. Гони в шею, не до него. Хотя... впусти.

Привратник поклонился, успев бросить на Ахмеда короткий, удивленный взгляд.

Кади изо всех сил старается выглядеть взволнованным. Ему это вполне удается. Впрочем, он, похоже, действительно взволнован.

— У меня тревожные известия, великий хан.

— Да что ты говоришь! Судя по тому, как у тебя бегают глаза, они действительно тревожные. Однако поскольку глаза у тебя бегают постоянно, все не так уж страшно. Так?

— Нет, не так. Твоя родня, великий хан, замышляет дурное.

— Что ж тут тревожного? Вот если б она ничего не замышляла, это было бы тревожно. Я бы не знал, что у них на уме и тревожился бы. А так я знаю: они замышляют дурное. Потому и спокоен: все нормально, ничего не изменилось, все остается на местах.

— Сейчас не до шуток. На сей раз все серьезней. Сегодня вечером...

— Сегодня вечером, милейший кади, я встречаюсь со своими братьями-племянниками. И мы решим, как нам жить дальше. Разговор будет долгий и обстоятельный. И, как все обстоятельные разговоры, абсолютно пустой. Когда людям есть, что сказать, разговор короток и ясен. А когда людям сказать нечего, разговор бывает долгим и обстоятельным. Я не смогу убедить их, чтобы они возлюбили меня, а они меня не смогут убедить добровольно отойти в лучший мир.

— Но они могут...

— Помочь мне сделать это? Я верно понял? Могут, и с немалым удовольствием. Однако на этот трон может усесться только один. Так уж он устроен — даже если сделать его вдесятеро шире, сядет на него только один. Кого ж посадят? Танышбека? Возможно. У него давно зудит задница от предвкушения трона. Только что от этого изменится для других? Ничего ровным счетом. Этот трон, о всемудрейший, устроен, ко всему прочему еще и так, что на нем тут же забываются данные когда-то обещания и клятвы. Потому что властители одиноки и ничем никому не обязаны, кроме Аллаха. Как только властитель становится кому-то чем-то обязанным, он перестает быть властителем! И если Танышбек вознамерится меня прикончить, первыми, кто ему помешает, будут мои родственники. Им-то ведь не нужен хан, который, едва взойдя на трон, первым делом постарается избавиться себя от соглядатаев. Учти это, кади.

Ахмед говорил все это, пристально глядя в помаргивающие глазенки судьи, силясь понять, верит ему этот старый пройдоха или нет. Необходимо убедить этого двоедушного, сотканного из лжи и притворства старца, что он, то есть хан Бирдебек, хоть и злобен и подозрителен, но спокоен и самоуверен, и предпочтет болтовню реальному делу.

Кажется, ему это удастся.

— Ты прав, как всегда, великий хан, — кади цокает языком от восхищения. — Однако твои родственники... так ли они умны, как ты? Соблазн власти туманит слабые умы. Прозрение не замедлит наступить, но не будет ли поздно? Во всяком случае, для тебя.

— Ты преувеличиваешь. Впрочем, я подумаю об этом.

— Подумай, великий хан. Однако не опоздай.

— Не опоздаю. Ежели что и случится, то не сегодня. Их чересчур много. А власть, как женщина, к ней идут только в одиночку. Неправда ли, мой праведный кади.

— Мне ни к чему все это знать, великий хан, — Кади смиренно отводит глаза. — Я служу одному лишь Всевышнему.

— Боюсь, Всевышний может думать иначе на этот счет.

— Не надо кощунствовать, великий хан! — кади вдруг нравоучительно нахмурился. — Тем более, в такой день!

И тогда Ахмед, вдруг потемнев лицом, хватает оторопевшего кади за отвороты халата и с силой притягивает к себе.

— Нет худшего кощунства, чем служение тому, во что не веришь, — шипит он с неожиданной для него самой злобой

Оттолкнул его прочь так, что тот потерял равновесие и, по-старчески ахнув, упал навзничь и в страхе закрыл лицо рукой. Однако Ахмед тотчас успокоился, даже участливо помог подняться старику. Кади, опасливо бормоча и постанывая, поднялся, со страхом и недоверием косясь на хана.

— Однако теперь, всемудрейший кади, оставь меня и займись своими делами, ежели они у тебя

есть, ибо...

В этот момент вошла Ханике. Она замерла у входа, с опасливым удивлением. При виде кади взгляд ее потемнел и сузился.

— ...ибо ко мне пришла моя супруга. — Ахмед лучезарно улыбнулся и шагнул навстречу ей. — Или ты непременно желаешь поучаствовать в нашем разговоре?

Кади конфузливо замотал головой, быстро вскочил, с неопределенной гримасой раскланялся и заковылял к выходу. У двери замер, нерешительно обернулся, глянул еще раз на Ахмеда и вышел.

Он действительно ждал Ханике. Сам не зная, нужна ли ему эта встреча, заранее понимал, сколь тягостна она будет, но если от нее отказаться, то в его планах на сегодняшний вечер, в этом и без того зыбком построении, образуется некая пустота, которую придется чем-то заполнять, а размышлять об этом не было времени и сил. Что поделаешь, зло не живет в одиночестве, оно непременно тянет за собой другое, образует цепочку-удавку. И ее не перемолоть мелкой россыпью добрых делишек.

— Великий Аллах! Какой чепухой приходится заниматься мне, рабу твоей красоты, — Ахмед вдруг осекся, осознав, что произносит какую-то высокопарную ложь. — Вместо того, чтобы дни и ночи проводить только с тобой, приходится вести какие-то мелкие дела, общаться с какими-то дрянными людишками. Не правда ли?

— Да.

Ханике улыбается. Потому что счастлива. Счастье омрачено тревогой, но тревога — это, в сущности, тень, отбрасываемая счастьем. Счастье без тревоги — удел слабоумных.

— Знаешь, моя бы воля, я вошел бы в твоё лоно прямо здесь, на троне Бату и Берке.

Самое интересное, в тот момент он впрямь желал только этого.

— А разве не твоя воля, мой повелитель?

Ахмед громко, хоть и через силу рассмеялся.

— А что, это хорошая мысль, Ханике! Однако... — внезапно потемнел, глянул исподлобья в сторону, будто на незримого соглядатая, и слегка отстранил ее. — Однако сегодня, пожалуй, не получится. Не ко времени. Во всяком случае, сейчас. У меня сегодня важная встреча.

— Я знаю, — продолжая улыбаться, кивнула Ханике.

— Тебя это удивляет?

— Нет, но... прежде ты никогда не звал меня на такие встречи.

— Это значит лишь то, что у меня прежде не было важных встреч, милая Ханике. Впрочем, я тебя не задержу. Все, что сегодня произойдет, слишком скучно и буднично, чтоб стоило докучать этим тебе. Побудешь некоторое время, да и пойдешь себе.

— Мне что-то нужно будет сделать?

— Да сущую безделицу, милая, сущую безделицу. Лишь подтвердить нечто само собою разумеющееся.

— Подтвердить? — Ханике изменилась в лице. — Что подтвердить?

— То, что я — твой муж, а ты — моя жена, — Ахмед вновь громко, отрывисто расхохотался. — Всего-то. Вот такие очевидные истины приходится иногда подтверждать, и даже клясться на Коране. Смешно, правда? Отчего же ты не смеешься?

Ханике бледнеет и съезживается. Боюсь, что это еще не самое страшное, Ханике.

— Ханике, ты, надеюсь, не обидишь меня отказом? — не услышав ответа, повышает голос. — Ханике!

Ханике молча кивает. Иного он не ждал. Ахмед прижимает ее к себе, гладит по голове и по лицу, как ребенка.

— Вот и чудесно. А у нас с тобой будет прекрасная жизнь, Ханике. Но для того, чтобы она была прекрасна, нужно иногда делать неприятные вещи. Впрочем, это не сейчас. Сейчас у нас, пожалуй, и впрямь найдется немного времени, дабы заняться вещами вполне приятными...

— Погоди, — Ханике вдруг к удивлению Ахмеда отстраняется. — Я хочу спросить у тебя кое-что.

Она глянула на него в упор, да так, что Ахмед опустил веки.

— Муж мой, я все сделаю, как ты сказал. Не хочу этого делать, но сделаю. Сделаю, потому что понимаю тебя. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Но пойми и ты меня. Мне очень страшно. Никогда еще не было так страшно, как сейчас. Ты ведь... Ты ведь не бросишь меня?..

Что оставалось сказать? Самое подлое заключалось в том, что Ханике не нужно было убеждать, что

он не лжет. Она верила, потому что вера была единственным ее спасением.

МИР ВАМ!

Властитель не может быть счастлив.
Если счастлив, стало быть, безумен.

Ахмед Булгари

А тронный зал между тем начинает заполняться людьми. Ахмед и Ханике сидят неподвижно, и в их неподвижных позах нет ни величия, ни опаски, ни любопытства, есть лишь усталое ожидание. Вокруг полукольцом рассаживаются гости. Возле них кувшины, большие блюда с фруктами. Столы с изощренной избыточностью завалены снедью. Непосвященному впрямь показалось бы, что готовится шумное, веселое празднество. Гости оживленно переговариваются. Более всех возбужден Танышбек. Таким его еще, пожалуй, не видели. Он просто-таки не находит себе места, переходит от одного гостя к другому. Громко хохочет не к месту, хлопает собеседников по плечам, начинает разговор и тут же отходит, недоговорив и недослушав. Изредка бросает взгляд в сторону царственных супругов, и, встретившись взглядом, церемонно, хоть и несколько по-шутовски, раскланивается. Чуть поодаль от Ахмеда неподвижно, как изваяние, стоит Хасбулат. Его руки скрещены на груди, лицо неподвижно, лишь темные зрачки быстро перебегают с одного гостя на другого.

Ахмед неожиданно поднимается и кричит громко, все вздрагивают:

— Сюда, Танышбек сюда! — машет рукой, указывая на место справа от себя. — Ты что же, не найдешь себе места? Так вот оно, место твое. *По правую руку от законного хана.* Повтори. Не хочешь? Ну так запомни его, Танышбек. По правую руку от властителя! Это не так плохо, поверь мне. Надеюсь, ты все же сможешь это понять сегодня.

Танышбек кланяется еще более изысканно неуклюже и с достоинством усаживается, с откровенной и бесцеремонной усмешкой поглядывая на неподвижно застывшую Ханике. Ахмед между тем поднялся, гомон в зале понемногу стих.

— И вообще, братья мои, не за тем ли мы тут и собрались, чтоб определить каждому надлежащее место? — он воздел руки, словно желая разом обнять всех присутствующих. — Не слышу ответа? Надеюсь, ваше молчание предполагает согласие. Мир наступает именно тогда, когда каждому определено подобающее ему место, не так ли? Я не лучший среди вас, есть в этом зале более искусные наездники, философы, полководцы, богословы. Первый не обязательно лучший. Первый есть тот, на кого указал перст провидения. Он указал на меня, посему именно мне предназначено развести всех нас по подобающим местам. Справедливо ли это? Не знаю. Знаю, что разумно, — Ахмед перевел дух и глянул на Танышбека. — Для начала я хочу разрешить один вопрос, который необходимо разрешить, сколь бы абсурдным он ни казался. Но именно абсурдные вопросы надо решать в первую очередь, потому что нерешенный абсурд переходит в уродство. Не впервые мне приходится слышать: ханский престол занят самозванцем, сам же хан Бирдебек пропал бесследно. — Некоторое время Ахмед молчит, обводя гостей взглядом. На какое-то время глаза его встречаются с глазами Хасбулата. — Опять молчание? Должен ли я понимать, что ваше молчание предполагает согласие с этим абсурдом?

Он оглядывает зал с притворным удивлением. Гости же глядят не столько на него, сколь на Танышбека.

— Итак, мои братья молчат, и молчание это уже подобно воплю.

Тут один из гостей нерешительно поднимается, приподнимает руку.

— Великий хан, полагаю, не стоит так...

Ахмед живо перебивает его:

— Ты сказал «великий хан». Я не ослышался? Дальнейшее уже неважно. Искренне ли ты сказал это или просто по привычке?

— О да, великий хан. Если минуту назад, у меня, что говорить, еще были сомнения, они развеялись.

— Вот и прекрасно. А сейчас и вовсе развеются.

Громко хлопает в ладони. Ханике вздрагивает и непроизвольно прижимается к нему. Он стискивает ее руку так, что она вскрикивает.

— Хасбулат! — громко кричит Ахмед. — Вели принести сюда священный Коран!

Хасбулат почтительно кланяется и делает знак. Входит слуга, вносит том Корана, кладет на покрытый ковриком столик возле трона.

— Вот книга, священной которой нет и не будет под луной. Ее некогда переписал великий мудрец и каллиграф Аль Фарадж из города Кордова. Следовательно, это копия, ибо создана смертным. Сам же Коран, Мать Книги, пребывает, как известно, в незримых небесных чертогах Аллаха. Ты что-то хочешь сказать, любезный брат мой?

— Аллах велик, — хмуро бросает Танышбек. — Не уразумею, однако, повелитель мой, к чему это ты...

— Если ты стоишь перед зеркалом, ты видишь в его стекле свое отражение, — продолжает Ахмед, точно забыв про Танышбека. — Если ты поставишь рядом другое, ты увидишь отражение отражения. Возьми тысячу зеркал, расставь их. Что ты увидишь там, в конце зеркального коридора, в тысячном зеркале? Признаешь ли ты увиденное самим собой? Не ужаснет ли тебя то, что узришь в туманной глубине...

Я вижу, вам еще не понятно, почтенные? Хорошо. Вот перед вами моя жена Ханике. Возможно, есть на свете женщины прекрасней, но я не видел. Не далее, как сегодня на рассвете она сладостно трепетала в моих руках, моя плоть содрогалась внутри ее плоти. Скажите, сможет ли она перепутать своего мужа с чужаком на брачном ложе? Ханике, скажи родне моей единокровной, кто я тебе?

— Ты — супруг мой, Бирдебек, — с поразившим его самого спокойствием отвечает Ханике, обводя гостей дерзко улыбающимся взглядом.

Ахмед в возбуждении вскакивает на ноги.

— Громче! Громче!!! Моя высокородная родня могла не расслышать. И потом, родная, ты забыла положить руку на Коран.

Ханике на мгновение ежится, однако под пристальным взглядом Ахмеда выпрямляется и с деревянным спокойствием возлагает ладонь на тяжелый, бархатистый том. В зале тотчас смолкает ропот, наступает тишина.

— Ты — супруг мой, Бирдебек. Другого нет и быть не может. Аллах тому свидетель.

Ахмед устало переводит дух.

— Ну вот и все, Ханике. Не смею, однако, тебя задерживать. Дальнейшее будет для тебя скучно, хоть и забавно по-своему.

Ханике неловко поднимается, Ахмед торопливо берет ее под руку, ведет к выходу. По дороге Ханике едва не падает, но Ахмеду удается ее удержать. В этот же момент зал заполняется слугами. Они принимаются неторопливо менять кувшины и подносы. Среди них — Хасбулат.

— Родные мои, можно ли считать нашу приятную беседу законченной? — говорит Ахмед, вернувшись на место и непроизвольно вытирая взмокший лоб рукавом халата. — Те, кто так считает, может подняться и уйти. Те же, кто предпочтет продолжить беседу, — продолжают ее. И так!?

Трое-четверо, поднимаются и уходят. Оставшиеся провожают их темными взглядами. Зато Танышбек демонстративно усаживается поудобней и учтиво приподнимает руку. Говорит с полуулыбкой, порой гримасничая, прочищая языком зубы и сыто отрыгивая.

— Аллах свидетель, я давно не слышал столь мудрой речи. Каждое слово твое, великий хан, я бы оправил в золото и продавал бы как бесценный самоцвет, когда бы это было возможно. Я даже порой говорил себе: да тот ли это Бирдебек, с которым мы провели наше детство, чей отец, Джанибек хан, учил меня скакать на лошади и стрелять из лука? Тот ли это Бирдебек, с которым мы, бывало, состязались в силе и ловкости? Тот? Но тот Бирдебек был сух, груб и косноязычен. Нынешний же — рассудителен и велеречив, подобно персидскому стихотворцу. Произошла перемена, и мне, всем нам, хотелось бы знать, отчего она. Возможно, перемена и прекрасна, но именно потому нам и хочется знать ее исток.

Ахмед потемнел, перестал улыбаться, быстро глянул на дверь.

— Полно, Танышбек! Вглядись получше, так ли разительна перемена! Да, я тот самый Бирдебек, с которым ты состязался, и всегда проигрывал, которому ты завидовал и которого ненавидел с бессильной ненавистью евнуха. Это я, Бирдебек, и если ты, и выводок твой не в силах понять такой простой вещи, это значит, мне не удалось убедить вас занять подобающие вам места, и теперь... остается сказать вам на прощание... — Ахмед поднимается на ноги и кричит во весь голос. — Мир вам, братья мои!!!

Слуги, заполнившие ранее зал, выхватывают из-под полы оружие. Начинается, тесная, визжащая резня. Ахмед смотрит на все это, спокойно скрестив на груди руки. Танышбеку удается оттолкнуть одного из слуг, он успевает выхватить кинжал, опрокинуть на наседавших на него стражников стол с яствами и с пронзительным воем броситься на хана. «Бирдебек! — хрипит он, потрясая окровавленным кинжалом. — Бирдебек, будь ты проклят! И шляха твоя...» На его пути оказывается Хасбулат, однако Танышбек с ревом бьет левой рукой по лицу и тычком кинжалом в живот, отбрасывает его обмякшее, конвульсирующее тело в сторону, но тотчас сам падает под ударами. В тесноте и свалке гаснут светильники, зал погружается в темноту, слышны лишь выкрики людей. Когда один из слуг наконец копьем отбрасывает шторы с окон, зал тускло освещается. На полу — корчащиеся и уже безжизненные тела, лужи крови, раздавленные объедки. Ахмед все так же неподвижно сидит на троне, откинув голову назад. Со стороны кажется, что он умер. Однако он поднимается, перешагивает через распростертые тела Танышбека и Хасбулата и уходит прочь.

ПОЛДЕНЬ В СТЕПИ

По степи ветрище свищет, потемнели небеса.
По степи добычу ищет красноокая лиса.

Песня

Полдень в степи. Станный полдень, необычный: уходящее лето еще пышет едким, пыльным степным зноем, но к полудню вдруг поднялся ветер. Он похож на вкрадчивого хищного зверя. То стихает, да так, что даже травяная пыль стоит почти неподвижно, то вдруг ощеривается, ощетиливается, налетает внезапным шквалом, гонит темные клубы пыли и обезумевшей клочковатой травы.

Трое всадников, они стоят друг напротив друга и мирно беседуют. Им, похоже, не мешает зной и не тревожат порывы ветра. Лишь кони их порой прыдут ушами, фыркают и пугливо встряхивают головами. Со стороны эти люди похожи на охотников. Да они и есть охотники. И говорят, вероятно, об охоте. Но чтобы услышать их разговор, надобно подойти поближе. Заодно и понять, что за странная надобность привела этих столь несхожих людей сюда, в глухую степь.

Это Мангут бек, Котлыбуга и Махмуд везир.

— В степи всякое случиться может, а хан хоть и умен, но горяч не в меру, — говорит Махмуд везир. Это стройный красавец, аристократ с тонкими запястьями и женоподобным лицом. Одет в изысканно дорогие одежды, увешан оружием, однако, оружие это столь изощренно украшено драгоценностями, что, казалось, давно утратило свое реальное назначение.

— Хан как будто дразнит тех, кто служит ему, — он преувеличенно грустно вздыхает и томно прикрывает глаза. — Право, чудно. Конечно, сейчас ни один здравомыслящий не станет повторять той чепухи о том, что наш хан якобы вовсе и не хан, а какой-то жалкий... Стыдно сказать.

— А кстати, что с ним стало, с этим Ахмедом-бродягой? — небрежно интересуется Котлыбуга. Это — наоборот, невысокий, нарочито скромно одетый человек. Хотя темные слухи о его богатстве, не вполне праведно нажитом, тревожат иные праздные умы. Он явно не стремится бросаться в глаза, и более других нервничает, оборачивается по сторонам. Да и говорит он, всегда опустив веки, будто робея.

— С кем? Не расслышал, о ком вы говорите, уважаемый? — издевательски прижав ладонь трубочкой к уху, переспрашивает Мангут бек. Это кряжистый, коротконогий человек с широкими ладонями пастуха и воина. Говорит он хрипло и отрывисто, щербато шепелявя. В тот памятный день истребления бирдебековой родни он был в числе тех, кто вышел из зала, уверовав в правоту услышанного. С того дня ненависть к тому, кто назвал себя Бирдебекком, стала, похоже, едва ли не стержнем его существования.

— Э, все ты расслышал! Не бойся, тут никого, кроме нас нет.

Мангут бек вспыхивает, однако, берет себя в руки, лишь стискивает в побелевшем кулаке роговое кнутовище.

— Ахмед, вот как звали того беднягу. Не то поэт, не то дервиш. Пропал бесследно. Я его никогда не видел, — охотно и нарочито громко отвечает Махмуд везир.

— Эка беда, не видел! — грубо перебивает его Мангут бек. — Зато других видел в избытке. Все они одинаковы. Как верблюжьих лепешки.

— Но те, кто видел, говорят, что...

— Меня мало интересует, что говорят о каком-то грязном заморыше, — резко обрывает говорившего Мангут бек.

— Неужто? — вновь подает голос Котлыбуга. Он хоть и трусоват, но, похоже, нарывается на ссору. — Не ты ли, почтеннейший, не так давно...

— Может статься, и я, — кивает Мангут бек, ладонью ласково урезонивая взметнувшегося вдруг на дыбы коня. — Да только сегодня хан бродяг и дервишей выгнал из города в степь, а завтра кого?

— Странно ты как-то говоришь, — вздыхает и ежится Котлыбуга, тотчас сменив тон. — Сразу и не поймешь.

— А ты испугался? — хохочет Мангут бек. Завидев суетливые озирания Котлыбуги, хохочет громче. — Сам же говорил: нету никого здесь.

— Он истребил род Чингизов, — угрюмо, непонятно к кому обращаясь, продолжает Махмуд везир, — скоро за эмиров возьмется. Да он это и не скрывает. Что тогда будет с державой?

— Эй, мне, если честно, плевать на державу, — зло щерится Мангут бек. — Я привык думать о собственной заднице, да и всем советую.

— Держава только тогда и крепка, когда эти мысли совпадают, — вкрадчиво продолжает Котлыбуга. — Однако Махмуд везир прав. Великие царства создаются великими людьми, а рушатся ничтожествами.

— Я этого не сказал, — Махмуд везир обеспокоенно качает головой.

— Разве? Зато я говорю! — Котлыбуга заметно осмелел. — Знаете главное правило охотника? Главное — самому не стать дичью. Боюсь, что хан позабыл это простое правило.

— Простые истины легче забываются, — вторит ему Махмуд везир. — На то и хозяйева, чтобы забывать, на то и слуги, чтобы напоминать.

— Главное — никто не должен остаться в стороне. А то ведь бывают люди, которые много и складно говорят, — Мангут бек неожиданно пристально смотрит на Котлыбугу, — а стоит дойти до дела, как у них срочно приключается какая-то неотложная надобность. А то и похуже...

— Договаривай, уважаемый, коли начал, — насупился Котлыбуга.

— Договорю, с вашего разрешения. Так вот, судари мои, не знаю, складно я говорю или нет, а только если я замечу, что в нужный момент кто-то начнет вертеть задом и канючить, я такому лично несусь голову.

— Эй, сейчас неподходящее время ссориться, — Махмуд везир властно приподнял ладонь, эффектно полыхнув перстнем. — Наверное, есть смысл поразмыслить о том, как будем жить после того, как закончится охота. Ведь закончится же она когда-нибудь.

— А вот как закончится, так и поговорим, — Мангут бек презрительно сморщился. — Шкуру неубитого медведя делить приятно. Вот только медведи не всегда соглашаются. «Уж не себя ли ты зришь на троне, дамский лизоблюд», — подумал он про себя.

«Да уж не тебя, овечий вор», — ответили ему презрительно сощуренные глаза Махмуда везира.

— Нет уж, договориться сперва надо, — деловито вставляет Котлыбуга. — Потом поздно будет. Трону ни дня пустовать нельзя, может большая кровь пролиться, храни Аллах.

— Коли суждено было оборваться чингизову роду, то ханом, по моему разумению, должен быть человек малоизвестный, без славы, без заслуг, — говорит, поигрывая кнутом, Мангут бек. — Хан таким и должен быть. Не шибко знатным, не шибко видным, не шибко умным. Нынче времена такие, люди устали от героев. Когда у человека заслуг много, он больше назад глядит. А государям надобно глядеть перед собой. Стало быть, решено, — хлопает кнутом по голенищу. — Хан погибнет на охоте. Его застрелят трое неизвестных. Их станут искать, однако, не сыщут...

Со стороны степи слышится конский топот, ржание, свист, выкрики людей. Махмуд везир вздрагивает и невольно втягивает голову в плечи.

— Вот, кажется, и хан вернулся. Пора расходиться. Храни нас Аллах!

ОХОТА

Ловить тигров легко.
Довольно схватить за загривок
и объяснить, что это ты его поймал,
а не он тебя.

Ахмед Булгари

Итак, сегодня — день охоты, Ахмед из города Булгар. Как бы он ни сложился — это твой день. Ибо где как не на охоте, в полуденной степи можно верить судьбу ветрам Провидения. В этой жизни ничего нельзя изменить. Это ж нужно было стать царем, чтобы понять столь простую вещь. Происходит лишь то, что должно произойти. Хан Бирдебек должен был убить бродягу Ахмеда, и он это сделал: заставив бродягу переодеться в ханский халат, он убил его. Хан Бирдебек должен был пасть от рук заговорщиков, и он падет. Сегодня. Опять же, какая разница, как. И все же у тебя сегодня будет шанс...

Внезапный порыв ветра хлестко стегнул наотмашь по лицу пылью и запорошил глаза. Ахмед раздраженно выругался и отвернулся, растирая веки. Когда выпрямился, рядом с ним недвижно стоял Хамзат, брат Хасбулата, который как-то незаметно и естественно занял его место. На брата не похож. То есть, похож, но только внешне. И еще — кошачьей, бесшумной походкой. Тучен, сластолюбив, в седле сидит скверно. Тонкие, кажется даже выщипанные брови и редкие, длинные, почти до самого подбородка усы делают его лицо еще более глупым. Он, похоже, прочно уверовал в то, что некая тайна, что связывала хана и его покойного брата, распростерла свои незримые крыла также и над ним. Службу свою почитает большим счастьем, о большем не помышляет. Однако из того, что имеет, стремится взять все возможное, ворует, почти не таясь. Интересно, он с *ними*? Едва ли. Пустоголов и неповоротлив, от такого больше помех, нежели пользы.

— Что ты хотел, Хамзат?

— Я?.. Просто хотел узнать, не нужно ли чего.

— Ничего не нужно. Хотя скажи нукерам: пусть снимают оцепление.

— Охоты не будет, великий хан?

— Охота будет. Но будет особенной. Нас будет четверо. То есть я и еще трое. Больше никого.

— Четверо? — У бедняги Хамзата отвисла челюсть. — Но это...

— Что такое? — Ахмед изобразил недоумение. — Ты в чем-то не согласен со своим ханом?.. Погоди-ка, кто-то как будто скачет сюда. Выясни, кто это и как он прошел через оцепление. **В этом** твоя обязанность, Хамзат, а не в размышлениях, что мне должно или не должно делать.

По степи впрячь стремглав, словно погоняемый ветром, неся всадник, оставляя за собой темно-серый смерч пыли. Он скакал, низко прильнув к вороной гриве коня, словно силясь укрыться за нею. Ловко обойдя запоздало кинувшегося ему наперерез нукера, он осадил коня почти вплотную к хану. Ахмед невольно отшатнулся. Хамзат кошкой кинулся на него, схватил за сапог, неловко попытался стащить с коня, но сумел это сделать лишь с помощью троих подоспевших нукеров. Свалив всадника наземь, Хамзат с запоздалым усердием заломил ему за спину руки и с урчанием навалился на него всем телом. Неловко топтавшиеся рядом нукеры кинулись ему помогать, хотя всадник и не думал сопротивляться.

— Во имя Аллаха милосердного, прикажите меня отпустить, великий хан! — вскрикнул всадник сдавленным от боли и удушья голосом..

— Кого это — меня? — Ахмед с любопытством нагнулся над клубком тел. — Э, да это ты, Котлыбуга? Помилуй, я и не узнал. Неважно выглядишь, почтеннейший. Ты нездоров?

— Великий хан, умоляю, — в отчаянии взвыл Котлыбуга.

— Ты взволнован как будто? — Ахмед говорит участливо, будто не замечая воплей Котлыбуги. — Интересно, что тебя так взволновало? Попробую догадаться. Зреет заговор. Угадал?

— Великий хан! — Котлыбуга хрипит уже из последних сил. — Они сломают мне руки!

— Да что же это я! — Ахмед будто только что заметил. — Отпустите же почтеннейшего Котлыбугу.

Хамзат, тяжело сопя и вытирая пот, поднялся. Знаком отослал прочь нукеров, а затем, приметив нетерпеливый жест Ахмеда, неохотно, поминутно оборачиваясь, отошел сам.

— Ну так как, я прав насчет заговора? — криво усмехаясь, Ахмед глянул на Котлыбугу сверху вниз.

— Правы, великий хан.

— Да неужто?! — Ахмед не выдержал и расхохотался. — Ну как не согласиться, что я действительно великий? Все угадываю с полвзгляда.

Котлыбуга спохватывается. Начинает говорить нарочито взволнованно и сбивчиво.

— Великий хан, я узнал случайно... Беда, великий хан! Измена, великий хан! Я — совершенно случайно... Услыхал разговор... Мангут бек и Махмуд везир... Они задумали... Во время охоты... Страшное дело они задумали, негодяи.

— Да понимаю, давно уже понимаю. Значит, Мангут бек, Махмуд везир. Постой, а третий кто? Ты?

— Великий хан! Я всегда был и буду...

— Не ты? Странно. А мне сказали, что ты. Кому верить?

Котлыбуга, едва успев подняться на ноги, вновь падает. На сей раз на колени.

— Великий хан, я готов умереть, если надо...

— Умереть? А что, хорошая мысль. А ежели я сейчас пошлю человека к Мангут беку, чтобы сказать: Котлыбуга продал тебя хану как ишака? Что он с тобой сделает? Сдается мне, он самолично перебьет тебе хребет и бросит в степь на поживу шакалам. У тебя будет время поразмышлять о том, как ты любишь великого хана.

— Великий хан, если я виноват, прикажи казнить. Приму смерть как должное. Но не нужно глумиться над тем, кто предан тебе душой и телом.

— Так ты не боишься смерти? Bravo! Оно и правильно, что ее бояться. Отвечай же, что ж ты замолчал?

И Котлыбуга неожиданно рассмеялся. Сначала вполголоса, затем громко, не таясь.

— А вот, вообразите-ка себе, не боюсь, великий хан, — говорил он, корчась от смеха. — Раньше думал, боюсь, теперь вот нет. Может, просто устал? Я так часто видел, как мутнеют глаза, как пальцы скребут землю, как кровь идет горлом, будто жидкая глина, что временами думаю, что это уже бывало и со мной. Ни одному хитрецу еще не удавалось обвести смерть вокруг пальца. Так что делайте, что пожелаете.

— Вот оно как, — Ахмед задумался. — Ну ступай, коли так, Котлыбуга. Только помни: ты попал в скверную компанию. А в скверной компании никогда не знаешь точно, закончилась охота, или только началась.

— Ты отпускаешь меня? Меня?! — Котлыбуга разом перестал смеяться и выпучил глаза.

— Понимай как знаешь. Не стану объяснять, тебе это будет трудно понять. Ступай, я сказал!.. Хамзат!

Хамзат явился почти мгновенно, суетливый, лоснящийся от пота. Его прямо-таки трясет от усердия.

Где ж он был? Подслушивал. О Всевышний, до чего они все одинаковы. Всегда полагал, что власть должна возноситься, а она почему-то ставит их на четвереньки...

— Хамзат. Ты сделал, что я сказал?

— Я, великий хан, только...

— Не умеешь подслушивать, Хамзат. Запах пота и громкое сопение выдают тебя за версту. Делай, что тебе приказано, живее, а чем подслушивать, подумай о своем будущем. Крепко подумай. Запомни главное: не лезь к волкам с песьим хвостом.

Хамзат дернулся и побагровел, как от удара плетью, глянул на Ахмеда с едва скрытой злобой.

— Вот это я понимаю, — рассмеялся Ахмед. — Таким ты мне больше по душе. Однако теперь ступай и делай, что тебе велено. Это для твоей же пользы. Постарайся не попадаться сегодня мне на глаза.

Сказав это, Ахмед вскочил на коня и пронзительно, по-военному выкрикивая, помчался в сторону реки. Хамзат и Котлыбуга остались одни. Котлыбуга сперва глянул в сторону быстро удаляющегося хана, затем пустым взглядом смерил Хамзата.

— Прощай, великий хан, — сказал он и тихо засмеялся.

— Простите, господин мой, за причиненное неудобство, — начал было Хамзат, однако Котлыбуга его явно не слушал.

Прощай, великий хан, не пойму, что у тебя на уме, да и нет охоты разгадывать загадки. Надеюсь, ты не настолько глуп, чтобы рассчитывать на благодарность? Сколько ни ломал голову, так и не понял, что это такое — благодарность. Это когда ты обязан делать ту же глупость, что и твой враг? Змея, спасенная из огня, жалит злее. Так что воистину прощай, великий хан!

Рыжая, плоскогрудая степь, мертвое неродящее лоно блудницы, где спрятаться тут беглецу? Как уйти от тех, для кого твоя гибель едва ли не дороже собственных жизней? Есть лишь один путь — к реке, вековой хранительнице жизни на земле. Как тогда, много лет назад. Но дойти до реки в изодранном рубище пленника много трудней, нежели в парчовом халате властителя. Да и далеко до нее, а лютые, белые бельма смерти уже вперились тебе в спину. Впрочем, нет, убийцы впереди, они ждут тебя, и ты сам идешь к ним, ибо только так возможно спасти свою жизнь.

— Ты задержался, Котлыбуга, — процедил вполголоса Мангут бек, бросив на него тяжелый, пристальный взгляд. Тот, однако, бровью не повел.

— Очень может быть. Что с того?

— А ничего. Я тебя предупредил. Повторяться не стану. Все готово?

— Разумеется! — захлебываясь радостью, воскликнул Махмуд везир. — Что тут готовится. Луки при себе, головы на месте. Пока во всяком случае, — он захохотал так громко, что остальные недовольно переглянулись. — Сегодня великий день. Народ еще скажет нам... Погодите, да вот, кажется, и хан наш пожаловал. Один. Стало быть, это правда?

Со стороны редкого, вытянутого подковой перелеска быстро приближался всадник, он с коротким свистом осадил своего чалого иноходца неподалеку от охотников. Видя растерянность, громко расхохотался.

— Извините, что прервал беседу. Все на месте! И ты здесь, Котлыбуга? Вах, проворен же ты! Итак, вы сегодня — моя свита. Больше никого. Вот как я доверяю вам, подданные мои! Ну что ж, удачной нам всем охоты!

Развернул коня в сторону глубоких, поросших мелколесьем лоцин, однако вдруг остановился. Замерли, быстро переглянулись и его сопровождающие.

— Эй, Махмуд везир, — крикнул Ахмед, не оборачиваясь. — Мой тебе совет: никогда не говори, что скажет народ. Наверняка ошибешься!

— Благодарю, великий хан. Вы правы, как всегда, — кисло улыбнулся Махмуд везир, испуганно оглядывая спутников.

— Котлыбуга! Тебя погубит доверчивость. Ты решил, что из вас троих самый большой мерзавец — ты. А Махмуд везир опередил тебя!

— Я это непременно учту, великий хан, — прижав руку к груди, Котлыбуга церемонно склонил голову.

— Мангут бек! У тебя дрожат руки, это видно издалека. Это страх или совесть? И то и другое одинаково скверно. Возьми себя в руки!

— Никогда еще не был так спокоен, как сейчас.

— Напрасно. В такой компании жизнь гроша не стоит. Берегись! Ну вперед! Охота началась! Хей-хоп!

Упруго свистнул кнут, всадники одновременно рванулись в стремительный карьер. Густая пыль почти скрыла их.

Охотники мчались по степи. Один и трое. Расстояние между ними не сокращалось, будто они нарочно сговорились. Махмуд везир по-птичьему закурлыкал, хлестнул коня плетью, немного оторвался от своих спутников и начал неторопливо готовить лук.

— Давай, Махмуд везир! — по-прежнему не оборачиваясь, закричал Ахмед, захлебываясь от тугого ветра. — Покажи, что можешь.

Махмуд везир, волнуясь, вложил стрелу, но Ахмед вдруг резко осадил своего иноходца, тот встал как вкопанный, и когда Махмуд везир подскочил ближе, Ахмед развернулся всем корпусом, тотчас его стрела, ухнув, рассекла горячий воздух и глубоко вошла в плечо Махмуд везира. Ахмед пронзительно, победно выкрикнул, а Махмуд везир взвыл, взмахнул руками, стрела его бессильно отлетела в сторону, а сам он завалился на бок и рухнул в пыль.

— Так ты говоришь, не боишься смерти, Котлыбуга? — прорычал, задыхаясь, Ахмед и, отбросив лук, выхватил саблю.

Котлыбуга тоже отбросил лук, потянулся к рукояти сабли, но, поняв, что уже не успеет и, покоряясь судьбе, втянул голову в плечи. Ахмед, однако, не успел ударить, стрела, выпущенная Мангут беком горячо и гулко пропела возле самого его уха. Конь Ахмеда, повинувшись седоку, отпрянул в сторону, Котлыбуга тем временем сумел выхватить наконец саблю, но Ахмед, откинувшись назад ушел от его запоздалого удара и левой рукой, наотмашь со всей силы ударил плетью в лоб его пегую кобылицу. Лошадь пронзительно заржала от боли и пала на колени, сбросив седока наземь. Конь Мангут бека тем временем налетел на него всей грудью, от толчка оба седока едва удержались в седлах. С налету лязгнули сабли. Ахмед с трудом сумел отразить два яростных удара и даже ответным выпадом ранить Мангут бека ниже левой ключицы, но с третьего раза Мангут бек вышиб саблю из его рук, победно гаркнул, однако Ахмед успел быстро развернуть своего иноходца. К реке. За ним, с ходу перескочив через корчащегося в пыли Котлыбугу, помчался Мангут бек.

К реке! — дробно били копыта коня. К реке! — натужно выли ветер в ушах. К ре-ке! — выстукивало его сердце. К реке! — рычал он сам, нещадно погоняя своего ошалевшего скакуна.

Мангут бек несся за ним неотступно, досадуя, что расстояние меж ними понемногу увеличивается. Трижды спускал он тетиву и всякий раз Ахмед за мгновение до того, как коротко всхлипнет тетива, делал неожиданный зигзаг в сторону и стрела уходила мимо. «Шайтан! Окаянный шайтан!» — урчал он, с тоской ощущая, что конь его начинает выдыхаться от бешеной гонки, что на нем лопнула подпруга, да и сам он начинает слабеть от раны.

Ахмед и его преследователь миновали лощину и приблизились наконец к обрывистому берегу Ахтубы. В какой-то момент Мангут бек вовсе потерял Ахмеда из виду. Раздирая в кровь лицо, он промчался через густые заросли ивняка и замер у обрыва. Ахмеда не было нигде. Но этого быть не может. Не шайтан же он в самом деле. Мангут бек, вновь обнажил саблю, соскочил с коня и, морщась от боли в ране, подбежал к обрыву. Там, чуть правее, где склон был более пологий, жадно пил воду из струящегося вниз ручья чалый иноходец хана. Да куда же он...

Тяжелый удар ниже затылка сбросил его вниз, и он перестал ощущать время...

Тяжкая, пульсирующая боль в голове вскоре вернула ему сознание. Он застонал, хотел подняться, но тотчас понял, что связан. Попросту привязан накрепко к толстому, узловатому стволу упавшей сосны.

— Ты жив, я вижу. Значит, я не перестарался, хвала Аллаху.

Мангут бек, гримасничая от боли в темени, скосил глаза вниз и увидел там, возле самой воды, человека. Он был в старом, ветхом халате, сидел на корточках возле воды и что-то чертил ивовым прутиком на мокром песке.

— Эй! Кто ты есть? Подойди сюда!

— Разумеется, подойду, почтенный бек мангутов, — сказал человек и неторопливо поднялся и глянул на него с улыбкой.

— Ты не узнал меня? Это обнадеживает.

— Ты, — с трудом ворочая языком, произнес Мангут бек, — ты — Бирдебек?!

— Ошибаетесь, почтенный. Я не Бирдебек. Звать меня Ахмед, — он церемонно поклонился,

подобрав полы драного халата. — Запомни это имя.

— Так ты... Так это все правда?!

— Что — правда? То, что на троне Великой Орды некоторое время сидел бродяга Ахмед? Истинная правда. Тебя это удручает?

Мангут бек застонал и закрыл глаза.

— Делай свое дело, ублюдок! Делай поскорее!

— Мои родители были порядочными людьми, Мангут бек. Потому не называй меня ублюдком, иначе разговора у нас не выйдет.

— Кончай меня поживее, проклятый пес! — в отчаянии застонал Мангут бек и выгнулся, силясь освободиться.

— Вот это уже лучше. Всегда любил собак, особенно бродячих. А прикончить тебя я мог бы и без всяких разговоров. А ведь я даже перевязал твою рану, если ты заметил.

— Что ты хочешь, проклятый?

— Чего я хочу? Немногого, — он присел рядом. — Хочу исчезнуть. Молчи, не перебивай! Да, я не Бирдебек. Его тело расклевали стервятники. Виноват ли я в его смерти? Не думаю. Мы все смертны, все фигляры в балагане судьбы. Я сыграл свою роль, Бирдебек — свою. Только я подневольно, а он — добровольно. Теперь я хочу вернуться к себе. А к тебе у меня две просьбы. Первая. Ты вернешься во дворец и скажешь, что Бирдебек, то есть я, пропал. Утонул в реке. Покажешь его одежду, — он кивнул на кучку одежды и доспехов, — приведешь его коня. Искать его, полагаю, не станут. Слишком много тех, кто алчет смерть хана.

— Как же я пойду, — Мангут бек щербато усмехнулся, — ежели я связан. Кто меня развяжет? Не ты ли?

— Я и развяжу. Ты против?

— Да нет, не против, просто если ты меня развяжешь, я тебя убью на месте, вот и все.

— Откровенно. И все же я тебя развяжу. Не из жалости или благородства. Если я тебя убью или оставлю умирать связанного, меня наверняка станут разыскивать. И скорее всего сыщут, уж кто, кто, а ищейки-то в нашем отечестве не перевелись. А мне нужно исчезнуть. На то есть особая причина, о ней скажу позже. Видишь ли, тебе не за что меня ненавидеть, Мангут бек. Я убил хана, но ведь и ты хотел его убить. Да, ты высокородный мурза, а я бродяга. Но таковыми нас обоих сделал слепой случай, не более. И потом, глянь в глаза правде, разве ты умнее меня? Нет. Весь ваш заговор гроша не стоил, я бы передумал вас, как птенцов, захоти я того. Товарищи твои, столь же высокородные, — трусливое дерьмо. Разве ты победил меня в бою? Не победил. В чем же ты выше меня? Что есть знатность, ежели она одна, не подкреплена золотом? Ничто. Дрянца с пыльцой, как говаривал мой отец... Однако есть и другая причина, и она — главная. Речь о моей жене. О Ханике.

— Ханике?! — лицо Мангут бека вытянулось. — Но она не твоя жена, если ты еще не забыл.

— Ханике моя жена, — Ахмед сказал тихо и твердо. — Аллах тому свидетель.

— М-да. Что ж ты хочешь от меня?

— Хочу, чтобы ты позаботился о ней, — произнес Ахмед еще тише.

— Да уж я позабочусь, будь уверен, — усмехнулся Мангут бек, хотел сказать еще что-то, но наткнулся на волчий взгляд Ахмеда и осекся.

— От чего ж ты не прихватил свою подружку с собой, коли жить без нее не можешь?

— Нас бы стали искать, и это уж наверняка. И наверняка нашли бы. Страшно подумать, что бы они сделали с ней... — Ахмед помолчал немного. — Мангут бек, я сказал все. Добавить больше мне нечего, разжалобить тебя я не хочу, но пойми, я обратился к тебе, выбрал именно тебя, потому что мне показалось, что ты — мужчина. Все. Сейчас я перережу веревку и пойду, а ты — делай как знаешь. Можешь ударить мне в спину, я оборачиваться не стану... Но убереги Ханике. Много отыщется тех, кто пожелает выместить злобу на ней. И потом, я чувствую нутром: грядет большая смута. Много напрасной крови прольется. Спаси ее. Когда пройдет немного времени, я отыщу тебя, и ежели она будет жива, сделаю для тебя все, что смогу сделать. Не улыбайся, Мангут бек. Еще раз повторю, грядет смута, а во времена смуты золото теряет вес, а ценным становится то, что, возможно, есть у меня, и нет у тебя. А пока — прощай, Мангут бек.

Ахмед нагнулся над сидящим, одним движением рассек веревку кинжалом и отошел на полшага назад.

— А вот кинжал я возьму с собой. Кинжал мне может сгодиться. Думаю, его искать не станут, решат, что он утонул вместе с венценосным владельцем. И еще с десятков медных дирхемов. Это смешно в сравнении с тем, сколько воруют смиренные слуги властителей. Впрочем, кинжал я тебе верну при случае, верь мне.

С этими словами Ахмед всунул кинжал в ножны, бросил в холщовую суму, сбежал вниз и зашагал вдоль самой кромки воды, дабы ленивая, зеленоватая волна поскорее смыла его следы.

Мангут бек глядел ему вслед, затем медленно полез рукой в колчан за стрелой. Ахмед шел, не

оборачиваясь, будто позабыв о нем. Мангут бек сжал стрелу в кулаке так, что она хрустнула, что-то прорывав, отбросил в сторону обломки и, пошатываясь, скрипя зубами от боли, пошел ловить коня Бирдебека.

БЕГЛЕЦ

Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был
И что я презирал, ненавидел, любил.

Арсений Тарковский

Итак, теперь ты Беглец, приятель, а значит, страх должен сидеть у тебя в печенке. Именно в печенке. Почему? Да потому, что когда страх сидит в печенке, голова свободна от него и может соображать спокойно. Если в тебе нет боязни, ты пропал. Если она, эта чертова боязнь, вылезает из печенки и начинает колобродить, — тоже пропал. Ты можешь трижды плевать на закон, когда ты с ним ладишь. Но когда ты с ним не ладишь, ты обязан блюсти его, иначе тебе крышка. Ты решил жить. Хорошее решение. Но когда несколько десятков человек жаждут твоей смерти, и их вряд ли убедишь, что тот, кто именовал себя Бирдебеком, вдруг взял да утонул, предварительно почему-то раздвигшись, одного желанья мало. Потому что месть это чувство, которое стоит меж любовью и ненавистью, а значит, сильнее их обоих. Попробуй уйти от него. Для этого нужны осторожность дичи и чутье охотника. Волк в овечьей шкуре опасен вдвойне, овца в волчьей шкуре вдвойне бессильна. Опасность страшнее тогда, когда не знаешь, в чьем обличье она к тебе заявится. И еще: беглец обречен, если не знает, куда он бежит. Цель, даже призрачная, это все же лучше, чем беспорядочно мечущийся перед глазами горизонт. И тогда я сказал себе: «Север»!

Черная пыль

Лишь когда стемнело, Ахмед осознал, что идет почти без остановок, лишь пару раз — попить воды из ручья. Осознал, что напрочь не думает о недавнем прошлом, о Ханике, о ее жарком лоне. Все это относилось к иному, почти потустороннему миру. Осознал, что он устал, что голоден, что нужно бы думать о ночлеге. Присмотрел небольшую возвышенность на окончании длинной, волнистой песчаной косы, но лишь добравшись до нее увидел, что там уже есть люди. Сперва две пары весел, затем парус и сети, развешанные на кустарнике. Затем — низкорослого, коренастого мужчину с перевязанным глазом. Он сидел на толстой позеленевшей коряге возле маленького, едва горящего костерка. Неподалеку от него вяло шевелил жабрами огромный, зеленовато-серебристый осетр. Мужчина, не переставая вяло ворошить уголья прутиком, поднял на него вопросительный взгляд.

— Куда идешь? Не к нам ли?

— Не к вам. Иду далеко. На север.

— На север? — мужчина округлил глаза, будто услышал нечто удивительное. — И что там, на севере?

— Там мой дом. То есть был мой дом. Нынче — не знаю.

— Это бывает. Я вот с утра из дому ушел, а и то точно не знаю, есть он сейчас, мой дом, или уж нет. А что ж сюда-то забрел, коли на север идешь? Север он вон где, — ткнул, не оборачиваясь, большим пальцем назад.

— Переночевать хотел. Темнеет.

— Темнеет, верно. А почему именно здесь? Переночевать то есть.

Ахмед присел на корточки рядом с ним.

— Путь далек, отец, темнота близко. А переночевать надо.

— Неужто места другого не сыскал? — мужчина глянул на него своим единственным глазом и почему-то сплюнул в костер. — Нет, вообще-то я не против, но в шалаше тебе места не хватит, со мной еще двое сыновей, они тут, неподалеку, — он многозначительно подмигнул. — А возле костра тебя мошкара съест. У нас-то мазь есть, Чура-бабай дал, дай ему бог здоровья. Но на тебя не хватит, самим мало. А без нее к утру у тебя лицо будет как у дохлого сома.

— Ну это я знаю. Ладно, отец, пойду я тогда. Хоть подскажи, где тут поближе есть деревня.

— Как не быть, — мужчина сразу оживился. — Вот по косе на берег выйдешь и шагай, как и шел по течению вверх. Вначале будет Каратузан, его издали видать, он на холме, — мужчина скривился и вновь сплюнул, — но туда не ходи. Пройдешь еще две версты увидишь аул Ике Тирмен. Хороший аул, зажиточный. Там переночевать можно, и с рыбаками договориться. Они и в Каспий ходят тюленей бить, и вверх по Итилю. Иной раз аж до Сарытау доплывают. А Сарытау — это как раз север и есть.

— Хорошо. А что за Каратузан такой? — вдруг заинтересовался Ахмед, уже поднявшись и

вознамерившись уходить. — Слово-то какое — Каратузан*.

— Да уж такое слово. Так в тутошних местах чуму зовут, чтоб ей пропасть. Чума тут была лет пятнадцать назад. Много народу повымерло, спаси-сохрани.

— И что, в честь чумы аул назвали?

— Да не то чтоб в честь. История там какая-то в ту пору приключилась. Темная история. Рассказал бы, да не знаю. И знать не хочу. И тебе бы не надо.

Мужчина кивнул для убедительности и, отвернувшись, побрел к шалашу, давая понять, что полагает беседу законченной.

Однако когда Ахмед зашагал прочь, он вдруг откашлялся и спросил:

— Не тебя ли, добрый человек, разыскивали тут недавно семеро всадников? Сердитые такие. Искали кого-то, так искали, что все у меня тут перевернули. Плохие времена настанут, по всему видать. Вижу, что не тебя. Однако и ты будь поосторожней, им ведь только попади под руку, разбираться не станут. И не рассказывай каждому, куда ты идешь. Север, он не такой большой, как тебе кажется. Сыщут, коли захотят...

Ахмед хотел ему ответить, но тот замахал руками и отвернулся.

Аул, прозванный Каратузаном, возвышался на холме как маленькая крепость. Обычный аул, доносится собачий лай, сонное блеяние овец. На разбойничий притон не похож. Да и что взять с бродяги Ахмеда. За постой заплатит худо-бедно наскребет, вот и все. Все обойдется, ночь коротка, короче свиного крика. Да и не пристало беглецу привередничать в выборе ночлега. А отщепенцу не самое ли место у отщепенцев?

Холм был пологий, длинный, перепаханный неглубокими рытвинами, заросший кустарником. Подумалось вдруг, что жители селения нечасто выбирают за околицу.

Первый дом был явно нежилой, полуразрушенный. Калитка бессильно болталась на одной петле. Во дворе, высоко и густо заросшем пыльной травой, свернувшись, дремала собака, но когда Ахмед отворил калитку, она испуганно вскочила, ошалело заметалась и стремглав бросилась наружу, едва не сбив его с ног.

Зато следующий дом был вполне жилой, причем не бедный. Высокий, замазанный глиной плетень, вымощенная плоским камнем, затайливо изогнутая дорожка к калитке. Ахмед толкнул калитку и вошел.

Двор просторный, округлый, чисто выметенный. Посередине на утрамбованной, как камень, глине сидел худощавый человек с длинными, включенными волосами и комически изогнутым носом. Поодаль, возле открытой двери в дом, стояли, переговариваясь, пятеро мужчин. При появлении Ахмеда все, кроме сидящего, повернули головы в его сторону.

— Мир вам! — громко сказал Ахмед и поклонился.

— И тебе — мира и благополучия, незнакомый человек. — Один из стоящих возле дома, добротню одетый, с кучерявой, рыжеватой бородой, отделился от всех, неторопливо подошел к нему и осторожно осветил лицо чадающим факелом. — Что ж тебя привело сюда в поздний час?

— Да как раз поздний-то час и привел, — Ахмед неловко улыбнулся, шурясь и отворачивая лицо от факела. — Переночевать хотел напроситься. Да у вас, я гляжу, дела какие-то, не до меня.

— Дела. Скорбные дела. Умер хозяин этого дома. Плохо умер! Убил его чужой, злой человек. Седин его не пощадил, дочь сиротой горемычной оставил. Вот какие дела.

— Сохрани Аллах, — Ахмед провел ладонями возле лица, — какое горе. За что же убили несчастного?

— За что? — бородатый глянул удивленно. — А за что убивают. За золото убили.

Ахмед покачал головой. Что-то в тоне курчавобородого ему не понравилось. Очень уж колюче пристальны его глаза, очень распевен голос, будто обращается он не к нему, а разом ко всем, приглашая поучаствовать в каком-то известном покуда ему одному действе. Очень уж мягко и бесшумно ступают его мягкие сафьяновые сапожки. Очень уж звонко и гортанно прозвучало в устах его слово «золото»...

— И что же, нашли того злодея?

— Нет еще. Но найдем, — курчавобородый вдруг усмехнулся и обернулся назад. — Не уйдет изверг от суда правоверных. Ведь так?

Стоящие поодаль согласно закивали и переглянулись. Ахмеду стало вовсе не по себе, он с тоской оглянулся на раскрытую калитку за спиной. Да, за самой спиной, только уж, верно, не поспеть.

— А ты чего же оборачиваешься, странник? Нет ничего позади. Только черная ночь, что явила тебя. Все мы из ночи явлены, в ночь и уйдем. Да ты успокойся, странник, безвинных у нас не трогают. Так ведь, селяне мои? Скажи хоть, откуда и куда идешь?

— Иду на север. Там мой дом. Может, какая родня осталась. Город там есть, Булгар называется.

— Булгар? — курчавобородый пожевал губами. — Нет, не слышал. Я много городов слышал, а Булгара не слышал. А раз не слышал, так и нет его, Булгара твоего. А посему располагайся, гость незванный. Побудь с нами, пока мы правду не проясним.

— Но я, — Ахмед вновь затравленно обернулся, лихорадочно думая, что еще возможно предпринять, — я здесь впервые, клянусь вам! Я шел со стороны Ахтубы, на север, зашел переночевать, вот и все.

Говорил, сознавая, что слова его бесследно вязнут в темной душе, не озаренной сознанием. Да и что он успеет. Шестеро крепких мужчин, у троих топоры, у одного кетмень. Они будто дожидались его. Это обычные селяне, не убийцы, не разбойники. Все, что им нужно, это доделать дело и разойтись по своим семьям.

— Не клянись, странник, пустое это, — курчавобородый кивнул, точно прочтя его мысли. — Слово легче пыли. А у клятвы вообще весу нет. Еще раз повторю, безвинного мы не тронем. А вот давай-ка позовем сюда сиротку горемычную да и спросим. Видишь, как все просто.

С этими словами курчавобородый отошел от него, тяжело ступил на скрипучее крыльцо и, пригнувшись, вошел в низкий дверной проем. Послышался сухой, резкий окрик. В слабо освещенном окне мелькнула его сутулая тень, пропала и вновь мелькнула. Был он там долго, стоящие у двери стали недоуменно переглядываться, глухо лопотать, поглядывая исподлобья на Ахмеда. Но вот наконец курчавобородый вернулся, ведя за руку девочку лет семи по виду. Она была худа, с узким, вытянутым лицом, большими, но ввалившимися глазами. Странное лицо, какое-то не по-детски выразительное. От горя и страха, должно быть. Она даже одета была странно: длинный, немного мешковатый сарафан, голова не покрыта, темные, густые ниже плеч волосы наскоро перехвачены у затылка узким, костяным гребнем. Идет медленно, чуть не на ощупь, словно во сне. Глянула на него в упор пристальным, вдруг странно полыхнувшим взглядом и тотчас равнодушно опустила веки.

— Вот, Лейли. Вот он, этот чужой человек, что я говорил. Подойди поближе к нему. Ближе, я сказал! Признала ли ты в нем того, кто убивал и мучил твоего отца, и тебя едва не убил? — Он с усилием стиснул ее запястье, так, что у нее расширились глаза. — Скажи, не бойся, пока мы здесь, он тебе не страшен. Скажи, и тебе станет легче, это я тебе обещаю.

Девочка глянула на Ахмеда опустевшими глазами умалишенной, опустила длинные ресницы и вновь глянула. «Пропал, — подумал Ахмед. — Сейчас она скажет: ну да, это он. Они ж все тут сумасшедшие, в этом окаянном ауле. Как глупо...»

Девочка, однако, медлила. В какой-то момент Ахмеду показалось, что глаза ее оживились, взгляд на миг стал осмысленным, она даже едва заметно кивнула ему, вернее просто дважды подняла и опустила веки. Но лицо ее тотчас вновь стало недвижимым, взор обессмыслился.

— Ну что, Лейли? — выкрикнул курчавобородый с нетерпеливым раздражением и легонько встряхнул ее, так, что она втянула голову в плечи и зажмурилась.

Однако она продолжала молчать, вновь вперившись в Ахмеда пристальным, слегка закатившимся взором слабоумной. Ахмед перевел дух.

— Бедняга не в себе, — курчавобородый легонько оттолкнул ее в сторону с едва скрытым озлоблением. — Хотя — пережить такое! Ступай, Лейли. Что ж будем делать, селяне?

— Можно, конечно, старика Камая привести, — сказал кто-то в задумчивости, — уж он не ошибется. Да он в последнее время хворает.

Лицо курчавобородого просветлело. Он глянул на Ахмеда почти доброжелательно.

— И верно! И его, и вообще всех, кто не спит. Пусть все видят: мы не разбойники, чтобы судить ночью и тайно. Пойдем все за ним. Дулат! — повелительно крикнул он сидящему посреди двора. Тот лениво приподнял голову и глянул на него с радостной, зубастой улыбкой. — Пригляди за странником. Пригляди, чтоб никто не обидел нашего гостя. Но и чтоб гость не обидел нас неожиданным уходом. Ты ведь понял меня?

Селяне гуськом, словно муравьи, то и дело оборачиваясь, вышли со двора. Все они были странно схожи друг с другом, словно некая незримая сеть связывала их воедино клейменым, порочным родством.

— Мы пошли, — курчавобородый разразился негромким, ухающим смехом. — Не скучай, мы скоро придем и продолжим разговор.

— Иди, — Ахмед глянул на него исподлобья. — Только не оступись. Ночь пасмурная, не расшибись сослепу.

Курчавобородый засмеялся громче и исчез за калиткой. Тот же, кого звали Дулатом, так и остался сидеть, раскорячив по-лягушачьи костлявые колени. В руках у него была дубовая палка длиной в полтора аршина с массивным, окованным медью набалдашником. Другим, заостренным концом, он старательно выводил по глине какие-то знаки, высунув от усердия язык и раскачиваясь, словно вознося молитвы. Иногда его лицо распяливалось в неживой улыбке, и тогда он прятал язык, начинал что-то

бормотать и раскачиваться сильнее.

— О чем твоя песня, Дулат? — спросил Ахмед и шагнул к нему.

Дулат замер, перестал напевать приподнял голову и вперил в него, не переставая улыбаться, внимательные, сузившиеся глаза.

— Отойди от него, странник, — отчетливо и громко услышал он вдруг за спиной, вздрогнул и обернулся. Девочка, доселе неподвижно сидевшая на крыльце, встала и приблизилась к нему без всякой заметной опаски. Глаза ее были строги и внимательны.

— Девочка, — Ахмед просто задохнулся от неожиданности. — Я и не думал ничего дурного, просто...

— Я знаю, — она кивнула. — Просто если б ты сделал еще один шаг, Дулат снес бы тебе голову своим кистенем. Он страшно силен, никогда не промахивается и никого не жалеет. Не знает, что такое, жалеть. Хоть зла в нем и нет. Просто делает, что ему велят. Он считает, что это хорошо. Он слабоумен, а слабоумного трудно обмануть.

— Да я и не думал, — Ахмед глянул на нее с удивлением. — То есть, думал, конечно, но... Но ведь сейчас ты производишь впечатление очень даже разумной девочки. Я бы даже сказал, взрослой девочки.

— Надеюсь, — она усмехнулась. Говорила она странным низким, чуть надорванным голосом. Слова произносила отрывисто, точно желая поскорее от них избавиться. Голос показался отдаленно знакомым, но Ахмед тотчас отогнал эту мысль: с чего может быть знакомой ему эта невесть откуда взявшаяся семилетняя девчонка.

— Ну так скажи им! — Ахмед закричал так громко, что сидящий Дулат замер и обернулся. — Что ж ты молчишь! Скажи этим людям, что я пальцем не трогал ни тебя, ни твоего отца. Что это был не я. Не я ведь?!

— Не кричи. Ну конечно, не ты. Да что толку об этом говорить? Они тоже это знают.

— Тогда почему они, все как один, считают, что именно я убил?

— Ты не понял? Потому что это *они* убили его. На моих глазах.

— М-да, — Ахмед вдруг обессиленно рассмеялся. — Боюсь, мне их не разубедить. Надо как-то выбираться отсюда. Сколько у меня времени?

— Немного. Старик Камай живет в конце аула, ходит медленно, почти не ходит. Но они торопятся. Надо будет, на руках принесут. Так что времени у нас почти нет.

— У нас? Ты что же, — Ахмед пристально глянул на нее, — на моей стороне?

— На чьей же мне быть стороне? Они убьют меня, так же, как и тебя, когда узнают, где отец прятал золото.

— Так золото впрямь было?

— Было. Но мы сейчас теряем время.

— Ты сможешь его отвлечь?

— Я попробую. Если получится. Но ты будь осторожен.

Ах, беглец! Негоже взваливать на плечи чужую судьбу. Неподъемная это ноша.

Девочка встала и, прижав кулачки к лицу, принялась прохаживаться по двору, негромко причитая «А-и-йя! А-и-йя!» Дулат равнодушно следил за нею сонными, точно припорошенными пылью глазами, продолжая чертить свои знаки. Ахмед тем временем незаметно подтянул к себе свою суму, вытащил оттуда кинжал, бесшумно освободил его от ножен и осторожно всунул в рукав. Холодное булатное лезвие мягко и вкрадчиво прильнуло к тыльной стороне его запястья. Думай, Беглец, думай. Дурака трудно обмануть, если относиться к нему как к дураку...

— Дулат!

Видимо, Ахмеду удалось достаточно бесшумно подойти к нему сзади, потому что Дулат вздрогнул, резко обернулся и насутился.

— Дулат, мне нужно по нужде, понимаешь. По малой надобности, — он выразительно хлопнул себя ниже живота. — Один момент, и я вернусь.

Дулат хмуро покачал головой и кивнул в сторону низенького пристройчика в углу двора — туда!

— Дулат, там же нет двери. А тут во дворе девочка-красавица, будущая невеста. Может, твоей младшей женой станет, как подрастет. Ты ведь малый-то хоть куда еще. Как же мне при ней справлять нужду. Пойду хоть за плетень, а? Ну не веришь, так со мной пойдешь.

Ахмед, не сводя с него глаз, осторожно сделал маленький шаг в сторону по-прежнему раскрытой калитки. И тут Дулат в мгновение ока взлетел на ноги, глаза его свирепо блеснули, Ахмед едва успел пригнуться, как словно гудящий ураганный сгусток шумно взвыл над его головой, шевельнув волосы. «Если б не пригнулся, у меня бы уже не было головы, а я бы даже боли не успел почувствовать», —

подумал Ахмед, мельком увидев мертвенно оскаленную челюсть Дулата.

— Туда! — все тем же ровным голосом повторил Дулат и вновь сел, будто потеряв к нему всяческий интерес.

И тут Ахмед по какому-то мгновенному наитию залился тихим, захлебывающимся смехом. Дергаясь от приступов этого смеха, он присел на корточки напротив Дулата и звучно шлепнул себя по ляжкам.

— А ты знаешь, — говорил он, корчась от хохота, — мне уж и не надо. Как ты думаешь, почему? Я уже все сделал.

За спиной в тон ему дребезжащим смехом залилась Лейли. Она топала ногами, показывая пальцем на Ахмеда. Дулат вначале осклабился, затем тоже самодовольно хохотнул. Ахмед замолк на мгновение, утер выступившие от смеха слезы, а потом вновь залился хохотом.

— Я тебе еще другое скажу, Дулат. Мне не только по мелкой нужде не надо, а и по большой тоже. Как-то все разом вышло. Ты еще не почуял это своим длинным носом?

Тут Дулат, высоко запрокинув голову, загоготал и того громче. От него вдруг нестерпимо остро пахнуло потом, и Ахмед, не переставая всхлипывать и постанывать от смеха, опустил украдкой руку вниз, быстро выпростал кинжал, и когда Дулат в избытке чувств взвизгнул и затряс головой, кинулся на него всем телом и ударил кинжалом под левое плечо. Лейли кошкой кинулась на Дулата сзади. Рыча от боли и ярости, Дулат локтем отбросил ее прочь, как щепку, растопырил ладони, хотел схватить Ахмеда за горло, но тот, отпрянув, поднырнул под его чугунные руки и с воплем вогнал кинжал под сосок по самую рукоять, навалился на него всем телом, продолжая бессвязно кричать. Дулат забился у него в руках, как выброшенная на берег рыба, выгибая спину, глаза выкатились из орбит, рот скривился и из него короткими, конвульсивными толчками хлынула кровь. Ахмед хотел зажать его рот ладонью, но тут же понял, что Дулат затих. Издал какой-то тонкий, скулящий звук и затих.

Ахмеда колотила дрожь. Не в силах подняться на ноги, он некоторое время стоял на коленях, будто прося у мертвеца прощения. Затем подполз к нему и едва ли не из последних сил вырвал кинжал из его костенеющей плоти. Кажется, Лейли пришла в себя первой. Она поднялась и, слегка прихрамывая, побежала в сторону хлева.

— Скорее, — шепотом, машинально повторял Ахмед. — Скорее, девочка, сейчас они придут.

Но Лейли тотчас вернулась, ведя за гриву неоседланного, встревожено фыркающего гнедого жеребца.

— Прыгай на него! Прыгай, я сказала! — она глянула на него расширившимися, рассерженными глазами. — Нам своим ходом не уйти. Я придержу, он тебя боится. Совсем молодой... Тургай, солнышко мое, не страшись его, этот человек не сделает нам зла, — шептала она, глядя и целуя жеребца в дрожащие бока, — его Аллах нам послал, истинно говорю, не дрожи, слушайся его, как меня, не гневи Всевышнего...

— Теперь подними меня и посади спереди себя, — сказала она уже повелительно. — Я путь буду показывать.

ТОПЬ

Я понял, что такое ад:

Ад — это бездна без конца и края.

Ахмед Булгари

Они долго ехали молча, изредка Лейли жестом руки указывала, куда надо свернуть. Вскоре тьма стала непроницаемой. Принялся накрапывать дождь, земля, и без того влажная, совсем размякла. Откуда ни возьмись взялась высокая, мясистая трава, чуть не до холки коня. Воздух становился сырым, рыхлым и спертым. Копыта стали чавкать в воде.

— А мы вообще-то куда едем? — прервал он наконец молчание.

— Туда, где нас не отыщут, — ответила она, повернув к нему голову. — В Тумгаклек.

— А нас будут искать?

— А ты думал! Если б ты ушел один, то, пожалуй, не искали бы. Что с тебя взять. А вот коли ты ушел со мной, то станут искать непременно. Потому что вместе со мной ушло и золото.

— Золото? Где ж оно, ваше золото?

— А тебе интересно?

— Нет, неинтересно, — резко ответил Ахмед. — Мне интересно поскорее избавиться от всего этого

и снова пойти своей дорогой.

— Не все сразу, — Лейли нахмурилась, это было видно по ее голосу. — Пока что дай бог нам благополучно добраться до места. Там нас искать не будут, даже если будут точно знать, что мы там.

— Это почему?

— Потому что это — Тумгаклек! Топь, понимаешь? Черная топь, непролазная. Туда никто не суется. Дороги знал только мой отец. Ну и я.

— Много ж ты знаешь, Лейли... для своего возраста.

— А ты знаешь мой возраст?

— Не знаю. Сколько ж тебе лет, Лейли?

— А ты подумай!

Ахмед хотел что-то сказать, но Лейли вдруг схватила его за руку и засунула себе глубоко за ворот. Ахмед почувствовал под ладонью горячую, упругую выпуклость, невольно вскрикнул едва не отдернул руку. Плечи Лейли затряслись от смеха, голова запрокинулась.

— Ты что же, — Лейли медленно повернула к нему лицо, — никогда не слыхал про таких... про таких, как я?

— Слыхал, — Ахмед сглотнул невесть откуда взявшийся тугой, хриплый комок. — Я вообще-то давно это почувствовал, но...

— Эй, ничего ты не почувствовал, — Лейли раздраженно мотнула головой. — Нашелся чувствительный! Да и будет об этом. Хорошо? Мы, если ты так хочешь знать, доходим до Подветренного холма. Там пережидаем до рассвета, потом идем до аула Ике Тирмен. Дальше...

— Дальше я знаю, — оживленно перебил ее Ахмед.

— На север? В Булгар? — Лейли вновь повернулась к нему. — Тебя там ждут?

— Я не из тех людей, кого ждут.

— Даже не знаю, хорошо это или плохо, — сказала Лейли и тут же повелительно вскрикнула: — останови коня! Дальше своим ходом идем, ему не пройти.

Ахмед послушно слез с коня. Затем осторожно снял Лейли. «Кто бы мог подумать, — непроизвольно мелькнула вдруг мысль, когда он, легко держал ее на весу, невольно задержав, — вроде, девчонка девчонкой. А ведь действительно, женщина. И даже...»

Лейли, будто прочитав его мысли, глянула на него исподлобья, спрыгнула на землю, оправилась и принялась, что-то разыскивать в зарослях тальника. Дождь усилился, липкий болотный холод дополз до самого нутра. Наконец Лейли добралась до большого засохшего дерева, пошарила в его дупле и извлекла на свет два больших, прочных шеста.

— Вот, — радостно сказала она и — хоп! — бросила один из шестов Ахмеду. — Сейчас иди за мной: куда я шажок, туда ты шажок. Гляди под ноги, если в топь не хочешь уйти. Не торопись, нам торопиться некуда. Сейчас я у тебя хозяйка, главней меня нету. Так вышло, странник.

Лейли повернулась к жеребцу.

— Тургай, птичка, деточка моя рыжая. Иди сейчас домой, — причитала она, обнимая его нервно подергивающиеся ноги. — До-мой, Тургай! И не бойся, я тебя не брошу, Аллах свидетель. Заберу оттуда, как-нибудь заберу, с ними ты не останешься. Иди!

Она хлопнула его маленькой, перепачканной грязью ладонью по боку. И жеребец, недоверчиво косясь и боязливо прижав уши, повернулся и побрел назад, сперва шагом, затем мелкой, шлепающей рысцой.

Ахмед не помнил, сколько они шли. С усилием давался каждый шаг. Скоро у него начала кружиться голова, в глазах нестерпимо, до тошноты зарябило. Несмотря на холод, он обильно истекал потом. Порой хотелось взмолиться, чтобы Лейли остановилась хоть на миг, но та все шла мелким паучьим шагом, невесть как отыскивая в густом месиве травы и грязи тот единственный, узкий, спасительный путь. Вскоре он почувствовал, что задыхается. В этой мерзкой, хлюпающей бездне, кажется, совсем не осталось воздуха. Лишь смрадная, спертая отрыжка трясины.

— Потерпи, скоро придем, — произнесла наконец Лейли, не оборачиваясь. Голос ее был спокоен и тверд. — Это камыш. Он питается грязью и выдыхает грязь. Тяжело, я знаю.

Ахмед мрачно кивнул. Стало, как ни странно, легче. Да и дорога заметно пошла вверх, под ногами влажно захрустел мелкий, рассыпчатый гравий, Лейли ступала уже уверенней. Наконец возле корявой ивы с полуобгоревшим стволом она вдруг остановилась, так, что Ахмед едва не налетел на нее. Она тихо, облегченно рассмеялась.

— Вот мы почти и пришли, странник. Все-таки дошла.

— Куда? — недоверчиво спросил Ахмед.

— Туда, где переночевать можно. На Подветренный холм. А наутро — в Ике Тирмен. Ты доволен? Они миновали илистые, заросшие осокой наносы, прошли череду колючего кустарника и очутились возле небольшого, но вполне прочного строения из тонких бревен, и крышей из свалывшейся, замшелой соломы.

В доме под потолком висели вязанки сухого хвороста. Ахмед снял две из них и Лейли быстро растопила небольшую, сложенную из желтого камня печь. На огне вскипятила котелок воды, бросила туда горсть мяты, чабреца, каких-то сушеных ягод. Из кожаной сумки она вытащила сухую просяную лепешку, разломала и протянула большую часть Ахмеду.

— Ешь, странник, — и добавила, усмехнувшись: — Ты — большой. Тебе и часть большая.

От тепла и сытости Ахмед немного сомлел. Он, жмурясь, протянул к огню грязные босые ступни. Отрывистый треск ярко полыхающего хвороста, живая пляска огня, кольшущиеся черно-желтые тени на потолке исподволь погружали его в зыбкую дремоту. Лейли сидела чуть поодаль. Порой она исподволь разглядывала его из-под ресниц, закрывала глаза, словно осмысливая увиденное или силясь вспомнить что-то иное.

— Так ты не ответил, странник, что тебя так тянет в Булгар, — Лейли спросила по обыкновению отрывисто, так, что он вздрогнул и заморгал воспаленными веками. — Там у тебя нет дома, нет родни, как я поняла. Что ты там хочешь найти? Обломок отцовского весла? Чужих людей, у которых свои заботы, и для которых мало интересны твои мытарства?

— Я там родился.

— Что с того? И я родилась в этом окаянном Каратузане, но меня туда не заманишь. И дело не только в том, что произошло нынче ночью...

— Вообще-то мне просто нужно переждать время. Вот я и подумал, что лучше это сделать, там, откуда ты родом.

Лейли пожала плечами и вдруг спросила вновь резко и напрямик:

— Ты беглец, верно?

— Ну вроде того, — неохотно ответил Ахмед, глянув на нее с неудовольствием.

— А раз беглец, и пересидеть надо, так отчего далеко бежать? Там, вдалеке, тоже может напасть приключиться. От напастей родные пепелища не спасают. Как ни беги, судьба догонит.

— Складно говоришь. У вас в Каратузане все так складно изъясняются? — вновь зло ощерился Ахмед, вспомнив того курчавобородого. Затем спросил, уже помягче, желая заодно переменить тему: — А, кстати, вы сами-то свой аул как называете? Не Каратузан же?

— Да никак не называем. А зачем его называть? Медведь живет себе в лесу и никак себя не называет. Так и мы.

— А слово откуда это пошло, Каратузан?

— А ты не знаешь? Давно это было, я еще не родилась. Был тут аул, большой, богатый. Вот жили, жили, и пришла чума. Полдеревни повымерло. А потом нагрянуло войско. Сказали: хан Джанибек повелел всех здоровых людей из чумных аулов гнать в степь. И погнали. Когда чума ушла, люди вернулись в аул, а в их домах другие люди живут. Те к властям, а новые жители властям загодя приплатили, власть она ведь на то и власть, чтобы ее уважали. Вот они и уважили. Прежние жители пробовали силой дома свои отбить, да опять же войско пришло, кого-то порубили, прочих опять плетью погнали в степь. В общем, одна чума ушла, другая пожаловала. Те, кто уцелел, переселились в аул Ике Тирмен, там им землю дали. Мать моя оттуда родом была. Как раз из семьи переселенцев.

— Как же ее отдали в Каратузан в жены после всего, что случилось? — удивленно спросил Ахмед.

— А этого я не знаю. Мать не рассказывала. Перед смертью хотела рассказать, да отец не дал, — ответила Лейли и, помолчав, добавила: — Если хочешь спать, ложись на нары да и спи. Я еще посижу немного.

Ахмед смущенно кивнул, полез на нары и сладостно вытянул ноющую спину. Старая кошма, пахнувшая пылью, древесной трухой и гнилой овчиной, показалась ему лучшим ложем. Сквозь налезавшую вновь дрему он услышал, как Лейли подбросила в угасающую печь хворост, и она тотчас отозвалась веселым гудом и пляшущими бликами на дощатом, щелястом потолке. Ахмед закрыл глаза, свернулся по обыкновению калачом, но первая волна забытья как-то вдруг схлынула. Он приподнялся на локте.

— Лейли, а ты сама-то куда пойдешь, в Ике Тирмен?

— Я думала, ты уже спишь. Ну конечно, в Ике Тирмен. Куда еще. Там мой дед еще живой, родня. Мать бы мою он не принял, пожалуй, а меня-то примет. Ты бы, между прочим... тоже мог там остаться.

— Мне-то там с чего? — удивился Ахмед.

— Остаться со мной, — Лейли подняла на него большие, темные глаза, отблески пламени дрожали в зрачках и на ресницах. — Такое бывает, я слышала, — торопливо добавила она. — У... таких, как я, рождаются нормальные, *высокие* дети. Не перебивай. Если позволит мулла, ты бы мог потом взять вторую жену. Моя двоюродная сестра Айша просто красавица. Ты стал бы богатым человеком, странник. Золота у меня достаточно.

— Лейли, если б ты знала, сколько золота у меня было в руках не далее как вчера утром. Ты не поверишь, но это было так.

— Отчего не поверить. Я ведь разглядела твой кинжал, — Лейли вновь пристально глянула на него. — В одной рукоятке драгоценностей столько, что хватило бы на целую жизнь. Я не спрашиваю, откуда он у тебя.

— Не спрашивай.

— Ты не хочешь мне рассказать, кто ты и что с тобой приключилось?

— Не хочу. Не потому, что не доверяю. Я, может, никому так не доверял, как тебе сейчас. Но есть вещи, которые безопаснее не знать. Что касается... Видишь ли, у меня есть жена. Она меня ждет и я должен вернуться к ней. Не стану тебе ничего о ней говорить все по той же причине.

— Не надо. Забудь о том, что я сказала. Ты спас мне жизнь, того и довольно. Не то чтобы я уж так хотела жить, но принимать ту смерть, которую мне готовили — мерзость. А в Ике Тирмене тебе помогут, это я обещаю. Спи, завтра надо засветло встать, чтоб к утру дойти до аула.

Ахмед кивнул и вновь повернулся набок, свернулся. Сон не шел, несмотря на усталость. Бессильно кружил вокруг сознания, не в силах войти. Ахмед слышал, как Лейли с трудом полезла на нары, хотел помочь, да отчего-то раздумал. Лишь задышал ровно, чтоб было похоже, что он спит.

— Странник. Я ведь знаю, что ты не спишь, — сказала вдруг Лейли, которая наконец устроилась возле противоположной стены. — Я хотела тебе рассказать одну вещь. Не хочешь слушать, спи, я все равно расскажу, потому что больше никому не рассказывала, да и не стану.

Ахмед забормотал нарочито невнятно, словно со сна. Не нужны ему сейчас твои сокровенности, со своими бы разобраться. Ночь бы переждать, дойти до того аула, а уж там опять — руки, ноги, голова. Нельзя сейчас обвешиваться чужими болячками, как песий хвост репьями. У каждого своя стезя, а у беглеца — тем более. Так-то, милая Лейли... И, странно, захотелось вдруг погладить по голове это удивительное существо, полуженщину, полудитя. Просто погладить.

— Ты знаешь, странник, мне ведь тоже пришлось однажды спасти человека, — говорила Лейли. Не глядя на нее, он почему-то ясно видел, что она лежит на спине, закинув голые руки за голову. — Может, он и сейчас еще жив. Мне тогда еще было лет двенадцать. Мой отец с братьями тогда занимались... очень скверным делом. Понимаешь, они воровали людей. Я только потом это поняла. Братья выходили на реку возле селений, таились в кустах и ждали. Хватали детей, молодых женщин, иногда мужчин. Потом прятали несколько дней в яме, а затем везли на телегах в мешках в условленное место и продавали перекупщикам. Я не знала тогда, чем они занимались, мне просто очень не нравились их разговоры, какие-то непонятные, злые. И потом братья отца — они мазали для верткости тела жиром тюленя, от них так ужасно пахло. И еще в том месте было много змей, я их очень боялась. Помню, я плакала, просилась домой. И вот как-то они притащили в кочевье одного человека. Я не успела хорошенько его разглядеть. Видно, он сопротивлялся и причинил им боль, они привязали его к дереву и хлестали камчой. Я просила отпустить его, а братья смеялись и говорили: давай оставим парня себе, будет мужем для нашей Лейли. Я и поверила. Я просто очень хотела, чтобы у меня когда-нибудь был муж и дети. Ты спишь, странник?

Ахмед плотно, до радужных бликов зажмурил глаза и стиснул зубы, чтобы не сказать что-нибудь невзначай. Сам не понимал почему. Слово кто-то повелительно нашептал ему: надо молчать, и он молчал.

— Спишь? — Лейли вздохнула. — Ну так и спи. Я все равно доскажу. В чужом доме, говорят, сон чуток. Той ночью отец и братья опились черной калмыцкой бузой и заснули. И я решила взглянуть на пленника поближе, коли уж он мой. Я подошла и увидела, что он связан так туго, что веревки глубоко впились в его тело. И я решила освободить его, ведь он — мой, думала я, а раз уж мой, ему не должно быть больно. А когда перерезала веревки, вдруг ясно поняла, что моим ему не быть никогда. Просто не быть и все. И я сказала: «иди и не оборачивайся». Почему? Я боялась, что, увидев его лицо, я не захочу его отпускать и разбужу отца и дядьев, будь они прокляты. Вот почему. Под утро отец и его братья поднялись, увидели, что пленник сбежал, ругались и кричали друг на друга. На меня никто не подумал. Вот и вся история. О ней никто не знает и не узнает никогда. Все-таки жаль, что ты спишь, странник...

Ахмеду впервые за много лет мучительно, до судорожного вопля захотелось плакать. Он вдруг стал шумно задыхаться, как там, на болоте. И тогда маленькая рука легла ему на голову, он услышал тихий удивительно теплый шепот возле уха: «спи спокойно». И он уснул.

В полуоткрытую дверь струился жидкий предутренний свет. Тянуло холодом, хотя в печи еще местами переливались алые с проседью угольки. Ахмед зябко потянулся и сел на нарах. Слышно было, как Лейли возится возле двери. Он сошел с нар, отхлебнул из котелка вчерашний еще теплый, горьковатый отвар и вышел из дома. Над болотом пластом стоял густой туман, в едва подсвеченном с востока небе слабо угадывались редкие звезды. Луны не было видно, но отблеск ее желтой чешуей колыхался в темных прорехах воды между кочек. Роса была такой обильной, будто только что прошел сильный, долгий ливень. Лейли неторопливо возилась с какими-то сумками и, завидев его, коротко кивнула.

— Уже собралась тебя будить, — сказала она, глядя в сторону. — Наверное, пора идти. Туман едва ли скоро рассеется.

— Идти далеко? — коротко спросил Ахмед, тоже почему-то стараясь не глядеть на нее.

— Нет. Поменьше, чем вчера. Если б только не туман. Ну да ладно.

Она протянула ему шест и указала пальцем на небольшую холщовую котомку.

— Возьми ее, странник. Я пойду впереди, мне она будет тяжела.

Ахмед поднял котомку, она впрямь была тяжеловата.

— Это что, и есть твое золото, Лейли?

— Хоть бы и так. Тебе ж это неинтересно?

— Неинтересно, — Ахмед взвалил котомку на плечи. — Идем?

И вновь тяжелые, вязкие шаги след в след. Тоскливый трепет перед смрадной, осклизлой бездной, тяжкая стукотня в висках, сбивчивое дыхание и холод во внутренностях. Ахмеду казалось, что они прошли целую вечность, но на всякую попытку задать вопрос Лейли предостерегающе вскидывала руку и он покорно замолкал. Возле засохшей, расщепленной молнией ивы Лейли замерла, вода, как слепец, шестом по траве.

— Что еще там? — спросил наконец Ахмед.

— Погоди, — Лейли ответила не сразу. — Посмотри-ка повнимательней вон туда, — она вскинула руку и ткнула пальцем в бурое туманное месиво впереди. — Ничего не видишь?

— А что мне там видеть? Трава да кусты.

— Там на сучке череп должен был висеть лошадиный. Не видишь?

Ахмед вперился в колышущуюся муть. Ничего похожего.

— Плохо странник, — ее заметно передернуло. — Самое гиблое место. Я уж думала, пришли и вот тебе пожалуйста. Ну не назад же идти. Придется самим путь искать, храни нас Аллах.

Ахмед хотел что-то пошутить по этому поводу, да передумал. Слишком уж заметно дрожал голос у всегда спокойной Лейли.

— Так, — к Лейли, похоже, вновь вернулось самообладание. — Ну-ка дай мне назад мою котомку. Сама понесу.

— Не доверяешь? — усмехнулся было Ахмед, но осекся.

— Место гиблое. Совсем гиблое, — холодно и сосредоточенно повторила Лейли. — Ты слишком тяжел. Там, где я пройду, ты можешь не пройти. А с грузом тем более. Молчи. Топь пересудов не любит.

И вновь шаги растянулись в вечность. Лейли так долго, сосредоточенно тыкала впереди себя шестом, что Ахмеду хотелось подтолкнуть ее вперед. Ведь вон она, возвышенность, уже проглядывает в мутно-белесой дымке. Всего-то сотня шагов, там можно уже идти спокойно, легко, вольготно, без предостережений и окриков. Вот еще один шаг, осторожный, смачно гнилостный. Земля подло пружинит под ступней, из глубины преисподней обильно пенятся черные пузыри. Тонка и хлипкая травяная подстилка, дальше нельзя, назад!

— Назад! — кричит он, теряя самообладание

Лейли послушно попятилась, ошалело тыча вокруг себя шестом.

— Не туда мы, кажется, зашли, — голос Ахмеда срывается на шепот.

— Не туда, верно, — так же, шепотом вторит Лейли, непроизвольно по-детски вцепившись ему в руку.

Запнулась вдруг о зеленое, полуистлевшее корневище, охнула, качнулась и тотчас прорвалась под нею зыбкая подстилка, обнажив черную, гибельную полынью. Ахмед схватил ее сзади за котомку, но тут разорвалась полусгнившая лямка. Ахмед, выругавшись, сорвал с нее чертову котомку, отшвырнул назад, вытянул Лейли за плечи из чмокающей нечисти, но тотчас сам оступился, рухнул плашмя.

— Назад! — вновь выкрикнул он севшим голосом, подтолкнув ее рукой для верности.

И она поползла на четвереньках назад, стараясь поддеть рукой уже вязнущую в трясине котомку. Выловила наконец, отбросила на твердое, надежное место, повернулась и истошно, по-звериному вскрикнула, увидев ушедшего по самую грудь в топь Ахмеда.

Она легла плашмя на живот и ползком, как ящерица, поползла к нему. Протянула ему ладонь и тотчас поняла, что помочь ему не сможет. Топь вбирала его в себя привычно и жадно, как гигантское, медузобразное плотоядное чудище. Он ушел уже по самые плечи.

— Лейли! — крикнул он осиплым, давленным голосом, — уходи отсюда! Уходи! Ты ничего не сможешь!

Лейли вновь пронзительно вскрикнула и вдруг метнулась назад к котомке. Не переставая кричать, выкрикивать проклятия, развязала ее и, лихорадочно нащупав, вытащила оттуда длинный пастуший кнут. Когда она вернулась, Ахмед уже захлебывался, ряска была выше подбородка. Лейли вновь, уже без всякой осторожности, подползла к нему.

— Держи! Держи скорее! — Лейли сунула ему в руку кнотовище, затейливо изогнутое в виде турьего рога.

Ахмед рванулся, впился в кнотовище коченеющей пятерней, однако топь, словно заподозрив неладное, торопливо втянула его почти уже по самую макушку. Тогда Лейли кошкой метнулась вбок, взлетела на вздыбленное корневище упавшего дерева, обвила несколько раз жало кнута вокруг самого толстого, черного корня и уцепилась за конец.

— Тяни!!! На себя тяни! — закричала она, срываясь на шепот.

Кнут тотчас натянулся как струна, и над ряской показалось лицо с дико вытаращенными глазами. Фонтан водянистой грязи шумно выплеснулся у него изо рта. Ахмед хотел глотнуть воздуха, но вместо вдоха издал какой-то визгливый горловой клекот и вновь изверг сгустки болотной мрази. Лишь с четвертого раза удался ему свистящий, обезумевший вдох. Он побагровел от натуги, с утробным рычанием сделал отчаянное усилие. Студенистая глотка топи упорно не желала его отпустить.

— Отдохни, — сорванным голосом просипела Лейли. — Только недолго. Грязь загустеет и тогда совсем не выпустит.

Ахмед, тяжело дыша, кивнул, затем крепко зажмурился.

— А-а-ы-ы! — взревел он, мучительно оскалившись и задрал голову вверх.

Кнут вновь натянулся да так, что прогнулось корневище. Ахмед подался вперед всем корпусом, со стоном высасывая себя из трясины. Когда показались плечи, Лейли еще раз обернула кнут вокруг корня. Ахмед почувствовал, что ему становится легче. Еще одно режущее, хрипящее усилие, и он ухватился рукой за корень обеими руками и вытянул себя по пояс. Лейли пыталась схватить его за руку, но он мотнул головой.

— Не надо. Стой, где стоишь. Я сам...

Потом он долго, отрешенно сидел, привалившись спиной к корневищу, тяжело, со всхрапыванием дыша и плохо слыша восторженные причитания Лейли, порой задремывал, однако понимал одно: надо идти дальше, но идти дальше у него нет сил. Ну совсем нет. Грязь жирными ошметками стекала с его лица, не было ни сил, ни желания просто протереть лицо. Он пытался вспомнить нечто важное, что хотел сказать Лейли еще мгновение назад, но оно выскользнуло из памяти.

— Надо идти, — сказал он не очень убедительно и испытал облегчение, когда Лейли отрицательно качнула головой.

— А что будем делать? — спросил он и с тайной надеждой глянул на нее, будто она могла придумать нечто такое, что позволило бы им уйти отсюда, минуя гибельную топь.

— Сейчас мы вернемся назад, — твердо сказала она и он тотчас удовлетворенно кивнул. И тут же спохватился:

— Это еще почему?

— Ты идти не можешь. Я это чувствую.

Ахмед мотнул головой, не соглашаясь, взял непослушными руками в руки шест и со стоном поднялся. Боль, таившаяся в спине, поднялась выше и лопнула, как болотный пузырь. Его тотчас вырвало, густо и протяжно. Боль, расверлив его судорожно съезжившуюся утробу, вынырнула на сей раз возле груди. И грудь содрогнулась от дикого, раздражающего кашля. Дух жирной гнили рвался наружу, но он боялся нового прилива рвоты, потому что боль могла, казалось, попросту убить его. Он широко, по-рыбьи, раскрыл рот и заглотнул воздух. Стало чуть легче.

— Пойдем, странник, — изнеможенно всхлипывая, сказала Лейли. — Пойдем назад.

— Назад? — переспросил он, отчаянно кривя рот, дабы задавить в себе рвущие тело спазмы.

— Назад, — кивнула Лейли и, поднырнув под его плечо, помогла ему выпрямиться. — Ты подождешь меня там, я дойду сама, потом мы как-нибудь заберем тебя. Другого выхода нет. У тебя,

кажется, болотная лихорадка. Это плохо.

Ахмед кивнул и тут вдруг вспомнил, что он хотел ей сказать несколько минут назад. Нужно только постараться выговорить это, правильно расставить слова и не задохнуться при этом.

— Лейли. Я видел. Там. Где дерево. Голое совсем. Дерево. Почти без сучьев. И без коры. Один ствол, тонкий. И черный. Как пика. Там этот череп. Я видел. Лошадиный. Просто сучок обломился и он упал. Череп. Просто сучок обломился. Я видел. Ты пошла левее, а надо было...

— Я знаю, — Лейли кивнула и улыбнулась сквозь слезы. — Я тоже видела. Я теперь отыщу дорогу. А сейчас — пойдем назад.

ИСХОД

Я — был.

Вот все, что может с уверенностью
сказать о себе человек.

Ахмед Булгари

В доме Лейли уговорами и криками заставила его выпить целый чугунок теплой воды. И его вновь рвало прямо на пол, он катался по полу, с проклятьями раздирая себе грудь, рвало, пока нутро его не стало извергать клейкие сгустки нестерпимо горькой кровавой желчи. Тогда Лейли отбросила чугунок и с трудом помогла ему взобраться на нары. Ахмед сначала сел, отплевываясь и глядя перед собой неподвижно и бессмысленно, затем без сил, неловко откинулся на локти и на спину, и тут же боль, что перекатывалась в нем раскаленным ядром, растеклась по всему телу. Стало непереносимо жарко. Он отдаленно слышал голос Лейли, хотел, как рыба, хватая воздух, сказать ей, чтобы она принесла ему немедленно его парадную сбрую с пластиной черного серебра с чеканной надписью на персидском: «Да воссияет вящая мудрость Всевышнего во веки веков», но понял, что это нелепость, хотел сказать, чтобы она была осторожна, но, открыв глаза, увидел, что Лейли уже нет рядом с ним, зато прямо напротив сидит Курчавобородый. «Не тронь ее, Курчавобородый, — произнес Ахмед удивительно легко и гулко. — Тебе ведь нужно золото, так оно — там, в сумке возле большого корневища на болоте. Ты его узнаешь, это корневище, оно похоже на огромного черного тарантула». Однако Курчавобородый беззвучно рассмеялся, качнул головой и, приникнув ближе, сказал неприятным шепотом в самое ухо: «Нет там никакого золота. То, что было, то утонуло вместе с сумкой. Болотный дух забрал его взамен тебя, понимаешь? Ты ведь многих людей убил, странник. Кого сам, кого чужими руками. А ведь за все платить надобно. И нам, и тебе. Вот тем золотом ты с топью и расплатился. А мне чем платить прикажешь? Грязь, говорят, к грязи льнет. Да и не нужно мне теперь твое золото. И ничего уже не нужно. Ты прав был: ночь нынче пасмурная...» Ахмед хотел перевернуться на бок, дабы не видеть и не слышать Курчавобородого, его жирный, торопливый говорок, однако тело его было словно туго спеленатым, как кокон, да и Курчавобородый, пятясь и прижимая ладони к груди, исчез за дверью.

Боль не ушла, даже не ослабла, но она стала его составной частью. Она растворилась в горячей волне, что понесла его по ветвистым каналам бреда. Он понимал, вернее догадывался, что все эти воспаленные видения не имеют отношения к реальности, что сам он, мокрый от пота, перемешанного с грязью, лежит распластаный на нарах и взирает на все с ленивым любопытством соглядатая. Он скользил по своей минувшей жизни, что представляла пред ним в уродливо туманном обличье. Он пытался увидеть Ханике, но она не пожелала выйти из туманной завесы. «Все ложь, — услышал он собственный голос. — Ты все придумал. Тебе нужно было создать опору в этом месиве абсурда и ты создал ее, и для удобства назвал любовью. Абсурд миновал, миновала и любовь».

Он видел лики убитых им людей, от того перса с обвислыми, залитыми кровавой слюной усами, на скаку проколотого им пикой на первой войне, до придурковатого, звероподобного Дулата, однако не испытывал раскаяния, хоть и желал его испытать, ибо все они, глядя на него, из пустоты, жалели лишь, что не они убили его. Он осознавал безумную порочность этой схемы, но не знал, что ей возможно противопоставить.

Он парил над собственной судьбой на упругих волнах жара. Он попытался увидеть свой город, но не мог. Может, и впрямь не было его никогда?

На какой-то момент горячка ослабла, наступила тишина, вязкая и бездонная, как трясына. Редкие сполохи ветра в камышах и глухое уханье выпи лишь подчеркивало эту тишину. Когда ушла Лейли? Кажется, недавно. Значит, она еще там. Каково ей одной среди уродливых, безруких деревьев, ускользать от беззубой, шамкающей пасти трясыны. Он напрягся и сел. Головокружение тут же плавно качнуло его в сторону, но он удержался. На карачках подполз к краю нар, хотел спуститься, но рука вдруг потеряла опору, он упал вниз и до крови рассек подбородок о край опрокинутой табуретки, однако боли не почувствовал, вернее, другая боль, располосовавшая нутро, задушила ее. Наступила

тьма, и была она такой густой, что казалась наполненной радужными бликами.

Потом в мертвую зыбь бреда бесцеремонно вмешалось нечто инородное. Пространство заполнилось голосами, живыми и грубыми. Он услышал тонкий и торопливый голос Лейли, с усилием поднял пунцовую, пылающую голову, что-то произнес задушенным, каркающим голосом, нечто бессмысленное, но знакомые птичьи, неизъяснимо прохладные ладони, легли ему на виски, и все стало ясно.

Пространство сузилось до тесной норы. Потом вовсе исчезло.

Рыхлое, впалое тело пустыни. Солнца нет, нет и тьмы. Ни день, ни ночь. Слабый, рассеянный свет идет не сверху а будто со всех сторон. Под ногами песок, мелкий, бархатисто зыбучий, ступни вязнут по щиколотку, однако идти легко. Он ощущал внутри себя едва заметные отголоски той, когда-то душившей и рвавшей его боли, но понимал, что с каждым шагом он все более отделяется от ее воспаленных щупалец.

Он не сразу заметил, что находится в этой бескрайней, бесплодной пустоши не один, что вокруг него, сколько хватало глаз, много людей. Наверное, сверху это похоже на гигантское муравьиное нашествие, подумалось ему. Где-то впереди редкими сполохами пульсировал мягкий, желтоватый, куполообразный свет, и все эти люди шли именно туда.

Он никогда здесь не был и быть не мог, не ведал, как сюда попал, но не задавал себе вопросов. Все было естественно и понятно. И люди, что шагали неподалеку, шли так же, как и он, не удивляясь, не негодуя, не радуясь, хотя, как и он, решительно не понимали, куда и зачем они идут.

Вскоре некто, шагавший впереди него, вдруг обернулся и что-то тотчас выбило его из того умиротворенного равновесия, в котором он пребывал. Он захотел догнать его, но не мог, хотя человек тот шел неторопливо, не прибавляя шагу. Жесткий, неторопливый ритм движения был, похоже, здесь един для всех. И когда он, осознав это, решил забыть об идущем впереди, тот вдруг остановился, обернулся, и он узнал его...

— Вот мы и встретились снова. Признаться, думал, что это случится раньше.

— Знаешь, я был уверен, что первым, кого встречу, будешь ты. Так ты ждал меня?

— Ждал? Здесь никто никого не ждет. Ожидание — это прикосновение к времени, а здесь его не существует.

— Однако ты остановился. Значит, все же ждал.

— Ты хотел вернуться к себе самому. Думал, это возможно. Но судьба все расставила по местам. Нельзя вернуться к тому, кого нет. Бродяги Ахмеда давно нет. Ты сам убил его.

— Это не я убил. Это ты.

— Я? Неправда. Я лишь открыл другого Ахмеда. Сам того не желая, правда. Видишь ли, человек не кукла. В нем есть все. Ты был бродягой, стихотворцем, бабником и балагуром. Я лишь показал тебе, что это не совсем так. Оказалось, что мы похожи не только наружно.

— Человек не кукла, верно. Кто ж тебе сказал, что ты волен потрошить человеческие души, как пернатые чучела? Кто тебя убедил, что тебе дозволено ломать людей через колено, чтобы потом торжествующе возопить: глядите, они ничуть не лучше меня! Кто дал право...

— О чем ты говоришь! Какое право? Никто вообще не дает никому никакого права! Оно, это право, приходит само собой, уж ты-то должен теперь понимать! И, я тебе скажу, не такое оно приятное, это право.

— Ну да! Никто так не любит пожаловаться на тяготы судьбы, как властители. Разве что тяжелобольные. Только они с удовольствием сменили бы свой удел, а вот властители не торопятся его менять.

— О, да ты зол, Ахмед. Ничего, это пройдет. Тут все проходит. И потом ты все же реши, кого именно ты ненавидишь, меня или себя

— Я не смог жить с этим. А ты — жил.

— Откуда тебе знать! Тебе нечего возразить, Ахмед. Потому что ты давно отрекся от себя.

— Не тебе меня судить. И я буду помянут как бродяга Ахмед, или вообще никак, а ты — как Бирдебек жестокосердный. И только так!

— Возможно. Только это ничего не меняет. Людская молва — как пыль, легковесна и надоедлива. Забвение. Вот лучшая кара. И лучшая награда. Мне осталась еще пара сотен шагов дотуда, — он махнул рукой в сторону сияния, которое вдруг разгорелось сильнее, и даже обозначились какие-то расплывчатые контуры. — Но там мы уже не встретимся. Там никто ни с кем не встречается. Там все

иное. А тебе еще придется побыть здесь. И пойми, главное здесь заключается в том...

— Что ж ты замолк? Договаривай.

— Ничего, — он вдруг глянул куда-то поверх его головы. — Кажется, тебе еще рановато об этом знать. Тебя ждут с другой стороны.

Не договорив, он отвернулся и зашагал, не оборачиваясь вперед, в сторону того неясного свечения.

— Что?! Где это — с другой стороны? — закричал он, понимая, что уже не получит ответа.

Закричал, потому что душа его восставала против того, чтобы возвращаться сейчас в тот мир спазмов и конвульсий, бреда и обморочного шума в ушах. Но все его существо вдруг обмякло, отяжелело, уже забытые озноб и тошнотворное головокружение вновь подхватили его...

«Хвала Аллаху», — с удивлением услышал он со стороны чей-то тихий, усталый голос, так и не поняв, к кому это относится. Его искромсанным болью тело вновь неохотно принимало душу. Он сделал обширный, ясный вдох, душа возвращалась в тело осторожно и боязливо, так жилец входит в дом после долгого наводнения.

И вместе с ней пришел холод, колким сквозняком. Однако все это вместе: холод, трескучая дрожь, затаившаяся где-то в глубине боль, — означали теперь только одно: жизнь. Он жив и теперь будет жить! Если жизнь покуда такова, холодна и недобра, так и пусть она таковой и пребудет. И ему вдруг захотелось вновь услышать тот недавний человеческий голос, и когда он услышал его, так и не разобрав, что именно он произнес, он потянулся к нему, как к единственному спасению, как к надежной опоре в шаткой трясине забвения. «Я здесь», — только и различил он горячий, влажный шепот, да того и было достаточно. И он легко отыскал ощупью в холодной тьме это малое средоточие тепла, сострадания и всепрощения. Возрожденная, воспаленная и вдруг отвердевшая плоть его вдруг нетерпеливо потребовала продолжения и соединения. Как это бывало давно, в греховных отроческих свиданиях. «Погоди, странник, — послушно отозвалось тепло. — Я все сделаю сама...»

А затем пришло успокоение. С краткими видениями и столь же краткими пробуждениями. Он понимал, что вокруг него что-то изменилось и продолжало меняться, однако принимал это как должное. Сны его были удивительно пластичны и послушны. Пробудившись на мгновение, он точно знал, что увидит, вновь зарываясь в дремоту.

Он осознал, что уже давно лежит с открытыми глазами, неторопливо и отрешенно изучая взглядом потолок. Затем осторожно, привычно опасаясь новой вспышки боли, повернул голову. Боли, однако, не последовало, и он увидел неподалеку от себя незнакомого человека. Человек скосил на него взгляд и, встретившись глазами, равнодушно кивнул.

— Живой? — человек тронул его за плечо и кивнул, точно удостоверившись. — Ну совсем живой. И то. И слава богу. И живи себе.

Ахмед кивнул, точно соглашаясь, и осторожно попытался подняться. Голову приподнять удалось, но спина была еще как ватная. От усилия его вновь бросило в жар. Человек, сидящий рядом с ним, вновь скосил на него удивленный взгляд, но промолчал.

— Кто ты? — произнес наконец Ахмед, но увидев, что сидящий рядом с ним не шевельнулся, понял, слова лишь остались в его сознании, так и не успев выбраться наружу.

— Кто ты? — вновь сказал он.

На сей раз он сам услышал свой голос, подивившись, как глухо и безлико он прозвучал.

Человек встрепенулся, глянул на него удивленно и даже как будто раздраженно.

— Я-то? Ишь, заговорил, однако. Сабитджаном меня звать. Сабитджан-караванщик. С караванами, значит, хожу. Лошадей лечу, верблюдов. В степи чего не случается. Могу и людей. Но редко. Не понимаю я людей, потому не всегда выходит у меня. Вот лошадей понимаю. Глянет она на меня, и я уже понял, что ей нужно, и что мешает. С собаками и того проще. А людей понимать не могу. Хоть полдня гляди. Ум у людей путаный. Вот хоть у тебя. Ты сам-то кто будешь?

— Сабитджан? — он нахмурился, сиюсь вспомнить это имя, однако так и не вспомнил. — А где...

Он не сразу смог произнести имя, которое последнее время плавало в его сознании жарким, размытым образом.

— А где — Лейли?

Сабитджан сумрачно пожал плечами и равнодушно глянул в сторону, точно припоминая, о ком идет речь.

— Лейли? А ее сейчас нету. Вот просто нету и все.

— Что с ней?! — Ахмед встревоженно округлил глаза и вновь попытался приподняться.
— А что с ней, — Сабитджан через силу улыбнулся и закивал. — А ничего с ней. Нету ее тут. Ты читать умеешь, старик?
— Читать? — Ахмед глянул на него удивленно. — Умею, а что?
— Ничего. Я-то вот не умею. Все как-то не до того было. У нас в роду одна Лейли и умеет... На вот тогда, прочти, если умеешь.
Сабитджан полез куда-то за пазуху и бережно извлек немало потрепанный кусок пергамента. Подержал в руках, словно решаясь, и неохотно передал его Ахмеду.
— А что тут? — Ахмед скосил удивленные глаза на лежащий на его груди свиток.
— Мне-то почем знать. Сказал же, читать не умею. Умел бы, неужто б не прочел. Читай, раз тебе дали. Я тебе окошко отворю, чтоб разглядел, а то закорюки там больно мелкие.

Странник, ты жив, будешь жить, и я счастлива. Ничего другого не нужно. Тогда, восемь лет назад, я молила Аллаха, чтобы он дал мне встретиться с тобой еще раз хоть ненадолго. Милостивый Аллах дал мне эту встречу. Наверное, она могла бы быть другой, но ждать большего было бы грехом, не так ли? Тем более, что Всевышний даровал мне счастье вскорости родить ребенка. Не стану это объяснять, но только я точно знаю, что ребенок будет. Могу ли я просить чего-то еще? Ведь нельзя дозволить благодарности перерастать в любовь: она скоро переродится в горькую отраву. Так говорила моя мать. Не знаю, что она имела в виду, знаю, что она права.

*Я так и не узнала твоего имени. Должно быть, так было надо, но чтобы как-то именовать тебя в своих воспоминаниях, назвать сыну или дочери имя отца, я стану называть тебя **Булгари**. По имени того города, куда ты так стремишься. Если Аллах даст мне мальчика, я назову его этим же именем.*

И еще. Человек, что передаст тебе это письмо, — мой двоюродный брат, караванщик. Тебе лучше всего будет уйти с ним. Потому что, я это опять же чувствую нутром, тебе здесь скоро будет опасно находиться. Ступай с ним, а город твой, если он есть, да пребудет всегда твоим. Теперь прощай, Булгари.

Лейли

От раскрытого окна пахнуло сырым утренним холодом. Ахмед сунул письмо под голову, закрыл глаза. Он вновь почувствовал себя так же, как тогда, на дощатых нарах в домике посреди топи. Только теперь он один. И останется один. Прошрое отстранялось от него, как от зачумленного. Будущее клубилось слоистым туманом. Настоящего не было вообще. Он услышал, как в дверь осторожно, точно боясь спугнуть, вошел Сабитджан. Он не видел его, но знал, что тот украдкой поглядывает на него.

— Когда уходит караван? — спросил его Ахмед, не раскрывая глаз.

— Караван? — Сабитджан встрепнулся и подошел ближе. — Караван уходит послезавтра, чтоб ты знал. Да только к чему это тебе? Тебе, такому хворому, еще лежать да лежать.

— Я встану.

— За полтора дня? Да за это время...

— Я встану! — перебил его Ахмед. — Куда он идет?

— Караван? — вновь притворно удивился Сабитджан. — Караван-то, положим, идет в Исфахан. Это чертовски далеко, чтоб ты знал. Это месяц пути, чтоб ты знал! Месяц пути туда, да месяц обратно. В лучшем случае! Это не считая волков, разбойников-курдов и прочего. Так что если ты полагаешь, что это легкая прогулка, то ты сильно ошибаешься.

— Я все это знаю. Знаю дорогу в Исфахан. Умею говорить на фарси, по-курдски. Перечислить тебе все селения, заставы, колодцы, оазисы, переправы или так поверишь?

Сабитджан некоторое время молчал и покачивал головой.

— Ну перечисли, Старик, перечисли. Только не сейчас. Путь долгий, по пути и перечислишь.

— Хорошо. Кстати, отчего ты зовешь меня стариком?

— Да оттого, что ты весь седой, вот отчего. А как прикажешь звать, если ты имени своего не называешь. Твое дело, конечно, однако же...

— Меня зовут Ахмед, — перебил его лежащий. И, помолчав, добавил: — Ахмед Булгари...

НА СЕБЕР

(Эпilog)

— Ахмед Булгари? — уйгур пожал плечами. — Не слышал такого. Человек, имя которого не слышно, должен и вести себя неслышно, я прав? Я прав. Я прошел не одну сотню верст не для того, чтобы выслушивать дерзости беглого преступника. Я прав? Я прав. Я говорю с тобой и даже не знаю, а должен ли я с тобой говорить. Ты назвал какое-то имя, а откуда мне знать, не выдумал ли ты его только что?

Ахмед сумрачно кивнул, порывшись в котомке и вдруг бросил на колени уйгуру кинжал в ножнах. Тот сперва испуганно отпрянул, даже втянул голову в плечи, затем осторожно, боязливо взял его в руки, долго, бормоча и даже напевая что-то, разглядывал, вертел в руках, затем вынул наполовину из ножен, восхищенно ахнул, цокнул языком, и даже медленнодохнул на дымчатое, тускло переливающееся под луной лезвие.

— Теперь ты можешь мне сказать наконец, для чего ты сюда пришел? Если нет, верни мне кинжал, разойдемся и забудем друг о друге.

Однако уйгур с улыбкой прикрыл глаза и выставил вперед ладонь:

— Человек, что послал меня, сказал вот что, говорю слово в слово, он велел мне запомнить и так и передать: «Ты был прав, пришла большая смута, — уйгур весь переменялся в лице, откашлялся, прикрыл глаза и даже голос переменял для пущей убедительности. — Много голов слетело, не стану перечислять, чьих. Ты был прав, мне пришлось бежать, потеряв почти все из того, что я нажил. Ты был прав, *та*, о которой ты говорил, нуждалась в защите, и я предоставил ее. Не стану пересказывать, через что нам пришлось пройти. Вышло, однако, так, что на всем свете у меня не осталось более близкого человека. Несчастья, разорение, ежечасная борьба за существование сблизили нас. Ты понимаешь, о чем я. Не стану скрывать, она любила тебя и поначалу думала только о тебе. Мне же было тогда безразлично. Но беда брала свое. Однажды, защищая ее и себя, я был ранен, нас спасло чудо. Точнее ее мужество и изобретательность. Однако я потерял зрение. Почти. Но скоро, видно, потеряю окончательно. Так вот, с той поры мы неразлучны. А прошлой весной у нас родилась дочь. Вот все, что я хотел тебе сказать. Ежели ты считаешь, что я поступил недостойно по отношению к тебе, готов встретиться с тобой. Тот, кто донесет до тебя мои слова, поможет тебе в этом...»

Уйгур замер, переводя дух и обильно обтер лицо ладонями. Видно было, что искусство перевоплощения далось ему немалым трудом.

— Тот человек живет сейчас в Хиве, — произнес он, тяжело дыша, искоса поглядывая на Ахмеда. — Его нынешнее имя...

— Погоди, — Ахмед мрачно скривился. — Разве я просил тебя сказать, где живет тот человек? Просил назвать его нынешнее имя?

— Но...

— Не просил. Я узнал то, что стремился узнать. Я представлял это немного иначе? Да, представлял. Но это уже другая история, эта закончена. Передай тому человеку, что я благодарен ему за все. Пусть хранит его Создатель. Его и ее. И на этом хотел бы распрощаться с тобой.

— Погоди. А как же... — уйгур указал на лежащий на его коленях кинжал.

— Эта вещь мне не принадлежит. Кому она принадлежит теперь — бог весть, но я пообещал вернуть ее тому человеку, который тебя послал. Сделай это. Вот все, о чем я тебя прошу.

Уйгур кивнул, вновь спрятал кинжал в ножны и быстро, будто кто-то его торопил, замотал его в холстину. Он смотрел вслед уходящему Ахмеду с нескрываемым удивлением. Ждал, что тот обернется, и он обернулся.

— Сделай, как я сказал, Посланник. Если хочешь, можешь сказать хозяину, что я просил отдать его тебе. Он поверит. Однако не поступай опрометчиво. Ты знаешь, о чем я. Горе на себя накличешь.

И, не ответив на недоумевающий взгляд уйгура, повернулся и быстро зашагал прочь.

Степь между тем оживала, не дожидаясь возвращения света и тепла. Она оживала потому, что пришел час ей оживать, а тепло и свет были лишь сопутствующей свитой. В промозглой тьме затепливался день и ничто не могло этого остановить. Искорки инея уже искали место, где обратиться в малое озерцо росы на сухом лезвии травы. Очередной виток нескончаемого круговорота. Ветер неожиданно выскоблил небо, вырвал из туч выпуклый шершавый диск полной луны. Человек, сидевший возле юрты, запрокинул голову и улыбнулся полной луне как давнему спутнику. Полная луна — вечный друг беглеца. Шорох и приближающиеся шаги не вывели его из равновесия, он знал, кто и

зачем идет к нему.

— Ахмед, — человек подошел и осторожно присел рядом. — Дело, конечно, не мое, но... Скажи, ты уже узнал, что хотел узнать?

— Узнал. Не скажу, что хотел узнать именно то, что хотел, — Ахмед развел руками и невесело рассмеялся. — Узнал то, что есть. Того и довольно. Лучше увидеть нежеланное, чем быть слепым, не так ли?

— И что теперь?

— Теперь? — Ахмед задумался. — Думаю, эта дорога закончилась.

— И я так думаю, — неожиданно жестко сказал Сабитджан и глянул на Ахмеда в упор. — Мне не понравился этот уйгур.

— Что с того? Человек живет не для того, чтоб кому-то нравиться.

— Положим. Однако этот чертов уйгур долго болтал с Нажарбеком. Он и сейчас у него в юрте, чтоб ты знал. Я повидал таких людей.

— Я тоже. Это подтверждает: эта дорога закончилась.

Ахмед поднялся и вскинул на плечи котомку.

— Мне будет жаль расставаться с тобой, Сабитджан. Знаешь, за несколько лет мы с тобой и обмолвились-то десятком фраз, не более. Но ты всегда был неподалеку, того было достаточно. Есть такие люди, о которых достаточно просто знать, что они существуют где-то неподалеку. И еще... Я никогда не спрашивал тебя о Лейли. Где она сейчас?

— Где ей быть, — Сабитджан засопел и отвернул голову. — Живет там же. Сын у нее, ему два с половиной года. Зовут его...

— Знаю. Знаю, как его зовут. Думаю, я еще увижу их обоих. Не знаю, когда и не стану загадывать. И не говори мне ничего. Я все понимаю. А чего понять не могу, того и тебе не понять. Теперь прощай.

Ахмед кивнул и зашагал, не оборачиваясь. Привычно зашагал в ночь по той незримой дорожке, что очертила в клубящемся пространстве синяя, холодная звезда, которую в тех краях, где он родился, называли Кар Йолдус, Снежная Звезда.

Куда? К реке. И дальше, как обычно, вверх по течению. На север.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕСОПАРК

БЕГЛЕЦ

Заказное издание

Сабиров Рустем Раисович

БЕГЛЕЦ

Редактор *А.М.Замалиев*

Художник и художественный редактор *Р.Х.Хасанишин*

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С.Н.Нуриева*

Корректор *Н.И.Максимова*

Оригинал-макет подписан в печать 10.09.2007. Формат 84×108^{1/32}.

Бумага офсетная. Гарнитура «Antiqua». Печать офсетная.

Усл. печ.л. 15,12. Усл. кр-отт. 15,54. Уч.-изд. л. 15,56.

Тираж 3000 экз. Заказ С-950.

Татарское книжное издательство. 420111. Казань, ул.Баумана, 19.

<http://tatkniga.ru>

e-mail: tki@tatkniga.ru

ОАО Полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс».

420066. Казань, ул.Декабристов, 2.